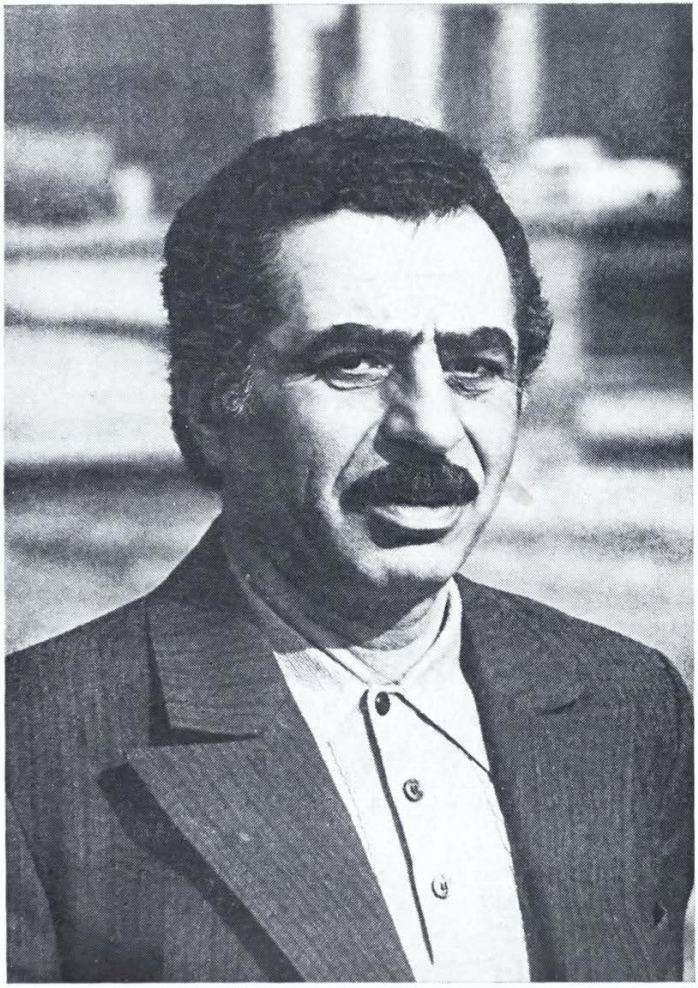
Повести ленинградских писателей





ВАЛЕРИЙ МУСАХАНОВ

●

МОСТЫ

ПРОЩАЙ, ДЕРБЕНТ

ИСПЫТАНИЯ

ЛЕНИЗДАТ
1981

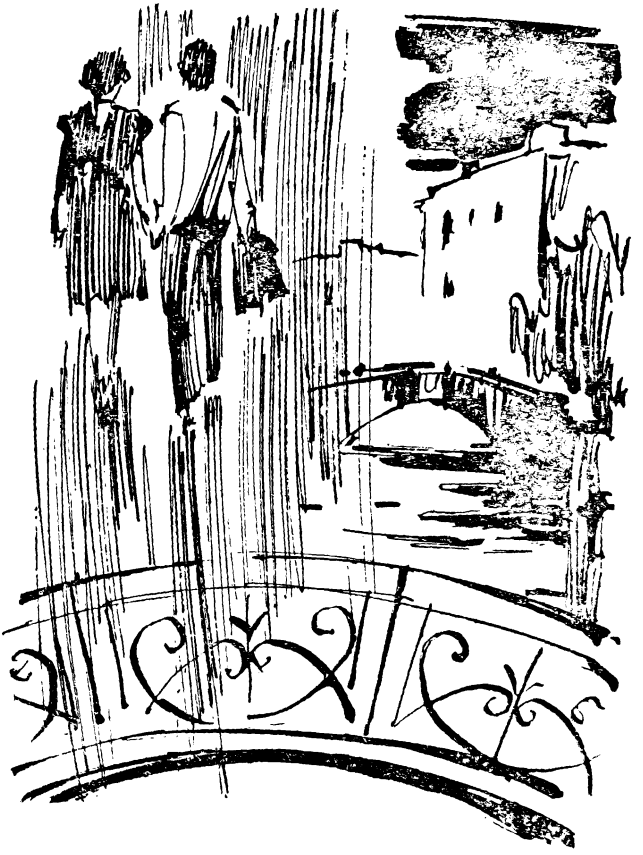
84.3(2)7
М 11

Редакционная коллегия:
Ф. А. Абрамов, Ю. А. Андреев, И. И. Виноградов, Г. А. Горышин, Д. А. Гранин, Л. И. Емельянов, В. А. Лебедев, А. М. Минчковский, Б. Н. Никольский, Д. Т. Хренков, В. С. Шефнер

М $\frac{70302\ \ 4702010200-081}{М171(03)-81}$ 168—81

© Лениздат, 1981

МОСТЫ



Всю неделю было хорошее настроение, потому что в понедельник был принят мой первый проект. Вообще-то я понимал, что это не бог весть какое событие в жизни просвещенного человечества, даже в жизни института, где я работаю, но для меня это значило много.

Всю жизнь я хотел строить мосты. Не то чтобы я не мечтал стать летчиком или моряком, как все мальчишки в известном возрасте, не то чтобы дальние страны не тревожили моего воображения,— как и все мои сверстники, я сначала мечтал убежать на фронт, потом — стать капитаном океанского лайнера. Но уже в шестнадцать лет знал, что буду строить мосты. И это не оттого, что, как иногда пишут в романизированных биографиях замечательных людей, я рано почувствовал призвание, уверовал в него и твердо шел к цели. Нет, совсем наоборот.

Я никогда не был вундеркиндом. Тем маленьким гением, которого гордые родители ставят на стул перед гостями и просят прочесть Гете в подлиннике или сыграть Шопена. И они читают или играют, эти удивительные человечки, заботливо одетые в лирический вельвет, с артистическими галстучками-бантами на чисто вымытых, еще тоненьких шейках! Они пожинают свою

первую славу и утверждаются в уверенности, что не зря пришли в этот мир, что их добродетель и трогательность так же нужны людям, как им самим не обойтись без зрителей, без восхищения окружающих. Вундеркинды идут своим путем, на который их подвигнуло родительское тщеславие и собственное раннее честолюбие, достигая иногда вершин славы и счастья, но порой эти детские добродетели, как все гипертрофированное, доводят до порока. Но бог с ними, не о том речь.

Меня никогда не ставили перед благоговеющими гостями, да их, если признаться, почти не бывало у моих родителей. В детстве я даже не знал, что есть Гете, Шопен и многое другое из того, что полагается знать нормальному гению. Подозреваю, что и родители мои не знали ничего этого. Может быть, именно потому они не очень принуждали меня быть вундеркиндом. Да и время было не самым подходящим для такого воспитания. Но родители мои были людьми достаточно широкими и никогда не скупились на горячие слова, подзатыльники и затрещины, что, несомненно, доказывает их любовь ко мне и желание сделать из меня человека. К их чести, они никогда не обольщались на мой счет, не будили во мне необоснованного честолюбия, оценивая мои способности всегда недвусмысленно и скептически. И наверное, потому к шестнадцати годам я был твердо убежден в собственной посредственности. Как раз к тому времени воспитательные методы родителей пришли в неразрешимое противоречие с моим вдруг проявившимся упрямством, и большую и, может, лучшую часть жизни я проводил на улицах.

Сколько в Ленинграде улиц? Наверное, никто не может похвастать, что бывал на каждой. А вот я бывал, кажется, на всех, измерил их своими шагами. Сложное это ощущение — одиночество бродяги, затерявшегося в бесконечных шеренгах домов,— сложное, грустное и засасывающее...

Как влажнеет лицо от встречного ветра, как щемитноет сердце под этим тусклым, похожим на алюминий небом! И острее становится чувство, выгнавшее тебя на эти улицы, глуше одиночество, и в то же время всякий наличник на фасаде дома, мимо которого ты идешь, каждая пилястра, любой кусок гранита странно волнуют и размягчают душу. И сквозь грусть ты смутно провидишь что-то другое, что принесет удовлетворение и, может быть, радость. И от этого становишься еще ранимее, еще открытее всем скорбям.

Кто отведал этого горького лекарства сумеречных улиц, кто подолгу стоял на мостиках и мостах, вглядываясь в черно-глянцевую воду каналов, чуть отдающую плесенью, тот уже и в радости и в горести будет прибегать к этому.

Может быть, именно тогда я и решил для себя, что буду строить мосты. Где-нибудь на Банковском, под золотокрылыми грифонами, опершись на чугунные перила и вглядываясь в размытые отражения фонарей, я и понял, что мосты — очень нужная вещь. А может, просто потому, что все мои одноклассники уже имели мечту, уже нашли свое призвание и собирались расщеплять атом, разыскивать алмазы, испытывать самолеты и водить корабли; и, глядя на них, таких веселых и примерных, я был убежден, что нет и не может быть человека без призвания. А так как я знал о своей посредственности, то и выбрал, как мне тогда казалось, подходящее дело — строить мосты. Мне очень хотелось быть не хуже своих благополучных сверстников, и я думал, что мосты помогут мне.

Сейчас уже трудно поручиться, что это было именно так; мне запомнилось лишь ощущение потерянности в сизовато-сумеречных улицах и чувство, в котором юношеская тоска смешивалась с неясной надеждой. Вот только это осталось с тех пор и еще привычка бродить по улицам, когда грустно и когда радостно. Да еще не-

понятная способность по этим улицам и мостам вдруг возвращаться в прошлое и снова испытывать давние чувства.

...Всю неделю я болтался по городу со своей приподнятостью. Потому что у меня множество знакомых, а друг только один — этот город с его улицами и каналами, с его мостами и ветреными перекрестками.

Но все же была горчинка в душе, вроде бы вопрос иронический: «Ну и что же дальше?» И где-то закоулком сознания я уже понимал, что все было, все свершилось раньше. Я пережил в себе, и не один раз, то, что наконец произошло в действительности. Слишком долго шел я к этим дням, и разные, не всегда благополучные обстоятельства заносили меня в сторону. Они то забрасывали меня в колонию для несовершеннолетних, то в рыбацкую артель на Каспии, то в тайгу на Печору. И чем дальше уходил я от этой мечты о мостах, тем желаннее она становилась. И вот я у цели, и мне уже не шестнадцать, а в два раза больше, и сквозь радость достижения вдруг проклюнулась грусть. Может быть, дело тут в одной особенности — если я замечаю ее в себе, то подозреваю и в других.

Действительность всегда отстает от наших чаяний. В воображении мы уже успеваем пережить желанное событие, и оно как бы свершается в нас и успевает изменить нас. А потом событие происходит наяву и кажется не таким ярким, и это потому, что оно уже было в нас.

Так вышло и с моим проектом.

Мост — не просто инженерное сооружение. Мост — это соединение разобщенных частей в целое, цивилизация, превращающая хаос в организованное пространство. Мост — это еще и лирическая тропа в городских суетных буднях, омытая чистыми ветрами, изгибающаяся над незамирающей водой, осененная фонарями, вся в затейливой ажурности решеток.

Я мог бы сочинить целую поэму о мостах, но когда мне поручали первый проект, я думал о более прозаичных вещах и понимал, что это очень серьезно для меня.

Все ли представляют себе, что такое работа, о которой мечтал? Я узнал, что можно обходиться без еды и питья столько, сколько работаешь; узнал, что огромные дозы никотина, непрерывно вводимые в организм, вовсе не смертельны. И сделал три проекта.

Это был мост в центре нового города через живую, сильную реку. И первый проект я сделал широко и щедро. Он был арочный, этот мост, с привольным изгибом на четыре пролета; тонкие, строгие быки поддерживали его, а в устоях я разместил магазины и службы быта, сверху туда вели элегантные лестницы, а с берега — облицованные гранитом апарели, и хотя вся конструкция мыслилась из напряженного железобетона, мост не казался громоздким — прогиб облегчал его, а фонари, подвешенные на четырехопорном тросе, повторяющем изгиб моста, делали его воздушным, парящим над пенистой рекой.

Но я понимал, что этот проект не пройдет, техсовет обязательно зарежет его. Слишком дорого обойдется строительство, слишком это непривычно. Хотя молодому городу совсем не помешают магазины и бытовые службы в самом центре. И я сделал другой проект. В нем не было того размаха, но, мне кажется, было изящество; там я предусмотрел безопасные переходы для людей и транспортные развязки, применил современные клеи для соединения бетонных конструкций,— мыслил этот мост как организующее новый город современное начало. Но я знал, что и этот проект не примут,— это тоже непривычно, не в канонах классической статики.

Тогда я сделал третий проект — добрый, старый мост, какие строили еще деды.

И был принят последний.

А после техсовета состоялось широкое обсуждение.

Меня всегда удручает бессмысленность подобных обсуждений. Проект уже принят, и этот неофициальный разговор ничего не меняет. Уж лучше бы обсуждали до техсовета, тогда, может быть, судили бы по-другому. А тут все прохладно хвалили. Ну, грамотно, в соответствии с техническим заданием.

Меня обрадовало только выступление Левы. Это странно, что блистательного инженера, работы которого я изучал еще студентом, все называют не иначе как Лева, а ему уже шестьдесят. Маленький, мешковатый, с непомерно большим, бесформенным лицом и спутанными темными волосами, вечно пыхтящий большой изогнутой трубкой, Лева чем-то напоминал гнома. Было всегда удивительно, что этот маленький картавый гном построил такие мосты. В его работах была дерзость и трезвая мысль, ошарашивающая простота, которая возникает только из сложнейших расчетов. Да, это был инженер божьей милостью. Его мосты были прозрачны, как миражи,— казалось, их унесет первый же ветер, но они десятилетиями не нуждались в ремонте и несли многотонные составы, выдерживали паводки и ураганы.

И вот Лева вышел к столу на сцене и, размахивая трубкой, стал говорить, что в моем проекте он видит потенциальные возможности конструктора, и что вообще нужно чаще поручать молодым инженерам большие работы, только так можно вырастить зрелых конструкторов, и что он доволен уровнем проекта, это серьезно, грамотно и экономно.

Мне было приятно, что Лева похвалил, хотя я понимал, что он сделал это по доброте, а не потому, что восхищен работой.

А потом выступил Ганин. Он главный конструктор института и председатель техсовета. Очень умный человек этот Ганин и неплохой инженер. Я знал много его работ, все это солидно, добротно, но той дерзости и новизны, которые сверкали в любом Левином проекте,

у Ганина не было. Хотя он позволял себе «роскошь порезвиться», но только в мелких, не главных работах, в каком-нибудь мостике через ручей в новом детском парке, в пешеходном переходе для санаторного комплекса в горах. А большие его работы были традиционны, осторожны, хотя там чувствовался опыт.

И вот Ганин выступил, как бы завершая обсуждение. Он сказал, что все хвалят, отмечают грамотность проекта, а его как раз это и настораживает. Слишком уж гладко все и бесспорно в моей работе, не видно поиска, которого следовало ожидать от молодого конструктора... Он говорил медленно, словно раздумывая и делясь своими раздумьями. Темный серый костюм прекрасно сидел на его крупной, еще подтянутой фигуре, и он прохаживался возле стола, чуть опустив широкое крестьянское лицо с мохнатыми седыми бровями. Низкий, прокуренный голос звучал искренне, озабоченно, и я слушал его с каким-то доверием и думал, что во многом Ганин прав. Но постепенно согласие мое сменилось недоумением. Вспомнился техсовет, где он говорил совсем другое: «Надо опираться на реальную почву... Не мудрствовать лукаво...» Это же он, он первый предложил даже не ставить на обсуждение те мои два проекта. И мне вдруг стало неприятно, будто мы вместе с Ганиным сговорились одурачить этих людей, сидящих вокруг.

Я посмотрел на своего приятеля Юрку. Он подмигнул мне и махнул рукой,— не обращай, мол, внимания. И от этого стало спокойнее. А после обсуждения подошел Лева и, глядя снизу вверх и картавя, сказал:

— Не огорчайся. Когда человек сделал хорошую работу, то она даже на бумаге существует, а плохая, хоть она и в бетоне,— ее все равно нет.

Да, все выглядело гораздо сложней, чем представлялось мне шестнадцать лет назад... И хоть настроение было отличное, но горчинка тоже была. И мысленно я, невольно или намеренно, возвращался к началу, к са-

мому началу. Потому что чувствовал, что горчинка эта — не только от сегодняшних дел, а давно угнездилась в душе. И мне все хотелось понять, где и когда она закралась и почему таилась столько времени. Казалось, очень важно узнать тот момент, как будто что-то можно прожить наново, перебелить, как черновой чертеж. И я шлялся по улицам и любимым мостам и по ним приходил в прошлое.

Я приходил к девушке с пушистой, мягкой косой.

В те годы она училась в соседней школе на старом, тенистом бульваре — тогда было раздельное обучение.

Кто из моего поколения не помнит этих школьных вечеров под простуженную радиолу, хрипящую «Сибоней» и «Рио-Риту»! До сих пор во мне живет ощущение стесненности и в то же время нескромности, томящего желания обратить на себя внимание девушек и холода на лопатках от стены зала, к которой плотно прижата спина — я не умел танцевать, и до сих пор это осталось для меня непостижимым искусством. На этих вечерах я чувствовал себя посторонним, потому что был плохо одет,— черные брюки, перешитые из отцовских, на заду и коленях лоснились и отливали белесым. Я в собственных глазах не выдерживал сравнения с товарищами, у которых были приличные костюмы, галстуки, чехословацкие ботинки «Батя». У меня же ничего подобного не предвиделось, и я все реже ходил на вечера, предпочитая дальние прогулки по городу, где у меня уже появились любимые места, дворцы, каналы. В конце девятого класса я совсем перестал ходить на эти вечера. Поэтому я не очень интересовался тем, кто главный кавалер в нашей школе и кто первая красавица в соседней. Нет, конечно, я слышал кое-что из обрывков чужих разговоров на переменах, но старался убедить себя, что это неинтересно.

Есть такие люди, удел которых первенствовать, блистать, причем постоянный успех приходится на долю тех, кто не делает для этого никаких усилий. Я всегда с восхищенным удивлением наблюдал за такими людьми. У нас в школе были два парня, Валерка Парамонов и Оскар. Валерка был лучшим танцором и спортсменом; отец его плавал капитаном торгового судна, и поэтому Валеркины куртки, брюки и галстуки вызывали зависть многих. А Оскар — сын известного оперного баса — очень хорошо играл на рояле и был по-настоящему красив какой-то мрачноватой южной красотой, со смуглостью кожи, горячими продолговатыми глазами, разлетистыми бровями и неправдоподобной белизной зубов.

Эти парни пользовались всеобщим уважением в школе, они были как бы полпредами нашей мужской державы. А в женской школе на этих ролях выступали какие-то Алки, Светки, разговоры о которых я слышал, но не видел их никогда. Подозреваю, что и они не ведали о существовании моей скромной персоны. Хотя я точно помню, что вся женская школа знала в лицо и по имени любого мало-мальски заметного парня из нашей.

А вообще отношение ко мне в классе было ровным. Я не вызывал ревности и соперничества. Учился, не очень напрягаясь. Учителя привыкли ко мне, никто не будил во мне честолюбия, не упрекал за некоторую леность. Жизнь класса лишь каким-то краем касалась меня. Были у нас и отчаянные разгильдяи, и крепкие, вдумчивые ребята, а я не принадлежал ни к тем, ни к другим и проходил по какой-то нейтральной полосе. Теперь я думаю, что это было от неловкости души и робости, которая доходила до угрюмой и казавшейся высокомерной замкнутости. И еще, думаю, меня сторонились немного из-за смутных слухов о моих уличных связях, впрочем весьма преувеличенных. И я тащился из класса в класс по своей нейтральной полосе на «тройках». И наверное,

так и окончил бы школу в свой срок, может быть, поступил бы в институт,— словом, все пошло бы обычно, если бы не эта встреча.

Было лето, обычное ленинградское лето с прохладными утрами и мелкими, сеющимися дождями по вечерам, с бессонницей белыми ночами, когда тревожно нудит сердце в тишине комнаты, наполненной странным сиянием, похожим на блеск новых, еще не захватанных монет. И так и кажется, что сейчас услышишь нежный, серебряный звон, и напрягаешься в ожидании, но тихо все вокруг, а ты лежишь без сна.

Впрочем, ощущение вот этого тревожного ожидания владело мной в тот год с весны. Казалось, что-то должно произойти в моей жизни, было предчувствие радости.

Я сдавал экзамены за девятый класс, болтался вечерами по городу, грустил беспредметно и легко, и временами вдруг появлялась уверенность, что все мои шатания по улицам, мои одинокие смутные мысли — все имеет какой-то смысл. Иногда я физически ощущал, что взрослею, становлюсь иным, чем вчера,— если все это можно ощутить. Скорее всего это было предвкушение жизни, причастности миру. Так думаю я теперь, полагая, что многие черты моего характера зародились именно тогда.

Я часто ходил в Михайловский сад играть в волейбол. В те времена от входа в сад с канала Грибоедова начинался пыльный пустырь — только потом на нем разбили газоны, сделали песочницы и детские качалки. На этом пустыре мы играли в волейбол «в кружок», иногда между деревьями натягивали сетку — и я до сих пор узнаю эту пару толстых, прямых лип.

В то лето волейбол был повальным увлечением, и на пустыре выстраивалось множество кружков, над которыми подпрыгивали мячи. Отношения здесь были самые непринужденные: можно было подойти к любому круж-

ку, играющие молча раздвигались, давая тебе место, и ты тоже начинал подкидывать мяч.

Михайловский сад заменял собой клуб — тогда еще не принято было каждый свободный день проводить за городом, тем более мало кто мог позволить себе посидеть в кафе-мороженом, да я и не помню что-то таких кафе, как теперь. В те первые послевоенные годы у людей было столько насущных забот, что не хватало времени на развлечения, еще не появился вкус к праздной отдохновенности, который теперь проявляется, пожалуй, у любого подростка.

Я иногда с завистью смотрю на хорошо одетых, таких независимых и уверенных мальчишек и девчонок, которые сидят в кафе, небрежно тянут коктейли через соломинку, неторопливо беседуют. Мы никогда не были такими, но я не жалею. Всякому времени — своя стать. Мне вот до сих пор неловко, когда сановный, представительный швейцар открывает мне дверь или гардеробщик держит распяленное пальто и ждет, пока я намотаю шарф,— я почему-то теряюсь, когда меня «обслуживают».

Да... А вот в Михайловском мне нравилось. Я прилично играл в волейбол, и к тому же здесь мои старые брюки и байковая лыжная куртка не бросались в глаза. И вот однажды под вечер я пришел в сад. По-моему, это было в начале июня; помню, что день выдался удивительно холодный даже для ленинградского лета, и я предвкушал, как согреюсь игрой. На пустыре играли всего два или три кружка — видимо, было еще рановато. Я подошел к тому кружку, где мяч дольше держался в воздухе. Играли парни и девушки, кое-кого я знал в лицо, но знакомых не было. Через пять минут я уже согрелся и позабыл все на свете, потому что играли очень хорошо. Мяч почти не падал на землю, хотя было много резких ударов и трудных пасов. Даже девчонки играли прекрасно, с азартом резали. Не знаю, может,

это мне кажется теперь, но игра была праздничной, легкой.

Напротив меня стояла девчонка со светлой косой. Она очень прилично играла, и мы перепасовывались с ней, подкидывая друг другу под резкий удар. Девчонка была симпатичная, но я не рассматривал ее внимательно — я играл. И мяч был хороший — кожаный, идеально круглый, красного цвета. Мы же в то время привыкли к неказистым мячикам из шершавой кирзы, которая при неловком ударе царапала и отбивала руки. И я позавидовал счастливцу, владеющему таким редким мячом. Но вдруг в разгар игры эта девчонка напротив меня вышла из круга. Какой-то парень сказал:

— Отдайте хозяйке мяч.

Мы все еще стояли кружком, но он потерял свою четкость, потому что над ним перестал летать мяч. Только что мы были ловкими, веселыми, мяч как-то сплачивал нас, а теперь уже никому ни до кого не было дела — мы стали случайными людьми, собравшимися в нелепый круг; и каждый почувствовал неловкость и заскучал неожиданной, неприятной скукой. И все уже поворачивались, глядели вокруг — к какому бы другому мячу прибиться. Тогда эта девчонка подошла ко мне поближе и сильно кинула мяч. Я поймал. Она сказала:

— На, принесешь завтра,— повернулась и пошла к выходу на канал.

Я долго смотрел ей вслед, пока синяя блузка, разделенная на спине светлым жгутом косы, мелькала в кованом ажуре решетки. А мяч, кем-то выбитый у меня, снова летал над кругом под радостные возгласы парней.

Я был удивлен этим неожиданным доверием. Я и лица-то ее не успел запомнить! Игра у меня не клеилась после этого, я безбожно мазал и был рассеян.

В коротких, жидких сумерках я возвращался домой, бережно прижимая к себе мяч, и пытался вспомнить лицо этой девчонки, но, кроме пушистой косы и синей в

мелкий горошек блузки, ничего не приходило на память. Хотелось понять, что побудило ее оставить такой мяч незнакомому и почему именно мне, но я не находил этому объяснения.

Ночью я почти не спал. Утром не мог сидеть за учебником, хотя экзамен был на носу.

Вечер выдался мягкий, с чуть ощутимым вкрадчивым ветром. Старые липы в саду были почти неподвижны, и редкие сизо-прозрачные облака предвещали ясную белую ночь.

Над площадкой взлетали мячи и вместе с тонкой серой пылью висел гул множества голосов. Меня сразу окружили, и началась игра. Я все время оглядывался, ждал, что вот-вот появится та девчонка. Я не помнил ее лица, но была уверенность, что обязательно узнаю ее, а она все не приходила. И мне стало скучно, игра уже не увлекала. И еще вдруг возникло странное, неожиданное ощущение, какая-то дотоле незнакомая жадность. Мне стало жаль мяча и неприятно, что по нему ударяют чужие руки,— казалось, мяч старел на глазах и тускнел от этих ударов. Особенно неприятно было видеть, как какой-нибудь пижон плоскими ладонями неумело шлепает по этому прекрасному кожаному шару. Я поймал мяч, зажал его под мышкой и долго ходил по площадке, испытывая одновременно и недовольство собой, и удовлетворение тем, что никто, кроме меня, не касается мяча.

Она не пришла ни в тот, ни в следующий вечер.

Мы встретились неожиданно.

Наш класс только что сдал географию. После экзамена мы еще долго не расходились, торчали в обширном школьном дворе, ожидая, когда объявят оценки. Помнится, я почти не волновался в ожидании, потому что загодя знал свою всегдашнюю отметку. К тому времени я уже прочно сжился со своей посредственностью — она служила мне как не очень нарядный, но удобный и креп-

кий костюм; я уже научился спекулировать, выставляя ее напоказ, чтобы добиться большей снисходительности. Да, я знал, что «тройка» мне обеспечена, но вместе со всеми слонялся по школьному двору. Было что-то очень приятное в этом ожидании, ибо даже самые отъявленные отличники не были уверены в своем успехе и весь класс, на короткое время застигнутый неуверенностью, становился сообществом людей, уравненных одной судьбой.

И вот, после такого ожидания, умиротворенный своей «тройкой» и чувством облегчения — еще один экзамен позади, я шел по старому бульвару, мимо скамеек, занятых матерями с младенцами, мимо ленивых голубей, неохотно выпархивавших из-под самых ног. Солнце било в глаза, я не мог рассмотреть лиц встречных. Но что-то вдруг остановило меня — чей-то пристальный взгляд, чья-то мысль обо мне...

Очень красивая высокая женщина остановилась в двух шагах и смотрела на меня, прямо в глаза, и чуть заметно улыбалась насмешливо, как улыбаются только очень красивые, очень уверенные в себе женщины. А я застыл перед ней в нелепой стойке легавой собаки, будто не успев закончить шаг, остановленный ее взглядом, и смотрел не узнавая и чувствуя, что все-таки знаю ее. Да, где-то я уже видел эти глаза, серые и спокойные, видел эти почти прямые полоски светлых бровей, высокие светлые скулы, несколько еле заметных веснушек на переносице...

Она сделала шаг ко мне, протянула руку и сказала:

— Здравствуй!

И я узнал ее! Это узнавание потрясло меня. Это была та девчонка из Михайловского сада, которая оставила мне мяч. Просто ее коса была собрана большим узлом на затылке, просто на ней было кремовое платье без рукавов, а на ногах — белые туфли на каблуках. Я сразу узнал ее по голосу, хотя, казалось, не помнил, какой он, но узнал сразу и, вероятно, узнаю и сейчас, если услышу

в толпе или по телефону хоть одно слово, произнесенное ею.

Еще тогда, на солнечном старом бульваре, ошарашенный этой метаморфозой, я остро почувствовал красоту ее редкого голоса. Никогда потом я не встречал такого чистого, низкого голоса. Этот матовый звук был осязаем, я чувствовал его лицом, шеей, глазами.

Но все это было потом, все это я понял уже через годы. А тогда я стоял под шелестящими липами, онемев от смущения, и лишь видел, как ветер обтягивает платье вокруг ее коленей. И только прикосновение ее узкой ладони к моей руке помогло хоть немного прийти в себя.

— Что же ты не приходила? Я не знал, куда этот мяч...

Нет, я почти не помню тот день. Я запомнил все дни, в которые видел ее,— каждую интонацию, и во что она была одета, и какая была погода, и где мы проходили, и где останавливались... Но тот день как-то выпал из памяти. Помню, что пришел домой поздно и не хотел есть и, против обыкновения, сразу заснул и не видел снов. Лишь наутро вспомнились обрывки разговоров.

Я узнал, что она кончает девятый класс в той школе на старом бульваре, что любит музыку, но пойдет в юридический институт, потому что ее музыкальные способности намного меньше любви к музыке. Она показала мне, где живет, и я запомнил окно ее комнаты на первом этаже в тесном дворе, куда выходили ворота кладовых огромного продуктового магазина и стоял запах соленой рыбы, копченостей и подгнивающих фруктов.

А на следующий день мы встретились в саду. И опять она стояла в кружке напротив меня, и мы перекидывали друг другу мяч. Тут она снова выглядела обыкновенной девчонкой с пушистой светлой косой, и на ней была прежняя синяя юбка и синяя в мелкий горошек блузка, но я знал, что она другая.

На всю жизнь запомнил я чувство какой-то особенной лихости, озорства. При ней я лучше играл, удары мои были резче, сильней и ноги пружинисто и легко отделялись от земли, поднимая тело вверх к мячу.

А потом мы шли по набережной. Я изредка стукал мячом по гранитным плитам, и это помогало мне не глазеть на нее все время. Мы разговаривали; пожалуй, это был бессвязный разговор, но я мог бы даже не вдумываться в смысл ее слов, достаточно было только голоса. Заговорили об архитектуре. Я тогда много читал о великих зодчих и их созданиях, но впервые говорил об архитектуре — до сих пор она была моим тайным увлечением, а тут вдруг такой благодарный слушатель, да еще какой! И я рассказывал то, что вычитал в книгах и что думал сам. Вряд ли есть лучшее место для разговоров об архитектуре, чем невские набережные.

Она слушала, заинтересованно вглядываясь в фасады домов, запрокидывая голову, рассматривала карнизы, иногда поворачивалась ко мне, и я видел ее серьезное лицо и внимательный, напряженный взгляд, и говорил, и не мог остановиться. Впервые меня слушали и принимали всерьез.

Мы долго бродили в тот вечер. Уже начался белый рассвет и готовились к разводке мосты, а мы стояли у парапета и смотрели, как пожилой человек в брезентовом плаще закидывает спиннинг и методично крутит ручку катушки, сматывая лесу, и снова закидывает в спокойную, чуть покрытую рябью серую воду, по которой изредка проплывают светлые блики облаков. Было тихо и знобко на набережной в этот час, очень редко проходили машины. Рыбак даже не смотрел в нашу сторону. Мы молча стояли возле него, и я помню, что гранит парапета был теплым — теплей, чем вечерний воздух. И помню свою рассеянную задумчивость, будто сон наяву, в котором все подернуто дымкой и невесомо.

— Надо идти,— сказала она.

И разрушилась эта моя задумчивость — все вдруг стало резким и реальным, и я со страхом ощутил, что держу ее за руку. Ее узкая маленькая ладошка была зажата в моей, как беспомощный воробей, только виднелись кончики пальцев. Она взглянула на меня, и я отпустил ее руку.

К ее дому мы шли молча, стараясь соблюдать расстояние между нашими локтями. В воротах я отдал ей мяч.

— Приходи в сад, ладно? — сказала она.

В сумраке ее лицо было неясным, но я уловил тень улыбки и шел домой, испытывая тихое ликование. Я наискось перешел пустынную площадь, шагал по самой середине проспекта и даже не боялся, что дома влетит за позднее возвращение.

С того самого вечера мы часто встречались в саду, вместе играли в мяч, а потом гуляли по городу, и я провожал ее до дому. И при этом не чувствовал неловкости, у меня не было мысли, что я «ухаживаю» за ней, потому что мы никогда не назначали друг другу свиданий и все было просто.

Я часто возвращаюсь к удивительно наполненным дням того лета и рассматриваю каждый миг, каждый крохотный кусочек времени под лупой памяти, надеясь, что это поможет мне понять что-то в сегодняшних днях, потому что некоторые черты моего характера зародились тогда. Эта девочка из соседней школы повлияла на всю мою жизнь. Я не знаю, понимала ли она сама, чем была для меня. Наверное, не понимала. Просто ей было семнадцать лет, в ней пробуждалась женщина со сложностью чувств, инстинктов и желаний, с неосознанной потребностью обратить на кого-то свою доброту и в то же время вызвать поклонение себе.

Она очень быстро взрослела, я чувствовал это от встречи к встрече в ее снисходительности ко мне, раздумчивости, с которой она выслушивала мои разглаголь-

ствования, в какой-то мягкой некатегоричности суждений, которая в то время больше всего удивляла и озадачивала меня,— ведь в юности мир четко делится на друзей и врагов, на плохое и хорошее, подлое и благородное. В этот период жизни человек не приемлет компромиссов и сложности. А я временами чувствовал в ней многоликость. Каждый новый день изменял ее, даже вечером она казалась иной, чем утром. Ни в ком потом я не встречал такой способности к быстрой и очевидной трансформации. Правда, и с юностью своей я потом не встречался никогда.

И вот я все думаю: что привлекло ее ко мне? Почему наша дружба продлилась несколько месяцев? Наверное, она не разгадала меня, ошиблась. Посредственность понять иногда труднее, чем человека ярко одаренного. У яркого человека все резче, определеннее: и чувства, и симпатии, и знания, и наклонности. А у посредственности все это есть, но как бы в зачатке,— все бледно и смазанно. Может быть, это и обмануло ее? Она, как всякая женщина, обладала какой-то инстинктивной проницательностью и, вероятно, чувствовала во мне какие-то намеки на мысли, какое-то горестное самоуспокоение своей посредственностью, которое, возможно, приняла за незаурядность. Конечно, я не понимал всего этого тогда, меня просто влекло к ней.

В те дни, когда мы не виделись, я приходил в ее двор вечером и, спрятавшись в дверях черной лестницы напротив ее окна, смотрел, как она читает, подперев щеку ладонью. Мне был виден ее профиль, вьющиеся прядки волос, отделившиеся от прически, тонкое запястье, плавно переходящее в кисть. На ее лампе был желтоватый абажур, и все, что я видел, освещалось золотистым рассеянным светом. А в неопрятном дворе стояли запахи подгнивающих фруктов, копченостей, соленой трески. Рабочие в черных клеенчатых фартуках поверх грязных белых курток катали бочки, перетаскивали ящи-

ки, матерились скучными, равнодушными голосами. И во мне разрасталось ощущение отторженности от нее: может быть, смутно, пока лишь чувством, я начинал понимать, что нас разделяет не только этот колодезный двор с облупившимися стенами и отверстыми темными зевами подвалов...

Так и вижу я сейчас этот двор и тощего мальчишку, спрятавшегося в темноте черной лестницы и жадно глядящего в освещенный покойный мир в прямоугольнике чужого окна.

И странно, я испытывал к ней настоящую нежность именно тогда, когда ее не было рядом. Именно тогда я понимал красоту ее лица с еще не совсем оформившимся овалом. Это лицо всплывало передо мной, когда я бродил в одиночестве, и я мог увидеть, как гладко натянута на нем кожа, как точно выточен подбородок. Меня даже пугала эта математическая точность и завершенность прямого носа с трепетными тонкими ноздрями, эта привольная прямизна светлых бровей и четкий разрез глаз, как у древнеегипетских статуй. Казалось, природа решала в ней двойную задачу — создать не только редкую красоту, но и строгую соразмерность всех черт, какую-то основную аксиому, которая послужит для доказательства других, не столь очевидных истин.

Но все это я понял только теперь, когда мне в два раза больше лет, чем было в те дни.

А тогда я просто бродил по городу с девушкой, у которой была пушистая светлая коса, веющая печальным и чистым запахом свежеспиленного дерева,— как много раз настигал меня этот запах в тайге, когда с хрустом падала надпиленная сосна: в мужественном, чистом нутре умирающего дерева еще долго дрожал еле слышный тягучий стон. И запах, и стон переходили ко мне в душу, вызывали глухую боль, и эта боль был я сам, отторженный от этой девушки, которая уже навсегда стала частью меня,— я любил запах ее косы и часто незаметно

брал ее пушистый кончик в руку, когда мы стояли у парапета вечером. Она не замечала, не чувствовала, что я держу в пальцах ее косу, чуть сыроватую от вечернего воздуха, а может быть, замечала, но не противилась этому.

Нас уже что-то соединяло. Как требовательно и строго спрашивала она, почему я не был в саду! Она могла отсутствовать без объяснения причин, но я должен был приходить в тот день, когда она хотела видеть меня. Я уже был ее данником. Она брала все по праву рождения, ибо была женщиной,— и ничего не обещала взамен. Она уже понимала, была уверена, что даже ее капризы, ее легкое тиранство является счастьем для любого. Но она была добра, как всякий, кто уверен в незыблемости своего права и своей силы.

В один теплый и ясный день мы пришли на пляж под стеной Петропавловской крепости. Вода была холодной, и никто не купался — играли в волейбол, загорали. Мы разделись, сдали вещи на вешалку, и у меня в кулаке остался жестяной номерок и замусоленный рубль, который я припас на случай, если ей захочется пить. Мы подошли к играющим в мяч, и она встала в круг, а я остановился поодаль, потому что не знал, куда деть номерок и рубль, и смотрел на нее. Я видел, как струится по ней солнечный свет. Она стояла плотно сдвинув ноги и, опустив руки, ждала мяча. Свет золотил ее прямые брови, сбегал со скул на тугие губы, на подбородок, оставлял в тени впадинку между ключиц, разливался по тонким, но округлым плечам, по синему с белой каймой лифчику, по еле заметной выпуклости живота, по синим треугольным трусикам, туго обтягивающим маленькие женственные бедра, и соскальзывал вниз к узким ступням. И от солнца все ее тело было цвета летнего меда.

Я стоял и ждал, когда она станет принимать мяч. Вот он пошел к ней пологой дугой. Чуть согнулись ко-

лени, одна нога сделала маленький шаг, спина упруго выгнулась, руки быстро и плавно поднялись к лицу, спокойному и отсутствующему; кисти рук сделали короткое, резкое движение, и мяч, отбитый кончиками пальцев, высокой «свечкой» ушел к противоположному краю круга. Она повернулась ко мне, вопросительно подняла лицо. Я показал номерок:

— Некуда положить.

Она подошла, взяла номерок и рубль и спокойно, у всех на глазах, положила себе в лифчик. Я помню, что мгновенно покраснел и отвернулся. А потом мы играли, и я все время думал о том, как этот смятый рубль лежит там в темной духоте, и что-то сжималось в груди, и туман вставал перед глазами, и какая-то боязнь сдавливала шею у самого затылка.

Было жарко, и мне самому хотелось пить, но я так и не решился попросить у нее рубль.

В этот день я не взял в руку кончик ее косы, каждое случайное прикосновение ее локтя что-то обрывало во мне, и я вздрагивал, испытывая цепенящее чувство неожиданного падения в пустоту.

Лето прошло незаметно. Оно сделало меня увереннее, и в класс я пришел с каким-то новым чувством. Нет, я не стал ни более шумным, ни более общительным. По-прежнему я сидел на своей «камчатке», не ввязывался в споры на переменах, а лишь слушал, но было что-то такое во мне, отчего все теперь выглядело иначе и не казалось чужим и недоступным: кинофильмы, и спортивные новости, и разговоры о девушках.

После уроков мы встречались с ней, и я провожал ее до дому. Меня удивляла ее непринужденность. Я знал, что все девчонки дичатся, стесняются даже кивнуть знакомому парню, когда идут с подругами. А вот она была совсем другой.

Я всегда стоял на бульваре в полусотне шагов от ее школы и ждал. Девчонки выбегали небольшими веселы-

ми толпами, с толстыми портфелями,— сначала маленькие, потом постарше. Чем-то они были похожи на галчат в своих черных форменных передниках. Я еще издали узнавал ее светлую голову и косу, перекинутую на грудь.

Надо мной по-осеннему сухо шуршала листва старых лип, ногам было уже мягко стоять на желто-буром покрове бульвара, но еще держалось тепло в ясном, сухом воздухе.

Она останавливалась, прощаясь с подругами, и переходила мостовую. И мы шли по бульвару, стараясь отстать от ее подруг, идущих по тротуару и оборачивающихся, чтобы взглянуть на меня. Мы сворачивали на канал, переходили мостик и шагали по площади мимо Русского музея, потом — через Садовую.

Ее улица была маленькой и короткой, но здесь находились разные учреждения, стоянка такси, а на углу Невского — самый большой в городе продуктовый магазин, и поэтому было всегда людно.

Я помню, что в толчее мне было уютнее, чем на тихих улицах,— мы становились как бы ближе друг к другу. У ворот я отдавал ей портфель, и мы расставались до вечера. Впрочем, с началом учебного года мы виделись все реже: занятия требовали времени, у нее были подруги. А после школьного вечера, посвященного началу занятий, стали встречаться совсем редко. Я хорошо запомнил тот вечер. Это был единственный школьный вечер, на котором я не чувствовал себя чужаком, единственный и последний. Больше мне уже не довелось бывать на вечерах, и школа, занятия, встречи — вся обычная жизнь — отошли далеко в прошлое. И порой мне казалось, что их не было никогда.

В тот вечер я забрался в угол и сел на скамеечку рядом с Женькой Никулиным. В женской школе был маленький зал, в котором обычно проводились уроки физкультуры, и сейчас несколько пар танцевали танго

под радиолу, а в углу стояло ободранное пианино, за которым валялись свернутые маты.

Мы сидели, прислонясь спинами к перекладинам шведской стенки, и смотрели на танцующих. Легко и элегантно танцевал Валерка Парамонов с какой-то девушкой в лаковых туфлях. Тяжеловато, но все же красиво вел свою высокую партнершу Оскар. Еще два или три наших парня мельтешили в танце у противоположной стены, а в основном танцевали девчонки друг с другом. Я почти не замечал их всех и следил только за ней. Она была в памятном мне кремовом платье и белых туфлях, коса собрана тяжелым узлом на затылке. Она казалась взрослой и строгой и танцевала с каким-то незнакомым парнем. Высокий, коротко стриженный, парень явно не был школьником. Я даже не знаю, почему мне так показалось,— видимо, были какие-то неуловимые приметы в его облике: хорошо повязанный галстук, какая-то легкая небрежность. Скорее всего, он был студентом — мне так и не довелось узнать это.

Я смотрел, как они танцуют, делая плавные повороты, как изредка перекидываются словами, все удаляясь и удаляясь от меня в глубину зала.

— Хорошая девчонка... — сказал Женька Никулин. Он назвал ее по имени, хотя не был с ней знаком. Ее многие в нашей школе знали по имени, но не могли похвастать знакомством.

— Да, очень,— отозвался я горячо. Женька мне нравился больше всех в классе. Что-то было в нем такое, что вызывало уважение. Он никогда ни перед кем не заискивал, не пытался словчить, списать на переменке домашнее задание, если сам не приготовил его. Женька мне нравился, но сейчас вдруг стало неприятно, что он смотрит на нее, произносит вслух ее имя.

Я уже ревновал ее к чужим взглядам, к тому, что кто-то произносит ее имя, которое до сих пор не хочу поминать всуе.

В тот вечер мне хотелось, чтобы она стала маленькой, как Дюймовочка, чтобы можно было спрятать ее в ладонях, и только одному смотреть на нее, и никому не показывать.

Так и сидел я в углу, мрачнея от ревности, смешанной с нежностью. Она подошла, когда кончился танец. Я смотрел на нее сидя, снизу вверх, и она казалась высокой и очень красивой.

Радиола натужно завела следующее танго, и она позвала меня танцевать. Я смутился, сказал, что не умею. Но она наклонилась, взяла меня за руку и вытащила из угла. Я почувствовал, как твердо она держит меня за плечо, и обнял ее за талию. И она повела, подсказывая, какой ногой делать шаг. Мельком я увидал округлившиеся глаза Женьки Никулина, перехватил внимательный взгляд Валерки Парамонова, но это не вызвало во мне гордости. Я чувствовал себя каким-то потерянным, загнанным, потому что ее грудь коснулась моей, потому что ее лицо было так близко, что я видел каждую ресничку и как подрагивают тонкие ноздри. Я не слышал музыки, не видел ничего вокруг и только подумал, что моя внезапно вспотевшая ладонь оставит пятно на ее светлом платье. А она внимательно, пристально смотрела мне в лицо, прямо в глаза, и такая растерянность охватила меня, что вдруг захотелось вырваться из-под ее руки, крепко державшей мое плечо, и бежать от этих пристальных, испытующих глаз, от трепещущих ноздрей, от чистого, печального запаха ее волос. Что-то новое появилось в ее строгом и озаренном лице — она видела меня насквозь и хмелела от моего смятения, как от музыки. Но я не убежал, и пластинка докрутилась до конца.

Она взяла меня под руку и подвела к тому парню, с которым танцевала. Он стоял, небрежно облокотившись на пианино.

— Познакомьтесь,— сказала она.

Я протянул руку, почувствовал внушительное пожатие сухой, твердой ладони и кивнул. А потом мы стояли друг против друга в неловком молчании, пока она не попросила его сыграть. Он согласился сразу, не ломаясь. Она выключила радиолу, и он сел за пианино.

Я смотрел, как крупные руки снуют по желтоватым и черным клавишам, как танцуют пары вдоль шведской стенки; смотрел ей в лицо, затуманенное каким-то раздумьем, и чувствовал, что исчезаю, растворяюсь в этих звуках разбитого пианино, в тусклом свете зарешеченных плафонов, в ее задумчивом взгляде, в кружении пар. Я уже не существовал ни для кого в этом зале, даже для самого себя. Я был чем-то вроде скрипов и шорохов, накладывавшихся на музыку в гулком нутре старого инструмента. И зависть разливалась во мне к этому парню, который легко извлекает из пианино музыку и попутно эти скрипы и шорохи, которые и есть я, никому не нужный и незначительный.

Это было со мной весь вечер. И только когда мы вышли на безлюдный вечерний бульвар, стало легче.

— Ну, я пойду,— сказал этот парень и кивнул нам, не вынимая рук из карманов.

— Ладно, пока,— коротко ответила она и взяла меня под руку. И в этом сухом, деловитом прощании было что-то такое, отчего мне опять стало тревожно и холодно.

После этого дня мы вдруг перестали видеться вечерами. Я по-прежнему встречал ее после уроков и провожал до дому. Мы расставались под аркой, и она ничего не говорила о встрече вечером, а я сам не просил об этом — так уже повелось с самого начала. Я только приходил вечерами во двор и, спрятавшись в дверях черной лестницы, смотрел в ее окно. Сквозь тюлевую занавеску все казалось туманным и размытым, и от света лампы вокруг ее головы искрился желтоватый ореол. Или я видел ее в соседней комнате. За большим столом

собиралась вся семья: младшая сестра, мать, отец. Ее место было напротив окна, и я несколько раз видел, как она ест. До сих пор помню, как обеими руками она подносила ко рту большую белую чашку. В этом движении было что-то удивительно детское и трогательное. Честно говоря, в то время меня умилял каждый ее жест, любой поворот головы.

А может быть, это только кажется мне теперь? Может, все было проще и будничней? Может, я придумал и боль и любовь?

Для нас всегда ясен поступок, но не жизнь сердца. Я стремлюсь к истине, но возможно, что все это — ложь. Нет, правда! Это настоящее. Я верю, что все это настоящее, и никогда не пойму тех многоумных взрослых людей, которые с пренебрежением смотрят на свою и чужую юношескую любовь. Мне кажется, что это от робости души — страх перед искренним, еще не замутненным никаким опытом чувством. Они пугаются абсолютности этого чувства; его высота и величие несовместимы с их инстинктивной тягой к благоразумию. Они считают, что это ненастоящее. Но разве может быть ненастоящим росток яблони, только что проклюнувшийся из земли? Он все равно — дерево!

Да, мы все реже виделись вечерами, и я бродил около дома, хотя в ее окне часто в последние дни не было света. Я кружил по улицам и мостам и снова возвращался к ее дому, заглядывал в окно, но оно было пустым и черным. Я вспоминал нашу короткую встречу днем, пытаясь в ней открыть причину ее отсутствия, и ее молчаливость и рассеянность днем казались мне теперь, вечером, многозначащими и тревожными. Вряд ли в то время я что-нибудь понимал — скорее всего это были смутные догадки, предчувствие потери. Я бродил по сумеречным улицам и ощущал лицом сырость воздуха, вдыхал терпкий, горький запах палой, умирающей листвы.

Но днем по-прежнему встречал ее после уроков на бульваре и провожал до дому, нес портфель, заглядывал в лицо и томился. Она была молчалива. А я, как все слабые люди, видимо, пытался оттянуть развязку и поэтому не решался спросить, где она пропадает вечерами. У дома она брала у меня свой портфель и, ничего не сказав, уходила. А я оставался со своими печалями и болями, про которые не знал еще, что они — печали и боли, с ощущением пустоты.

Я столько передумал о ней в ту последнюю неделю осени, столько часов провел возле ее дома, что все это вошло в меня, стало частью моего существа. Я мог, закрыв глаза, представить себе каждое ее движение, любую мимолетную тень на лице, каждый уголок ее комнаты, хотя не был там никогда. И это знание приближало ее ко мне, делало ее почти что созданием моего воображения,— жизнь нашего духа — это всегда часть нас самих. И поэтому она всегда была со мной над узкими каналами с запахом стоялой воды, на улицах с туманными призрачными перспективами, на мостах, овеянных ветром.

Один раз я встретил ее.

Я только что вышел из двора, где на меня слепо и равнодушно глянуло темное окно первого этажа. Я вышел и почему-то сразу перешел на другую сторону улицы, где толпились люди в очереди на такси. Вся суета, весь шум, смех, обрывки слов не имели ко мне никакого отношения, потому что в маленьком дворе, захламленном ломаными бочками и обветшалыми рогожными кулями, не светилось окно первого этажа. Я чувствовал отчуждение и враждебность к этому поглощенному собой и куда-то устремленному миру. Только она связывала меня с ним, только она делала меня самим собой или таким, каким я хотел быть,— без нее я ничего не значил, был пустым местом, парой разбитых ботинок и поношенным платьем.

И не было в моей жизни одиночества горше, чем это,— было страшней, было глуше, безнадежней, безвозвратней, но горше не было. Я и сейчас вижу ту мальчишескую фигуру — тощую и нахохленную — на углу проспекта и маленькой, но людной улицы; кругом сутолока и вечерняя спешка, цветные огни и праздничность, и одинокая фигура на углу отбрасывает зыбкую тень на освещенный витринами асфальт.

И вдруг я увидел ее. Стройная женщина в белых туфлях шла по той стороне улицы, прижимая к лицу букет каких-то темных цветов. Я бросился ей наперерез, но не добежал. Что-то остановило меня в нескольких шагах, и возникло чувство неловкости, будто я подглядываю за ней, а она не подозревает об этом. Да, она медленно шла, прижимая к лицу букет темно-лиловых и красных астр, и чуть улыбалась. И у нее было такое лицо, будто перед ней не улица, а огромное зеркало, в котором она видит только себя и любуется своей одеждой, плавными движениями, улыбкой...

Я не окликнул ее.

Утро выдалось холодным и пасмурным, как-то резко, сразу стала видна глубокая осень. Голые, мокрые прутья кустов на бульваре покорно дрожали под ветром, раздетые деревья отступили друг от друга, застыдившись своей наготы и угловатости; подошвы прилипали к раскисшей дорожке.

Я не дошел до школы, почему-то свернул в переулок, вышел на канал, пронизанный сырым ветром, и побрел без мысли и без цели. Весь день я плутал по улицам, бродил по сквозным аллеям Михайловского сада, выстаивал на мокрых мостах. Я ни о чем не думал — какая-то оцепенелость была во мне.

К концу занятий я снова стоял на бульваре, поджидая ее. Я уже понимал, что этого не нужно делать, но не мог справиться с собой, не мог пересилить желание еще раз увидеть ее. И я стоял под знобким ветром,

обреченно предчувствуя унижение от ее холодности. Но она, завидев меня, улыбнулась, оставила подруг и перешла на бульвар. Мы пошли рядом, и я нес ее портфель, будто не было холодности и отчуждения последних дней между нами, будто не она шла вчера с цветами, странная, с тихой улыбкой, словно гляделась в зеркало.

Мы шли, перебрасываясь замечаниями о погоде и прохожих, о школьных делах, еще о чем-то — все было как всегда, но все было другим. Мне хотелось смотреть на нее, но я прятал глаза, будто в чем-то был виноват. И еще хотелось спросить, откуда она возвращалась вчера, но я не решился. Так и шли мы сквозь серый осенний воздух, осторожно роняя пустые слова и стараясь не глядеть друг на друга.

У ворот ее дома мы долго молчали: никто не решался уйти первым. И тут я неожиданно для себя позвал ее еще погулять. Она зябко пожала плечами, но молча вышла из-под арки.

Сырой, липкий ветер задувал нам в лицо, морщил пелену луж на садовых дорожках, срывал последние жухлые листья с ветвей и шумел в ушах. Мы шли тем же путем, которым я бродил сегодня. Она смотрела вперед, плотно сжав губы, я сбоку заглядывал ей в лицо и хотел сказать, что люблю ее, но чувствовал, что этого не надо делать, и все сильнее хотел сказать ей это. И где-то на мостике через Мойку, там, вблизи Эрмитажа, я взял ее за руку и решился.

— Послушай,— сказал я и назвал ее по имени.

Она медленно повернула голову, наши взгляды встретились, и я понял, что нужно молчать. Ее сухие, настороженные глаза приказывали молчать, в них был мой приговор.

— Что? — спросила она.

— Ты не замерзла?

Она печально покачала головой, взяла у меня портфель, и мы быстро пошли к ее дому.

Под аркой стояли и молчали. Я теперь не боялся ее взгляда: между нами уже все было ясно, и мы просто прощались, строго глядя друг на друга. Что-то дрогнуло в ее лице, она шагнула ко мне и поцеловала в щеку, а потом повернулась и побежала во двор. Так все и кончилось. Нет, вернее, так все и началось. Ведь я до сих пор ношу в душе то лето и ту осень...

После этого дня я уже не ходил в школу, кажется, не разговаривал несколько дней, и во мне росло убеждение, что после всего, что было, жить по-прежнему уже нельзя.

У моей матери с давних пор в шкафчике хранились три ампулы с каким-то лекарством. Много лет угрозами и увещеваниями эти крошечные бутылочки оберегались от меня, и поэтому я думал, что в них какой-то сильный яд. И вот я вытащил эти ампулы из шкафчика и рано ушел из дому.

Крепкий утренник хрустел ледяной коркой луж под ногами, присолил белым инеем кучи листвы в скверах. Уже пахло морозом, чистым снегом, свежестью.

Ампулы согрелись в кулаке, втиснутом в карман.

Я бродил по улицам и представлял себе последствия своего поступка: недоумение в классе, горе родителей. И мне даже становилось смешно оттого, что никто не будет знать причин, что я оставляю всех в дураках — всех, кроме нее. Я представлял себе, как поразит ее мой поступок, как горькое чувство вины будет точить ее сердце. И мстительное злорадство наполняло меня решимостью.

Мой путь закончился на черной лестнице нашего старого дома. Она была заброшена с самой войны, потому что полдома заняло учреждение, пользовавшееся лишь парадным подъездом. Дверь на лестницу была заколочена, но я знал лаз через подвальное окно.

Ступени покрылись слоем пыли, глушившим шаги, стекла затянуло паутиной, валялись полуистлевшие тряпки, битые бутылки, пахло кошками и запустением; из-под облупившейся штукатурки краснела старинная кирпичная кладка; кое-где на стенах сохранились детские каракули.

Я поднялся до площадки третьего этажа и встал у окна. Мне был виден наш тесный, знакомый до мельчайших подробностей двор с бетонной помойкой, мокрым асфальтом, решетчатой крышкой люка. Сознание того, что я вижу все это в последний раз, вызывало какое-то странное любопытство, будто все это я видел впервые. Я достал из кармана теплые ампулы и прислонился к стене. Вдруг мне пришло в голову, что я перепачкаю спину об стенку. Я отошел, положил ампулы на подоконник, снял пальто и тщательно отряхнул спину, а сам все думал, зачем я это делаю, будто теперь не все равно. Потом я медленно надел пальто, взял ампулы и сломал головки. Лекарство пахло резко и тошнотворно, и я понял, что мне неохота, до смерти неохота умирать на этой загаженной кошками лестнице, у окна, выходящего на помойку. Я бросил ампулы и раздавил, растер подошвами тихо похрустывающее стекло и кинулся вниз по лестнице. Остаток дня я, не останавливаясь, шел по улицам, шел быстро, стараясь убежать от того, что пережил на черной лестнице.

А ночью пришел стыд. Я лежал в темноте и корчился от унижения. Я презирал себя. У меня не хватило характера даже на то, чтобы перестать жить.

Прошло уже много лет, но я все помню и думаю, что то унижение было страшнее всего.

Я уже не мог жить жизнью сверстников, и прибежищем мне стала улица. Тут и сработали мои давние знакомства. Я вошел в жутковатый мир тогдашней барахолки, которая с утра дотемна месила грязь и сквернословила на набережной Обводного канала. Я узнал раз-

болтанных, полупьяных людей, отирающихся на вокзалах; научился выделять в толчее магазинов подростков со скучающими лицами, на которых опасливыми мышатами бегают настороженные глаза. Через несколько месяцев все эти люди принимали меня за своего. Я испытал невеселое удовольствие от своей кажущейся независимости, от удачливости, которая, как говорили, не сопутствует трусам.

О школе, о прежней жизни, о ней я не думал — старался не думать. Только временами, непрошеные, вдруг приходили воспоминания, и я понимал, что живу не так, что все плохо. Но странный, злорадный голос шептал мне: «Ну и пусть, чем хуже — тем лучше». И с холодным упрямством я продолжал ломать свою жизнь.

Я делал все назло самому себе.

Не знаю, наверное, все это было от неосознанного желания расквитаться с собой за унижение и страх, пережитые там, на черной лестнице,— медленный способ самоубийства.

Конец настал быстро. Следующую весну я встретил далеко от Ленинграда, без надежды когда-нибудь вернуться...

Но вернулся, правда, почти десять лет спустя. И жил, работал, учился, ставил перед собой суетные маленькие цели, шел к ним, добивался или сворачивал на полпути. Но с той девушкой не встретился ни разу. Да и та ли она теперь?

В квартире на первом этаже, где она когда-то жила, теперь склад магазина. В ее окно ведет ржавая железная лесенка с трубчатыми перилами. По этой лесенке рабочие в клеенчатых фартуках вносят и выносят ящики и мешки. И в ее комнате — наконец я заглянул туда — свалены коробки из-под апельсинов с пестрыми экзотическими наклейками...

Неужели это все, что остается от первой любви?

Уже до меня и лучшим, чем я, было сказано: «Да святится имя твое». Он сказал это за всех, которые думали то же самое, но не могли найти этих слов по своей занятости, по опущенности глаз своих к земле. Я добавлю только: «Прощай и здравствуй. Здравствуй и прощай. Вечно здравствуй».

Это она помогла мне выжить. Это она шла со мной, она была рядом на всех крутых перевалах.

Я помню обжигающий мороз, иллюминацию над колючей проволокой — свет, от которого становится темно на душе... Она была со мной тогда. Я помню драку за какие-то съедобные отбросы под магнийными звездами, подсинивающими плотный, искрящийся снег. Я не бросился в помойку за этими отбросами, не хватал ртом прямо с земли селедочные головы и очистки, потому что я видел ее глаза, и они были больше этих страшных звезд. Я чувствовал себя человеком, потому что она была со мной тогда. Она была как мост, соединяющий с жизнью. И я все-таки пришел на этот берег.

Я люблю свою первую любовь, и только одно омрачает меня. Оттуда я написал ей письмо. Писал его в каком-то хмелю. Там были бессмысленные угрозы и слова любви, там были ненависть, проклятие и благословение. Я до сих пор помню то состояние, в котором писалось это письмо. Там я совершил предательство своей любви. Я сказал вслух то, чего не должен был говорить, то, что запретили ее глаза на ветреном мосту. Я назвал ее своей против ее желания — «по праву тех, кто может не вернуться». Я совершил насилие над тем, чему имя — свобода. Я до сих пор надеюсь, что письмо не дошло до нее...

В субботу мое лирическое настроение иссякло.

Я зашел в кафе. Кто не знает этих заведений — прямоугольный зал с низким потолком, увешанным малень-

кими плафонами, в дальнем углу буфетная стойка из дюралевых угольников и стекла; ряды столиков, крытых пластиком и заставленных грязной посудой. Склонившиеся над тарелками люди сосредоточенно, истово жуют, будто исполняют важную работу. Здесь не встретишь праздных субъектов, прохлаждающихся за стаканом вина и скорбящих о собственном несовершенстве. Сюда забегают перекусить студенты и командированные, шоферы, продавщицы окрестных магазинов, почтальоны.

Я постоял в короткой очереди в кассу, прошел в другую очередь к раздаточному окну, из которого веяло жарким кухонным дыханием, и с пластиковым подносом стал лавировать между столами, разыскивая место почище и поспокойнее. Сел и огляделся.

Среди буднично утолявших голод людей вдруг бросились в глаза сидящие неподалеку два парня и девушка. Не было у них на столе ничего особенного: та же еда, две бутылки какого-то дешевого вина. Но по их оживленным, улыбчивым лицам, по блеску глаз было ясно, что они пируют, а не просто едят. Я хорошо видел широковатые и чем-то схожие, бесхитростные лица чуть захмелевших парней и профиль девушки. Ел и прислушивался к их негромкому смеху, и мне было почему-то приятно, что эти молодые, веселые люди сидят неподалеку. Я изредка поглядывал на них.

Что-то привлекало меня в этой девушке. Блестящие темные волосы, собранные на затылке, милая асимметричность лица, серый ворсистый берет — все это было обычно: не внешностью притягивала мой взгляд эта девушка.

Возможно, то, что я скажу,— лишь наивное заблуждение. Но на лице всегда остается след душевной работы, если человек неистово ищет ответы на бесконечные *почему,* которые ставит перед ним неудачливая судьба. Да, именно неудачливая, потому что удачи и успех вос-

принимаются как должное. А должное и естественное не вызывает вопросов. Разве у счастливой любви спрашивают, почему она счастливая? А вот неудачи всегда порождают эти *за что* и *почему*. И, мучаясь в поисках ответов, человек попутно передумает и поймет так много, что иногда ему становится ненужным ответ на то *почему*, от которого он отправился в путь.

Я люблю эту породу людей, которые вечно ищут и вечно не находят ответов. И след этой душевной работы виден на человеческом лице сквозь любые ухищрения косметики, блеск молодости и старость. Девушка несколько раз оглянулась на меня, и это взволновало. Уже возникло между нами какое-то непонятное общение.

Они ушли чуть раньше меня. Но когда я, застегивая плащ, вышел на улицу, то сразу столкнулся с этими парнями. У них были растерянные, обескураженные лица. Они медленно прошли мимо.

Я постоял, глядя им вслед, закурил.

Рядом у витрины спиной к улице стояла женщина в сером мохнатом пальто и ярком розовом шарфе; ее темные волосы спадали на плечи, большие защитные очки скрывали лицо. Она стояла и смотрела в витрину, чуть отставив ногу в коричневом замшевом сапожке, покачивала рукой сумку, висевшую на плече. Почувствовав мой взгляд, она обернулась. Это была та девушка, которая пировала с парнями в кафе, только она сняла берет и распустила волосы.

Видно, очень уж огорошенный был у меня вид, потому что она весело улыбнулась и сняла очки.

Мы медленно шли по улице.

Уже зажигались витрины и фонари, все неспешнее становился поток прохожих.

Я смотрел ей в лицо. В этом вечернем свете она казалась старше. Нет, это было молодое лицо — густо наложенная на веки чернь и яркая губная помада только

выделяли свежесть смуглой кожи, но у меня не проходило давешнее впечатление. Что-то было в ее лице, в блестящих темных глазах, где-то глубоко-глубоко таились тени. И когда она переставала улыбаться, на лице вдруг появлялась усталость, будто на миг с него спадала маска беззаботности. Гасли глаза, расслаблялись мускулы, и все сразу тускнело. Это состояние было таким кратким, что его можно было не уловить, если бы оно не повторялось. А потом я заметил негармоничность глаз и лица — глаза были старше. Даже когда она улыбалась, они смотрели вопрошающе. И эта затаенная вопросительность как-то скрадывала вульгарность косметики и чрезмерную современность ее облика, тоже граничащую с вульгарностью. Но не было в ней того откровенного и незатейливого кокетства, которое сразу бросается в глаза любому мужчине...

Мы медленно шли по улице, вплывающей в прохладный и ясный осенний вечер.

— Что же вы покинули своих рыцарей? — спросил я.

— Да ну их! — Она рассеянно улыбнулась, видимо думая о чем-то другом.

— По-моему, это жестоко. У них были такие обиженные лица.

— Мне надоели обиженные лица: каждый носится со своей непонятостью.

— Какие же лица вам нравятся?

— Умные. Скучно, когда понимаешь, что нечего понимать.

— Нормальные парни, кажется.

— Да ну, противно, когда мужчина начинает думать черт-те что, если ты поговорила с ним за столом. А если не отказалась от стакана вина, то он уже считает, что купил тебя хотя бы на вечер.

— Н-да, бывает. — Мне стало неудобно от этой неожиданной, грубой откровенности, и я не знал, что ответить.

— Я не ангел, но неприятно, когда через десять минут обнимают за талию и думают, что для тебя это — ух какое счастье.

— Это модно,— сказал я.

— Модно... Может, сразу назначать цену? За полстакана марочного столько-то улыбок или чего-нибудь еще? Меновая торговля. Можно условиться об эквивалентах. Как там, в политэкономии: один топор равен одной овце? — Она злилась.

Мне стало скучно и досадно. Я совсем не ждал такого разговора и сказал:

— Да бросьте, стоит ли об этом всерьез.

— Конечно нет,— улыбнулась она.— Просто хотелось позлить вас. Вот, ожидали веселого приключения, а тут — нудный разговор, чуть не со слезой. А у вас хорошее настроение, вы — добрый, и никаких излияний вам не надо. — Лицо ее стало насмешливым.

Я смутился и забормотал неуверенно:

— Да нет, почему же? Но просто...

— Вы еще не разучились смущаться. — Она рассмеялась. — Это здóрово. Только не обижайтесь. Знаете, бывает такое стервозное настроение: хочется кому-нибудь досадить — и болтаешь разный вздор.

— Понимаю,— сказал я без всякого энтузиазма.

— Ну вот вы и скисли. Честное слово, вы мне нравитесь, и все прекрасно. Я ведь специально у кафе ждала вас.

— Зачем?

— Не знаю. — Она, опустив голову, прошла несколько шагов, потом подняла лицо. — Я ведь сказала, что люблю умные лица.

Я не понимал, насмехается она или говорит правду; интонация ее была доверительной, а глаза, хоть и печальные, озорно поблескивали.

Мы свернули на набережную и пошли вдоль старых особняков с большими окнами, в черном глянце которых

покачивались желтые блики фонарей. Я не знал, что говорить, и стал закуривать. Она тоже протянула руку за сигаретой.

Некоторые прохожие косились на нее, а она не замечала этих взглядов, курила, помахивала сумкой на длинном ремне, так что едва не касалась ею асфальта. А я поеживался под взглядами встречных, и внутри тоже было неуютно. То, что эта женщина шагала рядом, обостряло одиночество, делало этот вечер несносным. И, как всегда в одиночестве, я незаметно прибавил шагу, резче замахал руками.

— Что это у вас? — Она взяла меня за кисть руки, силясь рассмотреть тыльную сторону под тусклым светом фонарей.

— Татуировка — что! — буркнул я и хотел отнять руку, но она не отпустила.

— Вы были в колонии? — спросила она медленно.

— Как вы догадались? — с угрюмым удивлением ответил я.

— Ну как же, бабочка с усиками — знакомая наколочка. — Она говорила с какой-то мягкой улыбкой, и лицо вдруг потеплело. — Еще — кинжал на предплечье... У вас нет?

— Нет.

— Вы только не сердитесь. — Она взяла меня под руку.

Я молчал.

— Я хорошо знала это заведение. Еще школьницей... Юноша один, моя первая любовь,— она усмехнулась,— попал туда. Ездила к нему на свидания.

— В каком году?

— Это был сорок девятый.

— Я был там раньше.

— Значит, вы не тот юноша. — Она помолчала. — Знаете, смешно сейчас вспоминать. Возомнила себя спа-

сительницей, подвижницей. Женская жертвенность... Помочь выбраться на дорогу...

— Ну и как, спасли?

— Нет, погубила. — Она рассмеялась.

В ее словах была какая-то фальшь, кривляние, и это злило.

— Ну хоть сами-то получили удовлетворение от миссионерства?

Она посмотрела мне в глаза, отвернулась и сказала тихо:

— Я ведь не спасла.

Ее задумчивое лицо как-то сразу постарело, стало под стать глазам, взгляд которых был обращен внутрь.

Я локтем чуть прижал ее руку и спросил тихо:

— Он умер?

— Нет, он живет, и еще как! Только он — ничтожество. Благополучное, самовлюбленное. Видели павлина в зоопарке? Так вот, он и есть павлин. Он очень любит свой хвост. Он влюбился в себя на всю жизнь и после смерти, потому что достиг чего-то. Теперь сидит вечерами у телевизора, пьет коньяк, посматривает в зеркало и улыбается сам себе. Он купается в самоуважении.

— Чем он занимается?

— Математик. Электронная машина в великолепных дакроновых костюмах. Мне он не может простить, что знала его другим и помогала. Он на всю жизнь остался вундеркиндом, а они же вырастают из ничего, сами по себе.

Она умолкла, опустив лицо. А я тут только заметил, что мы идем очень быстро и давно плутаем по узким улицам Петроградской стороны.

— А у вас какая профессия?

— Юрист.

— Следователь?

— Нет-нет. Я работаю в таможне. У вас, наверное, до сих пор неприязнь к следователям... Человек родом из детской колонии,— задумчиво проговорила она.— А у вас что за профессия?

— Строитель,— ответил я. И тут меня понесло.

Я рассказывал ей все. Все без утайки. О моей детской ущербности и первой любви. О том, как одна девушка перевернула мою жизнь. О тревожности улиц, когда бродишь по ним один; о детской колонии, о наивном и жестоком мире подростков, рано ставших взрослыми, о голоде, обо всем. Улицы водили нас по городу, и она крепко держала меня под руку. И я говорил и говорил, иногда привирая, чтобы украсить непривлекательные подробности, чтобы самому себе показаться лучше и чище. И ловил себя на этом вранье, но все равно знал, что говорю чистую правду.

Она слушала и молчала, глаза то грустнели, то наполнялись смехом. А потом мы сидели в какой-то маленькой, забитой молодежью мороженице и пили кислейшее вино. И в гомоне голосов и звяканье посуды она говорила, близко склоняя ко мне свежее лицо с усталыми глазами:

— Вот вы всё сами, и вам некого винить, некого ненавидеть. Вы никому не должны...

Я смотрел на нее, и все больше чувствовал нашу родственность, и влюблялся в ее руки, сдержанные жесты, глаза.

— А вы хотели бы увидеться с той девушкой?

— Это невозможно.

— Она умерла?

— Не знаю. Но она теперь не та. Той девочки нет — она осталась там, где и парень, которым я был.

— Да-да... Туда не вернешься.

Мы вышли. Был ветер и холодный сумрак, но мне было тепло. Мы брели сквозь вечер — два маленьких

мира, между которыми протянулась зыбкая, невидимая связь.

Возле Каменноостровского моста она остановилась.

— Дальше я пойду одна, ладно?..

Она быстро пошла через мост и вскоре скрылась за горбом. А я остался один, и на миг меня охватило чувство покинутости, как тогда в юности. Но я уже был защищен. Я знал, что эта женщина останется со мной, как та девушка, как все люди, которых я любил, с которыми враждовал, как все мои ошибки, все успехи, все неразгаданные *почему*.

ПРОЩАЙ, ДЕРБЕНТ



1

Борисов спускался с моста.

Еще светился шпиль собора, но стены Петропавловской крепости уже охватили бледные сумерки, после которых сразу наступает белая ночь. А где-то там, за Стрелкой Васильевского острова и дальше — за зданиями Университетской набережной,— садилось солнце.

Сразу от моста сквозными скверами и разверстыми площадями начиналась Петроградская сторона. Борисов почувствовал знакомый холод внутри, напряг челюсти: «Эраншахр...» И вздохнул обреченно: прямо от моста, понижаясь вдаль, начинался Ктезифон... Огромный город, изрезанный каналами; кубы каменных домов и глинобитные заборы, серые кроны олив в ущельях бесчисленных улиц... Синий туман слоился над Тигром... Ктезифон — благословенный город шаханшахов, столица Эраншахра...

И по скверу площади Революции, по нагретому дневным ленинградским солнцем асфальту Кировского проспекта он вступил в этот вечный город персов...

Мимо парфюмерного и цветочного магазинов, мимо зеркальных витрин киностудии с метровыми фотографиями актеров, мимо столовки самообслуживания.

Борисов не замечал, что почти бежит, задевая прохожих.

Шумели автобусы и машины на проспекте. У лотка возле сквера стояла небольшая очередь, и оттуда тек густой нерыбный аромат корюшки.

Борисов вроде бы видел все: и очередь, и детскую коляску у входа в молочный магазин, и подслеповатый зеленый зрак светофора на углу,— но все это казалось нереальным, как во сне.

Был конец шестого века, и всадник на мохноногой ромейской кобыле, въехавший в западные ворота Ктезифона...

Борисов свернул на улицу Мира и здесь перевел дух. Все стало на места: дома, витрина аптеки, фасад школы в лесах, ядовитый запах краски. Он растерянно посмотрел на завернутый в белую бумагу букет гвоздик у себя в руке и вспомнил, что идет на день рождения.

«Параноик»,— скривив губы, подумал Борисов и сразу почувствовал усталость — ныла поясница, были чужими, нетвердыми ноги, будто это он проскакал последние три парсанга, торопя лошадь, чтобы успеть в столицу персов до закрытия городских ворот.

И опять на него накатило...

...Солнце валилось за Тигр, и ночь наступала на город. Слоился туман над рекой и каналами, и в последних лучах зеленовато блеснул узкий край нарождающейся луны; оливы тревожно дрожали под жарким ветром Сирийской пустыни. Кончался двадцатый день последнего месяца солнечного года по зороастрийскому календарю.

Молодой воин, сын ромейского патрикия, Анастасий Спонтэсцил, осадив лошадь на насыпи канала, смотрел на город, на Тигр, на умирающий закат и нарождающийся месяц. Он знал, что через десять дней будет равноденствие и за ним — этот варварский праздник персов Ноуруз: разгул черни, шум, скверные запахи... Молодой ромейский аристократ не любил толпы. Но сейчас этот город был приятен ему тишиной и безлюдьем...

Ветер трепал пропыленный синий плащ Спонтэсцила, прядала ушами лошадь от всплеска воды в канале. Ему должен быть приятен этот варварский город,— он приехал сюда устроить свое будущее.

Тьма накрывала дома, караван-сараи, площади и дворцы Ктезифона.

Анастасий Спонтэсцил поправил широкий пояс с коротким ромейским мечом и тронул лошадь...

Боль толкнула в левый висок. Разбитый, подавленный, Борисов остановился, зажал под мышкой букет и чиркнул спичку. Затравленно озираясь, курил.

«Опять! Опять»,— горестно думал он. Уже расхотелось идти куда-либо, видеть людей.

Район был хорошо знаком. Борисов жил здесь много лет и лишь недавно переехал в Купчино, получив трехкомнатную «распашонку». Он любил тихие эти улицы Петроградской стороны за уют и спокойствие, за скромное достоинство старых домов, плотно сомкнувших фасады.

Борисов свернул в проем за школу и очутился в малом дворике. Двухэтажные, поставленные покоем флигели из темно-красного кирпича, вьюнок, карабкающийся по стенам, серая, промытая дождями скамейка под чахлым кустом махровой сирени. Уютный дворик старого Петербурга, притаившийся за многоэтажным фасадным особняком.

Борисов сел, положил цветы, откинулся на спинку скамейки.

Сизо-белесое небо было над этим двориком; робко шуршала сирень.

Борисов курил.

Где-то во тьме неподвластного ему воображения, поправив широкий кожаный пояс с коротким ромейским мечом, сын патрикия Анастасий Спонтэсцил ехал по насыпи канала, и лошадиные копыта мягко тонули в тонкой пыли...

Опять! Опять... Как спокойно было последний год, он уже радовался, что все кончилось, но вот опять. И какой хороший был день...

Последний год ему казалось, что он вырвался, избавился от этих наваждений, которые отравили ему жизнь.

Всю жизнь воображение разыгрывало с ним эти шутки. В самый неподходящий момент вдруг всплывало нелепое, мельком услышанное слово, или случайный запах, или неизвестно где и когда увиденное — розовый свет чужого вечернего окна, мгновенный прочерк ласточки наискось через булыжную мостовую, мелькнувшая бархатистость ее серповидного крыла,— много ласточек гнездилось до войны в Ленинграде. Вид или слово всплывали в резком, пронизывающем свете, потом все гасло в мозгу и оставалась тупая, непонятная тревога, тоска, беспредметные желания, пустота.

Это привязалось с детства.

...Кособокий, истертый на швах кирзовый мяч, подпрыгивая по щебенке, подкатился к нему. Борисов подыграл мяч под правую ногу, коротко послал перед собой и ринулся за ним, нагнув голову и подавшись вперед. Исподлобья он увидел, что наперерез бежит Генка Зуев. Борисов догнал мяч и, не отпуская от ноги, повел вперед. Генка был уже близко. Борисов задержал мяч и резко остановился. Зуев, не успев затормозить, пробежал мимо. Борисов взял наискось, выходя по центру «ворот». Впереди никого не было, только между двух грудок битого кирпича метался Оська Дистрофик. «Бей, Валька!» — услышал Борисов крик Пашки Березкина. Он подправил мяч, глянул на взволнованное лицо Оськи, занес ногу для удара и... застыл.

Что-то еще кричал Березкин, но Борисов не понял, только услышал протяжное: «эй-а-а». Краем глаза заметил, что Генка Зуев уж рядом, увидел Дистрофика, опасливо выбегающего из «ворот» на перехват мяча, но

не сдвинулся с места. Ноги словно вросли в этот горбатый, пыльный пустырь, усыпанный кирпичной щебенкой.

Оцепенело и немо стоял Борисов перед «воротами», равнодушно следя за тем, как откатывается мяч к набегающему Дистрофику. Потом он поднял голову и оглядел наполовину срезанный фугаской флигель, похожий на шкаф без дверей, с полками уцелевших междуэтажных перекрытий, с лохмотьями отставших от стен обоев, повисшей на третьем этаже никелированной кроватью, искореженными ржавыми балками, кое-где торчащими из несущих стен.

Он видел все это в резкой, внезапной тишине, видел косые четкие тени от низкого солнца и стоял в нелепой позе застывшего на бегу. Он видел будто бы и эту свою позу: расставленные ноги в серых коротких штанах, тусклые галоши, привязанные к щиколоткам черными веревочками, руки, остановившиеся в полувзмахе; видел жирную синюю муху, разомлевшую на обломке кирпича. Все это предстало в неправдоподобной тишине и неподвижности, словно замерший кинокадр. Все это было слишком четким и застывшим, чтобы казаться действительностью. Но не это парализовало Борисова. Посреди пыльного пустыря он вдруг увидел то, чего не могли видеть другие — ни Пашка Березкин, ни Дистрофик, ни шамкающий, беззубый после цинги Генка Зуев. Будто где-то в мозгу у него раскрылись еще одни глаза. И то, что Борисов увидел этими глазами, приковало к месту, наполнив странным испугом и немотой.

По горбатому пустырю, усыпанному битым стеклом и кирпичной крошкой, сквозь которую уже пробился кипрей с лилово-розовыми султанами, на фоне разбитого флигеля шел голый бородатый человек. Борисов этими внезапно раскрывшимися, другими глазами увидел огромную мускулистую фигуру, короткую и широкую рыжую бороду; низкий, тяжелый лоб с выступающими надбровными дугами углублял глазницы и придавал всему

лицу выражение угрюмой жестокости. Человек торопливым тяжелым шагом пересекал пустырь, а в его грубых, покрытых ржавой шерстью руках билась, выгибаясь упругой тетивой и взмахивая беспомощно руками, тонкая длинноволосая женщина.

Борисов сделал несколько шагов в сторону; ноги вдруг подкосились, и он сел на корточки и закрыл глаза. А на пустыре все шла возня, слышались удары по мячу, крики. Борисов плотно сжимал веки, но все равно видел срезанный фугаской флигель, грубое, звероподобное лицо мужчины, беспомощные взмахи женских рук.

Потом он почувствовал, что кто-то стоит над ним, но глаз не открыл. То, что Борисов видел с закрытыми глазами, было пугающим и притягательным.

— Чего, голова закружилась, да, Валь? — спросил Пашка Березкин участливо.

— Да,— глухо ответил Борисов.

— Пройдет сейчас,— сказал Пашка и отошел.

Шло лето сорок третьего года, и головокружение для них, ленинградских подростков, было привычным.

Борисов еще немного посидел на корточках, потом открыл глаза. Все было на месте: глыбы кирпичной кладки, щебень и стеклянная крошка, повисшая кровать, косые тени от низкого солнца. Но страшного человека не было,— он исчез.

Ребята всё гоняли мяч, подымая рыжую пыль. А он, скорчившись, сидел у стены и задыхался от страха. И в мозгу бился беспомощно вопрос: «Что это, что?»

Борисов смутно помнил, что где-то он уже видел этого ужасного человека, и в то же время знал, что никогда не встречал его — это было жутко. Он сидел на солнце, а его бил озноб. За годы блокады он привык переносить холод и голод, не вздрагивать от разрывов тяжелых снарядов, но сейчас он был близок к тому, чтобы сорваться с места и с утробным, бессмысленным криком бежать, не разбирая дороги. Он весь сжался,

приготовившись вскочить, и... вспомнил. Все вспомнил: «Вчера!»

Да, вчера они с Пашкой Березкиным шатались по Невскому и зашли в комиссионный рядом с «Колизеем». В полутемном зале пахло пылью и старой обувью, тускло поблескивали прилавки коричневого дерева. Рядами висели мужские костюмы, одинаково выставив в сумрак квадратные плечи. Они никому не были нужны, эти штатские костюмы довоенных времен,— почти все мужчины в городе носили военную форму.

Впрочем, Борисов и Пашка Березкин не задерживались у этих прилавков с одеждой и обувью. Мимо старика продавца, высохшего, казалось, до прозрачности, они проходили в глубь зала, сворачивали налево и по узкой крутой лестничке с деревянными ступенями поднимались на галерею. Неширокий проход был огорожен балюстрадой коричневого дерева, такого же, как и прилавки внизу.

Здесь окна не были заложены мешками с песком, и неяркий свет проникал сквозь запыленные стекла, а по стенам сплошь висели картины, тоже запыленные и посеревшие. Золото рам было темным и тусклым. От этой пыли и тишины, от слабого запаха старой кожи картины казались таинственными и в то же время жалкими, будто сами понимали, что никому не нужны в этом фронтовом городе. Половицы галереи слабо поскрипывали под ногами.

Борисов и Пашка Березкин любили смотреть те полотна, на которых были груды крупных персиков, огромные копченые окорока, большие караваи белого хлеба с золотистой, румяной коркой, длинные, как лодки, ломти дынь с кремоватой сочащейся мякотью.

Они подолгу стояли перед этими картинами в затхлой, унылой тишине. Рот наполнялся слюной от вида соблазнительной снеди, и острее ощущалась в желудке всегдашняя пустота.

«Вчера!» — Борисов привалился спиной к теплой стене, затылком ощутил неровности старой кирпичной кладки и вздохнул.

Вчера в углу галереи комиссионного магазина, под пыльным окном, он видел небольшую мраморную группу на высоком столике из черного дерева. Фигура бородатого мужчины была маленькой и нестрашной; по грязно-белому мрамору змеились тонкие синие трещины. И вся группа казалась невыразительной и жалкой. Борисов и взглянул-то на нее мельком. Может быть, этот мрамор давно стоял там, в углу галереи, а он, Борисов, заметил его только вчера.

Теперь, когда он вспомнил, где видел этого человека, уносящего женщину, видение больше не пугало. Оставались только усталость и удивление и еще непонятная тревожная грусть. Так и сидел Валька Борисов у стены разбитого бомбой флигеля и смотрел, как его сверстники гоняют в футбол на пустыре, усыпанном кирпичной крошкой. Играть не хотелось. Что-то вдруг отделило его от Пашки Березкина, Генки Зуева и Дистрофика, будто он стал старше их.

Так двадцать пять лет назад, летом сорок третьего, воображение впервые сыграло с Борисовым свою невеселую шутку.

Он докурил сигарету, встал со скамьи, со вздохом оглядел двухэтажные флигельки и желтоватые листья вьюнка, карабкающегося по стенам старинной кладки.

Уже не хотелось на день рождения, но нужно было идти. Нужно было пересилить внезапную тоску, не поддаться настроению меркнущего дня. Борисов знал, что он нужен сегодня. Что Серега Грачев ждет его, хотя накануне они не обмолвились и словом об этом вечере. Такая уж бессловесная сложилась у них дружба.

Борисов пошел со двора, окунулся в грохот трамваев на узкой улице, пересек Большую Пушкарскую и нырнул

в кипение проспекта. Здесь он замедлил шаг. Нужно было расслабиться как-то. Нельзя было входить в праздничный дом с тем выражением напряженной тревоги, которое он чувствовал на своем лице.

Борисов шел медленно и старался думать о дне рождения, о людях, которых там встретит, о предстоящем застолье.

В последнее время он не любил обременять память чем-то таким, что оставляет неприятный осадок. Ну, допустим, что этого никто не любит. Но раньше Борисов, встречаясь с такими неприятностями, как-то выходил из них с легким сердцем. Ну, было там что-то не очень красивое, кого-то занесло, и он стал на людях выворачивать себя наизнанку. А теперь Борисов уже заранее досадовал на возможные неловкости этого сорта, перебирал мысленно лица знакомых, которых должен был увидеть, и предполагал, от кого можно ждать такой портящей настроение несдержанности. И все были люди, крученные жизнью, у всех со всеми были давние и запутанные отношения, особенно у нескольких женщин, которые были влюблены в Серегу Грачева очень давно и до сих пор надеялись на то, что он наконец устанет от их внимания и молчаливого обожания, от их покорной настойчивости и, чтобы разом освободиться от всего этого, женится на одной из них.

Серега тоже все понимал. И конечно, холодным отношением мог бы отвадить своих поклонниц от дома, несмотря на то что любая из них старалась завоевать расположение матери Сергея и тем самым укрепить свои позиции в ущерб соперницам. Но Грачев молчаливо провоцировал эту войну обаятельных улыбок: это доставляло ему удовольствие, щекотало тщеславие. Борисов достаточно хорошо знал его и не сдерживал уже скептической усмешки, когда Сергей жаловался с раздражением, что телефонные звонки и посещения под сомнительными предлогами не дают ему покоя.

Борисов шагал по проспекту, и ему заранее было муторно от той атмосферы напряженного и вымученного дружелюбия, которую предчувствовал на этом дне рождения. Он усмехнулся даже, представляя себе некоторые лица. Внешне, он знал, все до какого-то момента будет выглядеть радостно, весело, и лишь под конец, когда ударит в голову легкий хмель, в ход пойдут взгляды более отчаянные, чем крики о помощи, более пронизывающие, чем уколы рапир; и от сдержанных слез как-то сразу покраснеют умело оттененные женские глаза, ведь самые едкие слезы — те, которые не пролились.

И тогда, знал Борисов, вдруг станет душно и томительно, захочется тишины и легкого сквозняка проветриваемых комнат, и он посмотрит на своего друга Серегу Грачева и встретит его быстрый, мимолетный взгляд. Вот только и всего — один взгляд за целый вечер, незаметный, быстрый и печальный взгляд среди смеха, шуток, колючего остроумия и подавленных слез. А потом, когда разойдутся гости, будет снесена на кухню грязная посуда и раскрыты все форточки, Грачев и Борисов сядут к низкому столику под покойным светом старой бронзовой лампы с шелковым абажуром и молча разольют по стаканам остатки вина, молча коротко глянут друг на друга и выпьют, опустив глаза. Борисов исподлобья заметит, как ежится Серега под сквозняком, и отодвинет пустой стакан.

— Ну, я подался,— скажет Борисов.

— Давай,— ответит Грачев, и пойдет провожать в переднюю, и там добавит: — Привет Женьке и дочери.

— Ладно,— откликнется Борисов.

А на улице вдруг наступит усталость и пустота, и Борисову так не захочется уезжать с родной Петроградской стороны, спускаться в метро, ждать троллейбуса у Парка Победы, а потом еще долго идти среди скучных, одинаковых сероватых коробок до своего четвертого корпуса...

Борисов уже подходил к дому, пересек по плиточной дорожке маленький скверик перед фасадом и, по привычке взглянув на Серегины окна, шагнул в знакомый запущенный подъезд.

Перед коричневой дерматиновой дверью с перекрестьем медных шляпок гвоздей он помедлил: было еще не поздно вернуться назад. Почти всегда перед этой дверью Борисов испытывал такое чувство колебания. Всегда ему хотелось уйти, не позвонив. И всегда не хотелось уходить, когда он уже попадал в этот дом.

Гнусаво пропел звонок. Борисов развернул букет, скомкал бумагу. Тяжелые головки цветов разошлись веером, и он ощутил их пряный запах.

— Заходи! — Грачев улыбнулся, увидел цветы и закричал: — Мать! Посмотри, какие цветы принес этот [illegible]жон Борисов!

Из кухни вышла Серегина мать. Борисов поцеловал ей руку, отдал цветы, потом протянул руку Грачеву:

— Ну, поздравляю.

— Спасибо, но вообще-то все ерунда. — Грачев хлопнул по его ладони своей. — Пойдем-ка выпьем. Сегодня одни старые друзья почти.

Борисов пошел по узкому от книжных стеллажей коридору. Было сумрачно от корешков книг, витал знакомый аромат старой премудрости — легкий запах сухой пыли и простокваши, так не вязавшийся с шумом и смехом, доносившимися из комнаты.

Он откинул легкую портьеру и шагнул в этот гомон и яркий свет, сразу оглох от приветственных возгласов, поклонился всем сразу и улыбнулся.

На тахте и в креслах сидели люди, кто-то пристроился на ступеньке стремянки у книжных полок.

В этом доме не было обеденного стола, закуску и выпивку расставили на письменном и журнальном столах, на широких подоконниках. Было накурено и жарко.

— Пойдем выпьем,— позвал Сергей.

Они подошли к окну.

— Тебе водки?

Борисов посмотрел на бутылки, столпившиеся на подоконнике, на блюдо с бутербродами и длинные ломтики огурцов, вздохнул и утвердительно кивнул. Пить ему не хотелось.

Как многие непьющие люди, Борисов переносил хмель с напряжением, стараясь все время контролировать слова и движения и с раздражением чувствуя, что они не всегда поддаются контролю. Для него это состояние было тягостным, он замыкался, угрюмел, старался внушить себе, что трезв. Он даже окрестил это «комплексом голого короля»; король ведь чувствует, что он гол, но не верит своим чувствам.

Борисов сжал в кулаке рюмку из толстого стекла и посмотрел на друга:

— Ну, будь здоров.

— Ладно. — Грачев выпил, поморщился, но закусывать не стал. — Подкинь обществу что-нибудь для беседы, а то я уже скис от уморечия.

— Так рано? Вечер еще впереди,— усмехнулся Борисов.

— Тут уж с полудня некоторые... Этот Аморин как сел в кресло, так и не подымался. — Грачев был зол.

— Ну, сходи, побудь у матушки, а я здесь посмотрю. — Борисов повернулся и оглядел людей в комнате.

Почти все здесь были знакомы друг с другом полтора десятка лет. Все учились на одном факультете, потом работали в одном институте. Правда, у Борисова сложилось иначе: после университета он долго работал не по специальности, потерял из виду однокашников и лишь три года назад встретился с ними, поступив в этот институт. И может быть, поэтому он видел, как изменились эти люди. Нет, нельзя было сказать, что они постарели, особенно женщины. Просто отточеннее стали лица и определеннее судьбы.

На тахте сидели Вера и Мара — давние и ревностные поклонницы Сереги Грачева. Они и устроились так, рядком, чтобы удобнее было следить друг за другом и ни одна бы не получила преимущества. Что-то карикатурно одинаковое показалось Борисову в повороте их голов и во взглядах, которыми они проводили выходящего из комнаты Грачева.

«Удивительно,— подумал Борисов улыбаясь.— Умные, образованные бабы, а вот не чувствуют комичности положения. Но хороши... черт возьми!»

Борисов давно перестал обращать внимание на женщин — как-то заела текучка, частые болезни дочери, работа. Но тут вдруг с неожиданной остротой ощутил, как красивы эти молодые женщины, сидящие рядом на тахте. Каждая из них была привлекательна: длинноногая брюнетка Вера с модной проседью в волосах, с пронзительными синими глазами за стеклами очков в тонкой золотой оправе,— серьезный санскритолог; синолог Мара, русская кореянка с удивительно длинными, чуть раскосыми глазами и смуглой персиковой кожей овального лица.

Борисову стало грустно от непричастности к этой красоте, этим улыбкам и молодости; они были ровесниками, но Борисов чувствовал себя старым.

Повернувшись к окну, он налил себе еще рюмку водки, подумал опасливо: «Напьюсь еще, чего доброго» — и почувствовал, что кто-то смотрит ему в затылок. Он обернулся, перехватил пристальный взгляд Шувалова и мгновенно напустил на лицо беззаботную улыбку. Шувалову показывать свое настроение он не хотел.

— Валька, иди к нам,— громко позвал Шувалов.

— Сейчас. Мне хоть немного надо догнать вас.— Борисов чуть приподнял приветственно рюмку и лихо выпил под взглядом Шувалова. Он почувствовал, что водка ударила в голову, достал сигарету, шагнул к тахте и сел рядом с Марой.

— Нас ты не догонишь, мы уже очень ушли вперед,— сказала Вера.

— Ладно, нет ничего невозможного,— ответил Борисов и протянул рюмку Шувалову. Тот взял с журнального столика бутылку и налил.

— Нет ничего невозможного, когда человеку исполнилось тридцать пять,— быстро выпив, повторил Борисов, и озорное веселое чувство охватило его, отдалило от забот и огорчений, оставшихся за порогом этого дома, от навязчивых скачков воображения, от неуверенности.

Кто-то из женщин предложил потанцевать. Стол и кресла отнесли к стенам, и две пары поплыли на свободном куске паркета под какое-то старинное танго, вызвавшее у Борисова неясное беспокойство.

Он прислонился спиной к стеллажу, курил, наблюдая за танцующими. Подошел и стал рядом Сергей.

— Ты в секторе был сегодня? — спросил он.

— Нет, просидел в библиотеке. А что?

— Рецензия пришла на тебя,— сказал Грачев и посмотрел на часы.

— Хорошо танцует Шувалов,— сказал Борисов и подумал: «Рецензия отрицательная, иначе Серега бы так не дергался».

— Да, милый мой, чтобы так танцевать, нужно получить воспитание.— Грачев отошел к двери, выглянул в коридор, вернулся и опять стал рядом.

«Точно, зарезали,— подумал Борисов.— Три года ухнули, и снова ты — у разбитого корыта».

— Рецензия положительная. Есть замечания какие-то, но резюме хорошее.

— Приятно слышать,— сказал Борисов и про себя усмехнулся: «Что, вечный неудачник, испугался? Но чего это Серега дергается? Ждет кого-то еще?»

Борисов хотел спросить, но Сергей отошел, стал разговаривать с Аморимым.

— Что не танцуешь, Валя? — спросил Шувалов, плавно проходя мимо в паре с Верой.

Красное платье Веры и светло-бежевый костюм Шувалова составляли странное и броское сочетание. Медленно кружась, они удалялись, и Борисов отметил спортивную Гришину поджарость, длинные, красивые ноги Веры. Ему тоже захотелось поплыть в этом спокойном старом танго. Он посмотрел на Мару, сидящую на тахте, на Сергея, уже танцующего с матерью, и сделал шаг вперед, но тут раздался громкий гнусавый звонок. Борисов успокаивающе кивнул Грачеву и пошел открывать.

Никто не удивился тому, что он пошел открывать дверь вместо хозяина. И для него самого это было естественным. Он знал всех, кто мог прийти в этот день.

Борисов шел по темному коридору, шел не спеша, как по своей квартире. Здесь он чувствовал себя даже увереннее, чем в собственной квартире. И его считали здесь своим и мать и Серега. Борисов не мог бы вспомнить, как получилось, что он стал здесь не чужим, что подружился с Сергеем Грачевым. Он шел по коридору открывать дверь на поздний звонок и, как хозяин, досадовал на то, что увидит сейчас на пороге какого-нибудь нежданного гостя, упоенного своей бестактностью.

Борисов взялся за прохладную металлическую пуговку замка, помедлил мгновение, прежде чем повернуть ее, и поймал себя на том, что воспринимает возможную неприятность как личную, что не отделяет себя от Грачева, и усмехнулся, держа руку на пуговке замка.

...Дружба их началась со случайной встречи. Борисов помнил эту встречу, и что-то в нем сопротивлялось ее случайности, что-то в его душе не могло примириться с тем, что эта трудная дружба, наполнившая три последних года,— дружба, усложненная множеством недомолвок, порой глухим раздражением, краткими импульсив-

ными откровенностями, мужской жестокостью и настоящим человеческим теплом,— началась со случайной встречи на стоянке такси.

Борисов резко повернул металлическую пуговку замка...

2

Машин не было. Возле Казанского собора стояла плотная, в несколько рядов очередь.

Борисов опаздывал на стадион. Он только что договорился на корреспондентском пункте «Известий», что будет давать ежедневные отчеты о легкоатлетическом матче, который начинался через полчаса.

Борисов миновал очередь и встал в хвост.

Было тепло. В сквере перед собором бил фонтан. Плеск его струй заглушался городскими шумами, но водяная пыль, поднятая легким ветром, радужно играла на солнце.

Борисов впал в уныние. В последние годы любое препятствие, маленькая неурядица портили ему настроение, усиливали чувство неуверенности, с которым он уже свыкся за много лет. Вот и сейчас, на стоянке такси среди спешащих людей, его охватила безнадежная грусть. Он понял, что опоздает к началу матча, не успеет поболтать с коллегами, спортивными журналистами, не узнает кулуарных мнений, которые так нужны для того, чтобы понять происходящее на матче, предвидеть неожиданности. Это означало, что он напишет о первом дне рядовой профессиональный отчет, не блещущий разбором первых неудач и обоснованием неожиданных успехов, не интригующий читателя прогнозами, даже в малой степени не передающий драматизма и напряжения борьбы. А уж кто-кто, а Борисов хорошо знал, что «драматизм и напряжение» — не только пустой газетный штамп. И он знал, что отчет все-таки напечатают,— ребята в «Известиях» держат слово. Но самого Борисова будет тош-

нить от газетной полосы, на которой заверстан его отчет. И он будет комментировать этот матч до конца, но прийти в газету в другой раз с каким-нибудь предложением у него уже не хватит духу. Почему-то ему не везло, обстоятельства всегда складывались против.

Уже давно, вскоре после женитьбы, Борисов опасливо подумал о том, что жизнь не задалась, что он — неудачник. Мысль эта мелькнула смутной тревожной догадкой и пропала, но потом стала являться все чаще, заставляя копаться в себе и выискивать причины неудач. От постоянной самоуглубленности Борисова покинуло обычное чувство юмора, и он стал угрюм и неразговорчив. Жена почувствовала эту перемену, старалась отвлечь его от невеселых мыслей, но наталкивалась на молчаливое раздражение. Потом она как-то вдруг отступилась, замкнулась, и дальше совместная жизнь связывала их только бытовыми делами и заботами о дочери.

Борисов был даже рад, что жена оставила его в покое, не пристает с расспросами о настроении. У него выработалась привычка с холодным любопытством прокручивать свою жизнь в памяти и выискивать критические моменты, когда ему не хватило энергии и настойчивости направить события в нужную сторону.

С грустным удовлетворением он решил, что первопричиной всех его неудач было неуправляемое воображение. Оно подсовывало ему сумбурные и странные видения и расслабляло его. Эти мнимые события съедали энергию Борисова, потому что он был их участником. Он существовал как бы в двух мирах — один был вовне, и там менялись времена года, подрастала дочь, не хватало денег и честолюбия; другой мир — умозрительный и нелогичный, но обессиливающий отрывочностью и похожий на явь. И в обоих этих мирах Борисов ощущал себя лишенным воли объектом, которым управляют непонятные случайности.

Оглядываясь на прожитое, он понял, что в его жизни не было поступков. Он действовал лишь под давлением обстоятельств. Так было с самого детства.

Восьмиклассником стал Борисов ходить в соседний двор, где в цокольных помещениях массивного старого дома располагалась база спортсменов-мотоциклистов. Под тяжелыми арочными сводами циклопической кладки рядами стояли мотоциклы с высокими передними вилками и рубчатыми протекторами колес, лишенных обычных дорожных щитков; вместо фар на мотоциклах были овальные таблички с цифрами. Мотоциклы стояли на подножках, задрав переднее колесо и опираясь на заднее, и от этого были похожи на каких-то доисторических ящеров, изготовившихся к прыжку.

Его не замечали долго. Но с постоянством робкого человека Борисов каждый день приходил в этот гараж и становился на свое обычное место, недалеко от входа, прислонившись к шершавой, оштукатуренной стене.

Насмешливые парни с твердыми, обветренными лицами перебирали блестевшие смазкой внутренности мотоциклов, возились с колесами. Их хрипловатый смех гулко разносился под арочными сводами. А на низких подоконниках валялись красные лаковые шлемы; кожаные куртки с неуклюжими, грубыми заплатами висели на стенах. Притягательной силой и крепостью веяло от всех этих шлемов и курток, от сапог на толстой подошве, которые носили парни, от их обветренных, дерзких лиц и широких почерневших ладоней.

Его заметили только через месяц.

Высокий худощавый парень в ковбойке с закатанными рукавами возился с крайним в ряду мотоциклом, пытался затянуть какой-то болтик на раме, но гайка с другой стороны проворачивалась. Парень поднял глаза на Борисова и сказал небрежно:

— Хлопец, подержи с той стороны ключом на четырнадцать.

Борисов поспешно шагнул от стены, взял ключ, суетясь стал накидывать его на шестигранник гайки, но зев ключа был слишком мал.

— Ну, держишь? — спросил парень. И в его голосе Борисову послышалась нетерпеливая насмешка. Он покраснел, догадался перевернуть ключ другой головкой и застопорил гайку.

Парень затянул болт, выпрямился, сверху вниз посмотрел на Борисова, все еще сидящего на корточках.

— Тебя как зовут?

— Валя.

— А меня — Виктор. Ездить умеешь?

— Нет.

— А матчасть знаешь?

— Нет, вот смотрю.

— Ну, так никогда знать не будешь. — Парень безнадежно махнул рукой. — Это изучать нужно. Магазин на углу Невского и Желябова книжный знаешь?

— Знаю.

— Ну вот, купи там книжку, называется «Современные мотоциклы». И пока не выучишь, не приходи. Понятно?

— Понятно,— тихо ответил Борисов.

— Когда выучишь по книжке, тогда придешь, дам руками пощупать машину. А потом ездить научишься.

Книгу Борисов купил в тот же день. Неделю он барахтался в незнакомых терминах, как барахтается на мелководье не умеющий плавать. Он честно прочел книгу до конца, даже просмотрел список опечаток и снова пришел в гараж.

Виктор сидел на низкой скамейке во дворе, плечи устало опущены, сапоги в грязи; шлем лежал рядом на скамейке.

— Здравствуйте. Вот, я прочел,— робко сказал Борисов, показывая книгу.

— А-а, здоро́во,— слабо кивнул Виктор и опустил голову, его мягкие светлые волосы, зачесанные набок, соскользнули вперед.

Борисов молча стоял перед скамейкой, поглаживая книжный корешок.

Виктор поднял голову, резким движением откинул волосы назад и спросил:

— Прочел? Ну, и думаешь, что уже все знаешь?

Борисов молчал. Он почувствовал, что на эти вопросы не требуется ответа.

— Хочешь быть гонщиком? — продолжал Виктор.

— Да,— кивнул Борисов.

— Надеть шлем и очки, напялить краги и — газу, да? И посыпятся на тебя кубки, медали, слава. А ты будешь весь такой суровый и мужественный, как памятник. Так?

Борисов молчал смущенный.

— Сядь. — Виктор подвинул шлем на скамейке, устало вздохнул. — Не будет. Ничего этого не будет. Другое будет. Вечный насморк, пыль, железо в мазуте, страх, неудачи, травмы. Интересует?

— Да,— неуверенно ответил Борисов. Это действительно было интересно, но он не знал, хочет ли этого для себя. Он сидел на скамейке в старом питерском дворе с темными арками цокольных помещений рядом с непонятным и привлекательным человеком, от которого волнующе пахло пылью, бензином и кожей. Он очень хотел быть похожим на этого человека.

— Ладно, приходи завтра, будем разбирать машину. Сегодня я не в форме. А вообще-то ты зря. Лучше в баскетбол играть. А с этим делом свяжешься, и — конченый человек. Ночами сниться будет. — Виктор встал, прихватил под мышку шлем и, тяжело шагая, направился в гараж.

Борисов увидел, что он хромает.

Той ночью ему снились мотоциклы. Потом они часто грезились наяву, красные, с высокими передними вилками, спортивными рулями и сдвинутыми назад седлами. После школы он ходил в гараж, как на работу. Молча сносил насмешки за неловкость и неухватистость рук.

Весной Виктор закрепил рукоятку дросселя на малый газ и посадил Борисова в седло. Через месяц Борисов уже насмерть отравился холодным, возбуждающим хмелем скорости. Осенью он получил третий разряд — свою первую спортивную квалификацию.

Это, считал Борисов, был единственный поступок, совершенный им по собственной воле, по влечению. Дальше он уже действовал под давлением обстоятельств и мнений людей. Он делал не то, что хотелось, а то, что от него ожидали.

Он довольно быстро охладел к мотоциклу. Прошел первый запал, и выветрилось опьянение скоростью. Того же азартного упорства, которое приходило к гонщикам на дистанции, Борисов не ощущал. Видимо, он был устроен иначе. Все было именно так, как предрекал Виктор: хронический насморк, мазутное железо, страх. Только неудач не было. Борисов выигрывал и не радовался своим победам,— он единственный знал, что эти победы не заслужены. Он не ощущал себя гонщиком.

Но от него уже ждали побед, и Борисов не мог уйти, бросить мотоцикл, прямо сказать, что ему не хочется заниматься спортом. Для этого требовалось мужество большее, чем на дистанции,— таким мужеством Борисов не обладал.

Он приходил на мотобазу по обязанности и, как все, возился со своим мотоциклом, как все, шутил, смеялся, изъяснялся на жаргоне мотоциклистов, и только в воображении он жил желанной жизнью, совершал желанные поступки.

В этой вымышленной жизни не было грохота двига-

телей и холодного, секущего лицо ветра, не было нудящей тревоги, которую испытывал Борисов на трассе. В этой другой жизни его окружали прекрасные женские лица, он плыл в тихом и теплом море, входил в неизвестные светлые города, сочинял радостную музыку, с ликованием одерживал шахматные победы и писал картины, наполненные горячим солнцем. А в действительности были шоссе или грейдер, бежавшие навстречу, лесное бездорожье, угар мотоциклетного выхлопа от передней машины и ветер, секущий шею и лицо.

Так, нехотя, к окончанию школы Борисов стал кандидатом в мастера спорта.

Шел пятьдесят первый год, лавины абитуриентов накрывали приемные комиссии институтов; робкие надежды сменялись отчаянием, день ото дня росло число претендентов на место. Устрашающая молва о коварных вопросах злокозненных экзаменаторов делала зелеными даже лица отличников. Но Борисов не волновался: ему открывались разные пути. Он мог выбирать, потому что спортивные организации нескольких институтов наперебой заманивали его к себе. Эту возможность выбора и гарантированность поступления Борисов воспринял как должное, как награду за постоянство, с которым он занимался мотоспортом. И он подал заявление в университет, на журналистику, привлеченный небудничностью, как ему казалось, этой профессии, лихостью спортивных обозревателей, запросто разговаривающих с тренерами и спортсменами. Но на журналистику был большой конкурс; поступали люди, уже имевшие опыт газетной работы, а вступительные экзамены Борисов сдал более чем скромно. Ему предложили восточный факультет. Тренер университетской команды мотогонщиков успокаивал: «Отучишься первый курс, устроим перевод на журналистику, если не понравится, а сейчас главное, чтобы зачислили». Борисов не стал возражать. Как всегда, он примирился с обстоятельствами. Так он стал заниматься

иранской филологией. Учился с добросовестностью посредственности. К нему снисходительно относились преподаватели. Сокурсники уважали за молчаливую скромность и спортивные успехи. Второкурсником Борисов стал чемпионом универсиады и мастером спорта.

Учеба не очень обременяла Борисова. В перерывах между спортивными сборами он успевал, с грехом пополам, прочесть нужную литературу и конспекты лекций, которыми его снабжали товарищи. Они же помогали Борисову справиться с курсовыми работами, а на сессиях выручала доброта преподавателей. Так прошло три года студенческой жизни Борисова.

Среди студентов уже выделялись Серега Грачев, делавший доклады в студенческом научном обществе, и Рем Бобров, стихи которого читали по радио и печатали в молодежных газетах.

И Борисова вдруг обуяло честолюбие. Оно пришло внезапным острым неудовлетворением собой, своей пассивной подчиненностью планам других людей. Будто спала с глаз туманная пелена, и Борисов увидел себя в беспощадном дневном свете. Жалкой показалась ему прошлая жизнь, в которой он делал всегда не больше того, чего от него ожидали.

Тренеры перед стартом похлопывали по спине и тихо подбадривали: «У тебя всего двое будут перед носом, остальные — на хвосте». И Борисов приходил к финишу третьим. В сессию, встретив его где-нибудь в коридоре, преподаватель говорил: «Лишь бы вы ориентировались в терминологии и знали последовательность основных циклов». И Борисов вытягивал экзамен на «тройку».

Все это стало вдруг невыносимым. Борисов решил переломить судьбу, наладить учебу, бросить наконец мотоцикл, заняться спортивной журналистикой. Но бросить спорт он решил не прежде, чем станет чемпионом страны.

На всех крупных соревнованиях прошлого сезона он

постоянно входил в первую десятку, и не хватало, он это понимал, только желания и азарта, чтобы стать первым. Борисов удвоил тренировки, без конца регулировал и доводил двигатель. Он готовился к осеннему первенству, как к бою. И в то же время успевал писать заметки о соревнованиях картингистов и водно-моторников, гонках за лидером и мотоболе. Молодежные газеты охотно печатали заметки Борисова потому, что в подписи после фамилии значилось «мастер спорта СССР», и еще потому, что в этих заметках, свободных от традиционных словесных фигур, которыми грешили журналисты, было достоверное знание спорта изнутри.

Эти маленькие заметки давали чувство удовлетворения, приносили уверенность, и Борисов готовился к главной самопроверке. Были все условия для того, чтобы выиграть осеннее первенство и сразу достичь двух целей: утвердить себя в собственном мнении и достойно уйти из спорта.

В день соревнований Борисов даже не волновался, какая-то тихая пустота была внутри. Волновался тренер. Он кругами ходил возле мотоцикла и время от времени тихо говорил, не глядя в лицо Борисову: «Соберись, Валя. Спокойнее».

Перед стартом, когда Борисов уже сидел в седле, тренер наклонился и крикнул, стараясь перекрыть шум двигателей: «Бойся Соколова и эстонца!» Борисов только усмехнулся в ответ. Тренер не знал, что сегодня последний старт Борисова и бояться нужно эстонцу и всем остальным, даже Виктору Соколову, тому самому Виктору, который шесть лет назад посадил Борисова в седло мотоцикла.

Он увидел, вернее, мигом раньше почувствовал отмашку флажком стартера и дал газ. И все потонуло в реве двигателя и упругой волне ветра, бросившейся навстречу. Борисов напряг корпус и шею и рассек эту волну головой. И сразу в нем стала расти и шириться

тихая трассовая пустота. Она росла до тех пор, пока не заполнила его целиком, пока в нем не осталось ни одной мысли, ни одного ощущения, кроме чувства собственного тела, спаянного с машиной, и глаз, которые ощупывали каждый метр впереди, и лишь колени привычно слушали яростное дыхание мотора.

Борисов даже не смотрел на номера гонщиков, которых обгонял, они не существовали для него как соперники. Где-то впереди были лидеры, стартовавшие раньше него, и он стремился достать их.

Трасса была трудной после дождей, прошедших накануне, и машину нужно было держать и держать, но сегодня у Борисова получалось все. И холодный азарт гонки влился в него чуть ли не в первый раз за всю его спортивную жизнь. И когда в заболоченном овраге он обошел эстонского гонщика, то не испытал радости — воспринял это как должное. Он с легкостью брал крутые подъемы, перелетал ямы и спускался с откосов, он ни разу не забуксовал в мокрых и вязких грунтах. Он был спокоен и холоден. И только Соколов интересовал его из идущих впереди, но Борисов знал, что настигнет его.

Когда кончилась пересеченная лесная трасса и под колесами запел грейдер, Борисов настиг Соколова. Несколько поворотов они шли колесо в колесо, но на крутом зигзаге дороги Борисов, не снижая скорости, вписался в поворот и ушел. Соколов, Виктор Соколов, его первый учитель и грозный соперник, остался позади. Тогда Борисов понял, что выиграл. И в пустоте внутри сгущалась уверенность, удовлетворение. Он выиграл, выиграл не только первенство; он выиграл самоуважение. Несколько километров и считанные секунды отделяли Борисова от финиша. Впереди была единственная машина, он догнал и ее. По щуплой фигурке узнал Ахмедова из «Спартака» и пожалел его. Сейчас на предпоследнем повороте Ахмедов скинет газ и останется на хвосте, а

он, Борисов, уйдет вперед, потому что сегодня — его день и он может взять любой вираж. И на повороте он даже чуть прибавил газ, на миг они поравнялись с Ахмедовым. Борисов скосил глаз, заметил оскал зубов на худом лице, закрытом очками, и пронесся мимо.

«Метров десять выиграл»,— мелькнуло в мозгу, и он дал предельный газ, но спиной чувствовал, что Ахмедов не отстал. Борисов обернулся, увидел, что Ахмедов висит на колесе, и еще ниже склонился к рулю. Он все равно выигрывал, это не имело значения.

«Есть еще один поворот покруче»,— подумал он и почувствовал, что преследователь отстает. И Борисов сразу же забыл о нем, теперь он видел только сияющее лицо тренера, который подбежит к нему и бросится целовать. Потом Борисов хлебнет прямо из горлышка холодного лимонада, бросит шлем и перчатки и скажет:

— Ну, всё, я откатался.

Он уверенно вошел в последний поворот, видя перед собой эту блаженную минуту, и почувствовал, что вираж не получается, и сбросил газ чуть резче, чем можно...

Неумолимая враждебная сила подхватила машину и швырнула ее вперед по касательной к дуге поворота. Колеса оторвались от земли, и адски взревел двигатель. Борисов успел инстинктивно выкинуться из седла, подальше от мотоцикла, превратившегося в смертоносный снаряд, но сжать, скоординировать свое тело уже не сумел.

Потом была хирургическая клиника, однообразие палатной жизни, двусторонняя пневмония после перелома ребер.

Все это Борисов перенес спокойно, даже с безразличием. Непереносимым было презрение к себе. Он потерпел поражение не только на трассе,— он потерпел поражение в жизни. Что-то, он понимал, угасло в нем навсегда.

Во всем было виновато неуправляемое воображение. Стоило ему тогда, перед последним поворотом, предвосхитить мгновение, чуть раньше прожить его в воображении, и он не дошел.

Борисов без возражений выполнял предписания врачей, глотал лекарства, покорно поворачивался для уколов, равнодушно принимал какое-то особое внимание пухленькой, русоволосой медсестры Жени.

С тем же автоматизмом опустошенности он прожил последующие три года. Отстал от сокурсников, перешел на заочное отделение, зарабатывал статейками о спорте, судейством на соревнованиях. Он старался выглядеть ровным, даже пытался шутить, чтобы поддержать серьезно заболевшую мать, но внутри ощущал сонное равнодушие к жизни, к своей судьбе. И лишь ночами, когда долго не мог заснуть, Борисов начинал все сначала. Воображение рисовало ему трудный, победительный и радостный путь. В этой ночной жизни происходили увлекательные события, и Борисов видел себя другим, даже с иной внешностью — высоким и стройным, с гладкой, туго натянутой кожей на мужественном, красивом лице удачливого человека. Этот человек был совсем не похож на реального Борисова, даже цвет волос был другим. Но Борисов знал, что этот воображаемый красавец и есть он сам, Валентин Борисов, бывший мотогонщик, мастер спорта — неудачник с незаконченным высшим образованием.

Лежа в темноте и тишине, в которых неровное дыхание матери и стук маятника старых стенных часов отмеривали реальное время, Борисов шел через годы другой жизни, увлекательные и наполненные. Эта жизнь не казалась ни легкой, ни разгульной, ни праздничной — она была настоящей. В ней были свершения, упоение, был смысл — главное, что рождает желание жить. Борисов злился на себя за сумбур воображения. Он понимал, что эти нездоровые фантазии приносят вред, пара-

лизуют волю, как всякие несбыточные мечты. Но видения были сильнее его воли, они развертывались по ночам, все новые и новые, и Борисов с болезненным наслаждением погружался в них.

А по утрам действительность ждала его, как надоевший старый костюм с залоснившимися локтями и обтрепанными кромками рукавов. Он писал диплом, бегал по редакциям, просиживал вечера в Публичной библиотеке. Он был одинок, но это не тяготило его,— наоборот, среди энергичных, веселых людей он начинал тосковать, становился резок и угрюм.

Только с Женей Борисову было спокойно. Эта маленькая полная девушка-медсестра неожиданно вошла в его жизнь.

Борисов забыл о Жене, выписавшись из клиники, как чаще всего забывают люди о тех, кто помог им выздороветь. Он даже не пошел через месяц после выписки на осмотр, назначенный хирургом, потому что чувствовал себя хорошо. И вот тогда появилась Женя.

Она пришла вечером.

Весь день падал сырой снег, и от ее козьей шубки пахло мокрым мехом и свежестью, щеки горели.

Женя, укоризненно глядя Борисову в глаза, сказала:

— Хотя бы из благодарности к врачу пришли, если считаете, что в осмотре не нуждаетесь.

Борисов невольно улыбнулся, глядя на ее лицо и с удовольствием вдыхая этот запах мокрого меха и свежести.

— Завтра же приду. Действительно нехорошо,— сказал он.

— В какое время? — строго спросила Женя.

— Ну, где-то в середине дня.

— Вы скажите точно. Я спущусь в вестибюль и скажу, чтобы вас пропустили; теперь у нас строго с пропусками.

— В два часа — устроит?

— Буду ждать вас внизу. До свидания. — Женя повернулась, чтобы уйти.

— Ну, нет,— сказал Борисов неожиданно для себя,— без чаю не уйдете.

— Спасибо, но...

— Никаких возражений! Я вам возражал в больнице? — Борисов протянул руки и сказал повелительно: — Давайте вашу шубу.

Он ввел Женю в комнату и сказал матери:

— Вот эта девушка выходила меня. Если бы не она, быть мне кривобоким и хромым.

За столом Женя смущалась, односложно отвечала на вопросы матери, и щеки ее разгорелись еще ярче. Борисова забавляло ее смущение, осторожность, с которой она помешивала ложечкой в чашке, чтобы — не дай бог — не звякнула. И в то же время Борисов поймал себя на том, что как-то по-другому видит эту знакомую всю жизнь комнату. Старая люстра рассеивала желтоватый свет трех матовых плафонов; пузатый чайник розового потускневшего фарфора был похож на смешного поросенка. И вообще, что-то новое появилось во всей обстановке, которую Борисов давно перестал замечать... Он вдруг подумал о том, что давно уже здесь не бывало гостей. Мать, выйдя на пенсию, прихварывала и с трудом вела нехитрое хозяйство, и Борисов остерегался приглашать шумных, любящих поесть мотогонщиков, хотя со многими сохранил приятельские отношения; университетские же товарищи как-то отдалились за время болезни.

От этих мыслей Борисов помрачнел, вдруг почувствовал досаду на девушку за ее неожиданный приход. И уже не слушал, о чем говорит с ней мать. Воображение своевольным поворотом, как вышедший из повиновения мотоцикл, швырнуло его вперед по касательной к дуге поворота; колеса оторвались от земли и адски взревел двигатель, вдруг лишившийся нагрузки. Но на этот раз

Борисов не выкинулся из седла инстинктивным движением. Он приник к мотоциклу, непостижимым образом выровнял его и приземлил на коричневый грейдер дороги, и машина понесла его дальше под пение колес, свист ветра и ровное таканье двигателя. Он несся один; на прямом, чуть выпуклом грейдере лежали солнечные пятна, они казались желтыми лужами. Не было никого впереди, никого — позади. Борисов ехал один по этой плавной, спокойной дороге и знал, что скоро кончится просека и он увидит зеленые поля и за ними — ровный, как лезвие, горизонт. И было то упоение движением и скоростью, которого он не испытывал никогда. Борисов даже пригнулся над столом, как над рулем машины.

— Валя, ты проводишь Женечку? — вернул его к действительности голос матери.

Борисов встал, церемонно наклонил голову, отчасти для того, чтобы скрыть лицо.

— Нет, нет, спасибо,— запротестовала Женя. — Мне близко и еще нужно в магазин.

В коридоре он подал ей сырую шубку и снова вдохнул запах мокрого меха.

— До завтра,— улыбнулась она Борисову.

В комнате мать встретила его пристальным взглядом.

— Вот станет она врачом, и цены ей не будет,— тихо и медленно сказала она, и Борисову почудилась печаль в ее голосе.

«Цены не будет... А сколько он стóит, человек? — подумал он. — Ну не я, положим, а кто-то. Сколько стоит человек? Столько, сколько он может? Сколько же тогда стою я? Мы сами назначаем себе цену тем, что на что-то решаемся или к чему-то стремимся...»

Они стали встречаться.

Борисов относился к Жене снисходительно, думал, что она испытывает состояние легкой влюбленности, естественное в двадцатилетнем возрасте. А себя он считал усталым, умудренным жизнью человеком. Он отно-

сился к Жене с бережностью старшего; доставляло грустное удовольствие думать, что он оберегает эту не защищенную в своей доброте и наивности девушку, которую так легко, казалось ему, обмануть суесловием. Он даже пускался при ней в намеренно циничные рассуждения о жизни, чтобы привить критический взгляд. Женя умела слушать, и Борисов при ней становился другим, более уверенным в себе. Он забывал свои поражения, потому что Женя не знала о них. И, хотя он не признавался себе в этом, ему льстило внимание этой симпатичной девушки. А когда состояние матери ухудшилось, Женя незаметно стала в доме просто необходимой. Она ухаживала за матерью, делала уколы, бегала в магазин. Борисов почти всегда заставал Женю, когда возвращался домой. Он понимал, что девушка делает много незаметной, неблагодарной домашней работы, и сердился на себя, на мать. Ему казалось, что, играя на Женином добросердечии и простоте, они с матерью эксплуатируют девушку. Борисову иногда мнилось, что в отношениях с Женей он руководился каким-то неосознанным, но точным расчетом. Эта мысль приводила его в бешенство, и, провожая Женю домой, он иногда взрывался, стараясь поссориться и прекратить отношения.

— Зачем тебе это? Нравится быть домработницей? Неужели на свете нет интересных парней? Или ты христианка с ханжескими наклонностями? Что это, гордыня наоборот? — Он презирал себя за эти вопросы, за аффектацию, с которой бросал их. А Женя молчала, опираясь на его руку. Она всегда молчала. Об это молчание разбивалось раздражение Борисова. А мать просила: «Валя, женись на ней, и мне будет спокойно. Сделай это, пока я жива».

Мать не дождалась женитьбы Борисова. Лишь через несколько месяцев, замученный пустотой комнаты, он спросил у Жени:

— Пойдешь за меня замуж?

Она молча кивнула и опустила лицо.

— Смотри, будет трудно.

— Знаю,— тихо сказала Женя.

Но сначала семейная жизнь сложилась легко и даже счастливо.

Борисов окончил университет, получил свободный диплом и всерьез занялся журналистикой. Теперь ему поручали писать очерки не только о спорте, и не только газеты печатали его материалы. Толстые журналы время от времени помещали его статьи о музеях и выставках, о прикладном искусстве и строительстве. Борисов стал прилично зарабатывать, и в семье появился достаток. Женя была неизменно ровной и тихой. Она чуть похудела, и прежняя ее миловидность полноватой двадцатилетней девушки вдруг обернулась зрелой женской красотой. И Борисов часто ловил себя на том, что испытывает безотчетную радость, когда, возвратившись домой, застает жену над конспектами или хлопочущей по хозяйству. У них родилась дочь. Женя окончила институт и стала работать врачом. Все шло хорошо, и, казалось, ничто не предвещало отчуждения. Но какая-то тоскливая неудовлетворенность исподволь точила Борисова.

Ему уже не нравились свои статьи; на смену лихости и порыву неофита пришла искушенность, и сразу открылись сложности профессии. Теперь уже невозможно было сесть за стол и, не терзаясь сомнениями, за вечер написать очерк. Мысли, которые Борисов пытался занести на бумагу, ускользали в мешанине тусклых, беспомощных слов. То, что казалось значительным, ярким, на бумаге теряло смысл, превращалось в словесную труху. Борисов приходил в отчаяние, рвал написанное. Только небольшие информационные заметки приносили скудный заработок.

Борисов не чувствовал себя журналистом, как раньше не чувствовал себя мотогонщиком. Интересная рабо-

та превратилась в серую поденщину со случайными гонорарами, в беготню по редакциям.

Женя с молчаливым упорством тянула семью. Борисов за все годы не услышал от нее ни слова упрека и от этого еще острее ощущал свою беспомощность и никчемность. И временами глухое раздражение вскипало в нем против жены за ее стоическое молчание, за ее упорство. У него лишь хватало сил на то, чтобы не выказать этого раздражения.

Горечь от сознания незадавшейся жизни сделала Борисова угрюмым и нелюдимым...

Машин не было.

Он понуро стоял в хвосте очереди и чувствовал себя усталым, словно все годы неудач и ошибок выстроились вслед за ним. Он не рассчитывал даже на маленькое случайное везение и не спрашивал пассажиров, садившихся в редко подходившие такси, не по пути ли с ним.

Бил фонтан в сквере перед собором, радужно играла на солнце водяная пыль. Шумный перекресток относил и приносил волны машин, кипел пестрым потоком прохожих. Но все это не имело отношения к нему, Борисову. Он равнодушно смотрел, как садятся в такси счастливчики, уже заранее смирившись с тем, что опоздает.

Кто-то глянул ему в лицо пристальным взглядом, кто-то из начала очереди. Он почувствовал этот взгляд и равнодушно опустил голову. Но ощущение не прошло, и Борисов посмотрел в начало очереди, увидел худощавое лицо с чуть выступающими скулами и сразу узнал Грачева, товарища по университету. Сергей помахал ему рукой. Борисов подошел.

— Здравствуй, Валя, тысячу лет тебя не видал.

Борисов пожал узкую руку:

— Здравствуй.

— Куда едешь?

— Да вот, надо на стадион Ленина.

— Поедем вместе. Я у стадиона тебя высажу, а сам двину по Большому.

Уже в машине Грачев спросил:

— Ну как, не тянет тебя иранистика?

— Да как тебе сказать, я ведь только в принципе знаю, что это такое. Одну статейку как-то написал о сасанидском металле — помнишь, выставка была в Эрмитаже? — и то не напечатали. Тянули, тянули, пока выставка не закрылась, а потом уже что печатать.

— Выставка была интересная.

— Вот мне тоже показалось. Ну а потом я как-то сгоряча переделал статейку в такой очерк научно-популярный, но так никуда и не пристроил... Там уж ударился и в историю, и в филологию.

— Показал бы.

— Да ну, тебе ли читать такие дилетантские штуки.

Машина плавно шла по свежеасфальтированной набережной, казавшейся праздничной от высоких окон старинных особняков.

— Ты женат? — спросил вдруг Грачев.

— Да, дочь. А ты?

— Все как-то не выбрать время,— усмехнулся Грачев.

Усмешка эта показалась Борисову грустной. Он сказал:

— А иначе не добился бы ничего.

— Кто его знает,— опять грустно усмехнулся Грачев.

Они уже въехали на новый Тучков мост.

— Ты бы зашел как-нибудь, Валя. Я действительно буду рад тебя видеть. Запиши телефон и адрес. Да, статейку покажи, обязательно.

Борисов почему-то долго помнил эту встречу. В коротком, бессвязном разговоре все чудилась ему какая-то теплота и помнилась еще грустная усмешка Грачева.

Борисов позвонил через месяц.

Был прохладный светлый вечер. После дня бесплодной и потому мучительной работы над статьей Борисов чувствовал себя опустошенным и особенно одиноким. Женя с дочерью были на даче, и ничего не удерживало его в непривычно тихой комнате. Борисов предупредил на всякий случай соседку-пенсионерку, чтобы не закрывала входную дверь на крюк, и вышел из дому.

Было пустовато по-летнему на Кировском проспекте; истомленное дневным солнцем небо выцвело и стало белесым, но балтийский ветер уже просквозил и очистил проспект от дневных запахов. Медленно проходили с задумчивыми лицами молодые пары, ярко и влажно блестели огни светофоров на перекрестках, бесшумно и быстро проносились легковые машины. А Борисова что-то томило, хотелось поглубже вдохнуть прохладный балтийский ветер, но глубокого, облегчающего вздоха не получалось, и что-то теснило в груди. Ему вдруг остро захотелось общения, какой-то интересной беседы, может быть, выпивки, хотя он никогда не испытывал к ней тяги. Он медленно шел по проспекту, и грезился ему чей-то уютный дом, внимательные глаза и тихий смех.

Он достал записную книжку и отыскал телефон Грачева.

— Заходи, Валя. Просто прекрасно будет, если ты зайдешь.

— Ты не занят?

— Нет, нет, абсолютно ничем не занят.

— Ладно, тогда зайду,— сказал Борисов.

— Ты из дому звонишь?

— Да,— почему-то соврал Борисов.

— Вот, захвати свою статейку.

— Хорошо. — Борисов повесил трубку, вышел из будки автомата и с удивлением подумал: «Не забыл про статью-то».

Он быстро вернулся домой, взял уже пожелтевшие листки. По пути к Грачеву зашел в магазин. Денег

у него было немного, но он купил бутылку хорошего коньяка.

— Ну, дорогой мой, это пижонство — пить такой коньяк,— сказал Грачев с улыбкой, когда Борисов поставил на крытый стеклом журнальный столик бутылку.

— Да я вообще-то не пью,— смутился Борисов.— Так, сегодня что-то захотелось.

— Как у тебя семья? Здоровы?

— Да, все в порядке. Отправил их на дачу неделю назад. Вот позвонил тебе...

— Очень хорошо сделал. Садись, я сейчас, потихоньку от матушки, рюмки приволоку. Посмотри вот. Не так давно нашли манускрипт в стамбульском музее. Рыцарский роман — тринадцатый век. Парижский центр уже издал альбом миниатюр.— Грачев вышел.

Борисов взял со стола тяжелый альбом в целлофанированном переплете с лиловыми арабесками, открыл, и сразу у него пресеклось дыхание.

По затейливым восточным орнаментам летели кони цвета киновари с золотыми копытами, желтые кони с бирюзовыми копытами, и прямые мечи висели на бедрах у всадников. Полиграфия была превосходной; отчетливо передавалась даже фактура старого пожелтевшего пергамента. Что-то чуждое глазу, привычному к европейскому искусству, было в этих изображениях; чуждое и волнующее своей обобщенностью. Все, что могло бы определить положение всадников во времени и пространстве, было опущено: ни одного штриха случайного, несущественного, индивидуального. Это был канон, прошедший через тысячелетия и очищенный ими. Жесты и позы людей были стилизованы до предела,— казалось, будь они живыми, всадники так и не переменили бы поз за семь столетий, протекших с той поры. Художник не старался остановить ускользающее мгновение, запечатлеть свое виденье, ощущение света. Он стремился к какому-то абсолютному символу, освобождаясь от всего случайного

и преходящего. И застывшие алые кони так и летели через века, и всадники были светлолики и вечны, как храбрость.

Под одной миниатюрой Борисов с трудом, спотыкаясь на каждом диакритическом значке, прочел двустишие, путаясь в архаизмах, перевел с грехом пополам: «Светом озарилось поле битвы, когда откинула Гюльшах покрывало со своего лица».

Он в волнении склонился над листами альбома, но уже не видел ни летящих всадников, ни консонантного письма, обрамлявшего миниатюры; он остро завидовал Грачеву жалкой, грустной завистью. Эти полки книг, сплошь покрывающие стены, оттиск статьи на французском языке, присланный составителем альбома лично Грачеву, праздничность целиком поглощающего труда — все это представлялось Борисову счастьем.

— Ну как, проникся? — Грачев, улыбаясь, поставил на стол рюмки. — Знаешь, в этом есть какая-то магия. У меня руки дрожать начинают, когда я смотрю эти картинки. — Он сел на тахту напротив Борисова, поправил абажур на высокой бронзовой лампе.

— Да... Но это уже поздняя арабская традиция. — Борисов закрыл и отодвинул альбом.

— Кто его знает, тут так просто не скажешь. Вот паренек,— Грачев похлопал ладонью по оттиску статьи,— доказывает, что это темы именно иранской литературы. Вообще очень любопытный ученый, правда, скандальчики любит. Ему обязательно нужно обозвать дураками всех стариков.

Борисов не ответил, откупорил коньяк.

— Ну давай,— сказал Грачев, подвигая рюмки.

Грачев рассказывал о бывших сокурсниках, кто где работает, о заграничных поездках.

Уютно было беседовать под светом старой лампы. Тускло мерцало золото на книжных корешках. Мягкое кресло удобно облекало тело. И Борисов, высвободив-

шись из своей обычной замкнутости, говорил о себе, рассказывал спортивные новости. У него возникло чувство, будто бы они с Грачевым были дружны все эти годы.

Он смотрел на тонкое лицо с выступающими скулами, на остро торчащий кадык на худой шее Грачева и испытывал давно забытую мальчишескую влюбленность в товарища.

А когда Сергей, застенчиво улыбнувшись, как бы извиняясь за свою слабость, спросил:

— А не сыграть ли нам в благородную игру шатрандж? — и достал с полки коробку с шахматами, Борисов был уже другим человеком, веселым, общительным и чуть озорным.

— Неудобно обыгрывать хозяина,— сказал он.

— Ух ты! Ну-ка давай расставляй,— в тон ответил Грачев.

Борисов любил шахматы и когда-то неплохо играл. Он с удовольствием ощутил в руках тяжесть фигур из хорошего дерева, для устойчивости залитых свинцом.

— В такие шахматы и проиграть приятно,— сказал он.

— Ага, уже на попятный,— подзадорил Грачев.— Давай разгадаем.— Он взял белую и черную пешки в кулаки и спрятал за спину.— Какую?

— Да играй белыми,— улыбнулся Борисов; он знал, что выиграет, у него уже появилось предчувствие, что сегодня ему будет удаваться все.

И правда, сами собой получались красивые комбинации, эффектные жертвы фигур. Грачев защищался изобретательно и цепко, но ничего не мог поделать с натиском Борисова. Они сыграли три партии, и Сергей сказал:

— Как-то даже скучно с тобой играть. Никакой надежды, а без нее человек не может. В любой игре должна быть надежда на выигрыш, иначе игра теряет смысл.

Опять какая-то затаенная грусть послышалась Борисову в его словах. Он стал собираться домой... Грачев не удерживал, только сказал:

— Ты заходи, Валя. Всегда рад буду, а статью прочту и позвоню.

— Да чего там читать: болтовня.

— Ну, поглядим. Всего хорошего.

Домой Борисов вернулся в добром настроении и еще до полуночи закончил упиравшуюся статью.

Грачев позвонил через несколько дней:

— Валя, ты бы зашел. Я прочел твою статью, интересно, но это долгий разговор.

— Ну, если только попозже, Сергей. — Борисов только что вернулся со стадиона и после дня, проведенного на жаре, чувствовал себя усталым и грязным, и еще нужно было передать репортаж в газету по телефону.

— Давай позже. Я целый вечер буду дома.

После душа усталость прошла, и Борисов пришел к Сергею в хорошем настроении.

Грачев же, наоборот, выглядел усталым: лицо посерело, осунулось и от этого казалось еще у́же.

— Ты плохо выглядишь,— заметил Борисов.

— Да что-то второй день желудок болит,— неохотно ответил Грачев.

— А что у тебя?

— Язва, говорят. Да черт с ней, пройдет. Садись. Ты уж извини, я прилягу.

— Слушай, Серега, может, тебе вообще полежать молча, а я приду в другой раз? — спросил Борисов сочувственно.

— Нет, дорогой, это как зубная боль, ее заговаривать нужно. А когда один лежишь, совсем плохо. — Грачев слабо улыбнулся. — Да. Вот, прочел твою статью. Знаешь, даже не ожидал, что будет так интересно. У тебя шустрое перо. Я бы уж давно академиком был, если бы умел так излагать.

— Ладно тебе смеяться,— потупился Борисов.

— Честное слово! Все очень точно и занимательно изложено и свежо, даже для меня, профессионала; нет этой занудной терминологии, а все опосредовано простым человеческим языком. Сейчас ведь ученая братия слова в простоте не скажет, даже о выеденном яйце будет на латыни писать. А посмотришь, если отжать терминологическую воду, то там и нет почти ничего.

— Ну что ж, я рад, что тебе понравилось,— сказал Борисов.

— И знаешь, там очень, по-моему, интересная мысль: сопоставление эпиграфики с металлом. Насколько я знаю, она ни у кого так отчетливо не встречалась. И потом, я тебе скажу, это вообще здóрово. Ты же не музейный работник, который годами перебирает эти коллекции... Ну, сколько раз ты был на этой выставке?

— Три, но по полному дню. И потом я еще Смирновским атласом пользовался в Публичке — потрясающее издание.

— И все равно, ты же почти исследование написал о материальной культуре. Ну пусть оно не наукообразно, без ссылок на источники, с бездоказательными утверждениями, но в целом это — интересная работа. — Сергей приподнялся с тахты и потряс листками рукописи.

— Ты и наговорил! Я уже почувствовал себя таким же умным, как Орбели или Якубовский,— отшутился Борисов, но похвала Грачева была приятна.

— Будет кобениться. Теперь практически. Что можно сделать с этим очерком? В «Мысли» в будущем году составляется сборник такой, научно-популярный, о культуре средневекового Востока. Я буду составителем и предложу твой очерк. Конечно, нужно будет другое название, что-нибудь вроде «Ювелиры древнего Ирана». Потом обязательно нужно снять все эти твои рассуждения о податной реформе Нуширвана, об экономике. Нужен очерк об искусстве обработки драгоценных металлов.

Когда ты говоришь об изображениях на монетах и раскрываешь их политическую и идеологическую окраску, это хорошо и интерсно; интересно, когда говоришь об изобразительной традиции. Но когда ты на двух страницах пытаешься рассказать о сложнейших экономических связях и налоговых отношениях, прости меня, это действительно дилетантство. Неспециалист все равно ничего не поймет из этого, а спецы поднимут на смех. И потом, как сказал Козьма Прутков: «Степенность есть надежная пружина в механизме общежития». — Грачев тихо засмеялся.

— Да я ведь писал без адреса, вот и свалил все в одну кучу. Ты прав: дилетантство.

— Ничего. Я этот экземпляр оставлю. Редколлегии можно и так показать, а ты переделаешь потом.

— А кто это будет печатать, да еще в книге? — с сомнением сказал Борисов.

— Посмотрим, гарантии, конечно, нет никакой.

Очерк напечатали. Но к тому времени Борисов уже работал в институте младшим научным сотрудником в том секторе, который возглавлял Сергей Грачев.

Это случилось осенью, через три месяца после встречи на стоянке такси.

В один из приходов Борисова Грачев сказал:

— Слушай, Валя, есть дело к тебе,— и, прищурясь, взглянул в лицо.

— Пожалуйста, если смогу,— с готовностью отозвался Борисов, он был рад чем-нибудь услужить Сергею.

— Думаю, что сможешь. Понимаешь, повисла тема у нас. По-честному, она давно висела, но некого было посадить на нее, у всех работы были на мази. Да и не требовали. А теперь уже тянуть дальше некуда. И единицу специально дали на нее. А тема хорошая, хоть и трудоемкая. Современный Иран, экономика, культура, право. Понимаешь, у нас расширяются торговые и политические взаимоотношения, и такая книга просто не-

обходима. Тема запланирована сверху. Через полтора, максимум два года книгу нужно выдать. Может, возьмешься, а? Не уйдет от тебя журналистика. — Грачев лукаво и ободряюще улыбнулся.

— Да ну,— отмахнулся Борисов,— какой я специалист.

Он даже не принял всерьез предложение Сергея.

— Ты и есть специалист. А как ты себе представляешь, с рогами он, что ли? Ты знаешь язык, это главное, потому что книга должна быть на материале текущей периодики и последних исследований. Ты журналист, что тоже важно. Это должно быть изложено так, чтобы могли читать и юристы, и экономисты, и художники.

— Не получится у меня.

— Почему это не получится? Как раз у тебя и получится. Придется, правда, горы журналов и книг прочесть, но это ведь тоже интересно. А потом, клянусь тебе, на этой книжке можно сделать кандидатскую. Выйдет она, а потом подсократить, поглубже проанализировать, и порядок. Назвать можно так: «Некоторые тенденции развития за последние, скажем, десять лет». Это нужная работа, и после книжки, когда у тебя материал будет обработан, ее можно сделать за год. Подумай. И потом я тебе скажу, постоянная зарплата, пусть не очень большая, лучше любых сумасшедших гонораров.

— А где они, гонорары,— невесело усмехнулся Борисов.

Дома он задумался над предложением Грачева всерьез и даже рассказал о нем жене, хотя давно уже не говорил с ней о своих делах. По равнодушному ответу Жени он понял, что она не верит в то, что он, Борисов, справится с этой работой. И это подтолкнуло. Он вышел в коридор, позвонил Сергею и сказал, что согласен. Так он начал работать в институте.

8

Борисов резко повернул пуговку замка.

На пороге стояла очень молодая женщина в скромном матово-сером костюме и розовой блузке. Борисову показалось, что ее лицо вдруг выступило из сумеречности лестничной площадки и придвинулось близко-близко. И он в растерянности смотрел на это лицо с коричневой крупной родинкой под левой скулой, у самой ямки на щеке, смотрел в синие яркие глаза, в которых одновременно были строгость, недоумение и вопрос. Он стоял, держась за край обитой дерматином двери, и казалось, что это лицо грезится ему в полутьме.

— Можно видеть Сергея Васильевича? — Низкий грудной голос словно упругой волной коснулся лица Борисова.

— Да, да, пожалуйста, проходите. — Борисов суетливо отскочил от двери, освобождая проход.

Она переступила порог, притворила дверь. Борисов протянул руку к ее розовой квадратной сумке.

— Позвольте, я положу.

— Спасибо. Позовите, пожалуйста, Грачева.

Борисов пошел по коридору, оглянулся. Узкий, затемненный книгами проход создавал иллюзию большого расстояния, и в этом далеке светлело лицо, оно жило отдельно от костюма и сумки.

Он вошел в комнату и сразу наткнулся на вопросительный взгляд Сергея. Борисов подождал, пока Грачев, танцующий с Марой, приблизится, и сказал тихо:

— Там тебя спрашивают.

Грачев кивнул, извинился перед партнершей и вышел. Борисов хотел пойти следом, но Мара положила ему руки на плечи, и он стал танцевать.

— А кто пришел?

— Не знаю,— ответил Борисов, видя, как Марины глаза закосили от любопытства.

Рядом проплыло внимательное лицо Шувалова.

«У всех ушки на макушке,— подумал Борисов. — Но кто же это, кто?»

Пластинка кончилась, все сразу заговорили, принялись усаживаться, зазвенели рюмки, забулькало в горлышках бутылок.

Борисов взял свою рюмку, пригубил, выжидательно посмотрел на дверь. Он чувствовал, что эта женщина сейчас войдет.

Легкая портьера дрогнула, и опять ему показалось, что в комнату вошло только это светлое лицо в окружении красно-коричневых фламандских теней.

— Это Таня,— громко, стараясь перекрыть разноголосицу, сказал Грачев и повел ее по комнате, называя имена присутствующих.

Борисов стоял у окна. Грачев и Таня подошли к нему, обойдя всех.

— Мой друг, Валя Борисов.

Борисов склонил голову, пожал тонкую, не по-женски твердую руку. Он почему-то боялся смотреть ей в лицо и ждал, пока Сергей уведет ее, не поднимая головы.

— Так, надо выпить. Сейчас найду тебе чистую посудину. — Грачев отошел.

— Вы действительно друзья?

Борисов снова ощутил прикосновение волн этого голоса к лицу, поднял голову и встретил строгий вопросительный взгляд. Синева его была холодной и глубокой.

— Мы вместе работаем,— тихо ответил он.

— У него, по-моему, не может быть друзей.

— Почему? — спросил Борисов, с удивлением чувствуя, что сказанное этой женщиной задело его.

— Разве нужны друзья тому, кто полностью счастлив? Он не нуждается ни в помощи, ни в сочувствии, ни в деньгах. — Опять она холодно, строго посмотрела на Борисова. — У такого человека все — приятели, но друзей нет. — Она отрицательно покачала головой.

— Не знаю, я как-то не размышлял об этом специально,— сказал Борисов и подумал: «Любопытно, но эта женщина, кажется, тоже влюблена в Серегу».

Грачев подошел с большим синим бокалом.

— Вот, никакой другой посуды не осталось. Но это даже хорошо,— он улыбнулся своей грустной улыбкой,— потому что ты опоздала и надо наверстать. Держи.

Таня взяла бокал, взвесила в руке, сказала:

— Я не принесла тебе ничего.

— А ничего и не нужно.

— Потому и не принесла, что не нужно. Какая радость дарить человеку, которому наплевать на все подарки.

— Вот именно. — Грачев налил ей вина.

Борисову стало неловко слушать этот разговор, он хотел отойти, но тут балетной побежкой приблизился разрумянившийся Шувалов, шаркнул ногой и поклонился:

— Таня, разрешите вас...

Она отдала бокал Борисову и пошла танцевать.

— Вот так нужно ухаживать за женщинами, дорогой. А мы уже безнадежны в этом отношении, и давай выпьем по этому поводу,— сказал Грачев.

— Давай,— отозвался Борисов; ему очень хотелось спросить, кто такая эта женщина, но он чувствовал, что спрашивать не надо.

Грачев налил, и они молча выпили.

— Там тебе по замечаниям совсем небольшая работа. Кое-где чисто механические сокращения, и отчетливее сделать выводы,— сказал Грачев.

— А я думал, что зарезали. — Борисов поставил рюмку на подоконник.

— Увереннее надо быть, Валя. Вспомни, говорил же я тебе три года назад в этой самой комнате, что будет книжка и будет диссертация. И видишь, книжка вышла, неплохая книжка, а к осени и защитишься. — Сергей

хлопнул его по плечу. — Теперь, дорогой, нужно о докторской думать.

— Да брось ты.

— А что? Нужно думать, так, исподволь выискивать себе тему. Вот ты помешан на Сасанидах, и думай.

— С чего ты взял? — с досадой спросил Борисов, он тщательно скрывал свое увлечение даже от Грачева.

— Да как ни придешь в библиотеку посмотреть новинки, так все, что об этом периоде, уже у тебя. А ты не смущайся. Вот с такого бзика и начинается ученый.

— Может быть.

Кружились, покачиваясь, пары на свободном куске паркета. Томилась белая ночь за окнами.

Борисову вдруг стало холодно в душной, накуренной комнате...

...Сын ромейского патрикия Анастасий Спонтэсцил шагом ехал по насыпи канала.

Безлюден был Ктезифон в этот поздний закатный час. Только плескалась рыба в канале, да в кронах деревьев, устраиваясь на ночлег, возились птицы. Где-то тихо заржала лошадь, и кобыла Анастасия ответила ей призывным ржанием.

Молодой ромей свернул в узкую улицу. Ползучие розы перехлестывали через глинобитные заборы своими колючими плетями, душный запах дурманил голову.

Тревога охватила всадника, и лошадь испуганно замотала головой, громко всхрапнула, рванулась вперед, но Анастасий Спонтэсцил привычной рукой подобрал поводья.

Все тянулись мрачные, глухие заборы по обеим сторонам улицы, и узкий дынный ломоть луны висел над серыми оливами справа от всадника. И сердце томительно сжималось от бесконечности улицы.

Спонтэсцил знал, что в конце этих заборов будет еще канал. Он переедет его вброд и за пустырем, на

другом берегу, увидит стены дасткарта младшего Бавендида — Азада. Там его, ромейского воина, ждут.

Спонтэсцил проехал улицу. В сумраке маячили стволы шелковиц вдоль канала. Кобыла осторожно спустилась с насыпи, и передние ее копыта ступили в воду.

«Священной считают воду персы»,— подумал Спонтэсцил. «Странный народ»,— усмехнулся он, но грудь стеснило предчувствием опасности.

Лошадь вошла в воду по брюхо, остановилась и, пофыркивая, стала пить.

Анастасий не тревожил ее, смотрел на отражение похожего на дынный ломоть месяца в канале и прислушивался к темноте на том берегу.

Лошадь напилась и пошла вперед, с тихим плеском рассекая воду. Спонтэсцил выпростал ноги из стремян и подобрал в седло. Железные поножи, надетые поверх кожаных ромейских сапог, были влажными.

Лошадь поскребла передними копытами по склизкой глине и, оступившись раз, выбралась на берег.

Прямоугольный пустырь был тщательно выглажен и посыпан белым евфратским песком.

Здесь Бавендид Азад играет в свою игру: персы гоняют мяч кривыми палками... Спонтэсцил не успел додумать.

Что-то хрустнуло за деревьями, окаймляющими пустырь. Спонтэсцил услышал, как коротко пропела тетива лука и в тот же миг вжикнула стрела. Он сломался и обвис в седле. Прянула в ужасе лошадь, и левая нога молодого воина потеряла стремя. Из-за деревьев наперерез лошади выбежали трое. Медные пластинки на их кожаных панцирях тускло поблескивали под ущербной луной.

Кобыла, увидев людей, остановилась, жалобно заржала. Тело молодого ромея безжизненно свесилось с седла.

Люди приблизились к лошади.

— Готов,— сказал один, и лошадь вздрогнула от гортанного говора.

Вдруг Анастасий Спонтэсцил вскинулся в седло, и над его головой дважды взлетел короткий ромейский меч. Два тела в кожаных панцирях с глухим звуком упали на белый песок. Третьего Спонтэсцил догнал и сбил лошадью.

Человек перекувырнулся через голову, неловко суча ногами и оставляя темные борозды на белом песке, торопливо пытался встать, но Анастасий прыгнул с седла ему на грудь и приставил к горлу острие меча.

— Кто? Кто тебя послал? — выкрикнул Анастасий.

Человек молчал, его большие, темные, навыкате глаза печально и покорно блестели в слабом свете луны.

— Кто тебя послал, раб? — повторил Анастасий свой вопрос по-арамейски.

Человек пошевелил толстыми губами, но изо рта его вырвалась только икота. Он лежал и судорожно икал, обнажив крупные, желтые зубы. Спонтэсцил с отвращением отвернулся и нажал на рукоять меча. Потом вытер лезвие об одежду убитого, хотел идти к лошади, но заметил у горла, рядом со струйкой крови, темный крест. Стараясь не перепачкать руку, Спонтэсцил рванул его со шнурка, поднес к глазам; это был деревянный монофизитский крест.

«Этот раб — армянин. Значит, царица Ширин». — Спонтэсцил усмехнулся и подошел к лошади. Теперь он знал, что дорога свободна. Шагом тронулся он вдоль стены дасткарта Азада — младшего Бавендида.

Узкий, похожий на дынный ломоть месяц все так же плыл в вышине за правым плечом всадника...

Где-то на заднем плане сознания еще извивалось, сучило ногами черное тело на белом песке, еще плыла узкая луна и не угас глухой стук копыт по мягкой

горячей земле, но Борисов ясно и остро увидел всю комнату, позы и лица и снова нацеленный в него, вопрошающий и строгий, взгляд Тани. И словно волна подхватила его на свой высокий гребень и понесла, оставив позади молчаливую застенчивость. Пружинистым шагом византийского патрикия он шагнул от окна к тахте, сел и включился в веселый разговор. Он сам немного удивился этому фейерверку остроумия. Одна за другой шли смешные и трогательные истории о спортсменах-неудачниках, которые неожиданно выигрывали соревнования и становились чемпионами. В этих историях спорт представал веселым и легким, без терпкого запаха пота, без выматывающего волнения, без горького привкуса неудач. Там золушки всегда становились принцессами и сбывались самые несбыточные мечты.

Борисов умолк, все снова пошли танцевать. Подошел Сергей и сказал:

— Ну, Валя, спасибо. Всех покорил. У тебя прямо талант, хоть на эстраду. — Он помолчал и спросил тихо, и было видно, что он стесняется своего вопроса:

— А что, на самом деле это все было?

Борисов только улыбнулся в ответ. Он не мог сказать «да», но не хотел говорить «нет». Он сам не знал, где правда и где ложь в его историях: там перепуталось желаемое и возможное.

— Ну что — наврал все? — смеясь спросил Сергей.

— Нет, все так, как должно быть,— решительно ответил Борисов.

Кружились, покачиваясь, пары под музыку, полную шорохов старых, заезженных пластинок. В красно-коричневых бархатных бликах плыло перед глазами Борисова странное женское лицо с темной родинкой под левой скулой и вопрошающими синими глазами. Борисову казалось, что ничего не существует вокруг, кроме этого лица.

И вдруг в разом наступившей тишине это лицо при-

близилось так, что Борисов четко увидел темные крапинки на переливчатой синеве глаз.

— Почему вы ни разу не пригласили меня танцевать? — спросила она.

— Потому же, почему вы не принесли подарка Сергею,— сказал Борисов и отвернулся: в этих глазах был какой-то невыносимый вопрос, и он не знал на него ответа.

— А если вы ошибаетесь? Может так быть?

— Может. Я вообще часто ошибаюсь,— ответил Борисов.

— Вам представляется случай исправить одну из ошибок. — Она улыбнулась, и лицо потеплело, лукаво, призывно блеснули глаза.

Борисов шагнул вперед и обхватил ее за талию. И ее лицо стало еще ближе. А красно-коричневые блики отгородили от всего, что было вокруг, и в тесном маленьком мирке остались только хриплая музыка и волнующая гибкость талии под ладонью. А лицо ее вдруг надвинулось совсем и скрылось. Перед глазами Борисова мелькнула витая прядка светлых волос, и что-то обожгло ему щеку. Он со страхом понял, что это ее висок, горячий и пушистый от волос, приник к его щеке.

Он теснее прижал ее к себе и почувствовал, что нечем дышать. А щеку все жгло и жгло прикосновением ее виска.

— Валя, милый,— шептала она,— ну зачем вы здесь? Ведь вы не отсюда, я знаю. Зачем вы рассказывали им эти ваши истории? Чтобы они веселились, чтобы смеялись над тем, как исполняется несбыточная мечта? Валя, милый вы человек.

Борисов молчал, машинально делая шаги, повороты. Он не был уверен в том, что этот горячий шепот не мерещится ему.

Пластинка кончилась, и рассеялись красно-коричневые призрачные завесы.

Борисов выпустил Таню из объятий, испуганно оглянулся вокруг. Она взяла его за руку и подвела к амбразуре окна, подальше от всех.

— Налейте мне чего-нибудь,— попросила она.

Борисов нашел ее высокий синий бокал, налил вина и заметил, что движения его легки и размашисты. Он поднес Тане бокал в вытянутой руке и усмехнулся про себя: «Разгулялся, что вор на ярмарке».

— А вы? — спросила она, принимая бокал.

— Я выпью с вами, хотя уже, кажется, пьян. Мне даже чушь какая-то мерещится,— сказал Борисов и налил себе.

— Вам никогда не мерещится чушь, поймите. Вы видите только правду. — Она дотронулась до его руки.

— А я в этом не уверен,— сказал Борисов с принужденной улыбкой, но внутри он был полон необъяснимого, беспричинного ликования.

— Вот это и плохо. — Она протянула бокал, и они чокнулись.

Борисов выпил залпом. Таня пригубила, поставила бокал на подоконник и вдруг тем же шепотом стала читать:

Щипцы для орехов сказали соседям —
Блестящим и тонким щипцам для конфет:
«Когда ж, наконец, мы кататься поедем,
Покинув наш тесный и душный буфет?

. . . . . .

И мы бы могли гарцевать по дороге,
Хоть нам не случалось еще до сих пор.
У нас так отлично устроены ноги,
Что можем мы ездить без седел и шпор».

Музыка с трудом пробивалась сквозь шорохи старых пластинок. Тихо позванивали рюмки. Кто-то смеялся: выкрикивали чье-то имя. Но все это было отдаленным и случайным фоном, на котором она горячим заговор-

щицким шепотом читала странные и чем-то волнующие стихи:

И вот, нарушая в буфете порядок,
Сквозь щелку пролезли щипцы-беглецы.
И двух верховых, самых быстрых лошадок
Они через двор провели под уздцы.

Борисов смотрел, как шевелятся полные розовые губы и мерцают глаза.

И вот по дороге спокойно и смело,
Со щелканьем четким промчались верхом
Щипцы для орехов на лошади белой,
Щипцы для конфет на коне вороном.
Промчались по улице в облаке пыли,
Потом через площадь, потом — через сад...
И только одно по пути говорили:
«Прощайте! Мы вряд ли вернемся назад!»
И долго еще отдаленное эхо
До нас доносило последний привет
Веселых и звонких щипцов для орехов,
Блестящих и тонких щипцов для конфет *.

Таня умолкла, взяла свой бокал из синего стекла, снова пригубила. Борисов молчал, волнение наполняло его — веселое, молодое волнение от предвкушения жизни, которая еще вся впереди, с подвигами, постижениями, с будущими любовями и борьбой.

— Спасибо вам, Таня,— сказал он, взял ее руку и поцеловал.

— Ой, спасите! Опять этот ваш Шувалов идет сюда. Пошли танцевать.— Она повлекла Борисова к середине комнаты.

И снова ее горячий шепот обжег ему щеку:

— Валя, милый, давайте сбежим отсюда. Тихонько, незаметно сбежим. Никто не хватится нас. Валя, милый.

---

* Эд. Лир. Прогулка верхом. Перевод С. Маршака.

Теперь Борисов был уверен, что этот шепот не мерещится ему.

— Щипцы для орехов, щипцы для конфет покинут свой тесный, постылый буфет,— сказал он улыбаясь.

И шагом, крадущимся и неверным, они преодолели пространство комнаты, казавшейся огромной, и лица, обращенные к ним, мнились вспышками прожекторов, нащупывающих беглецов.

Когда Таня вышла в коридор, Борисов, взявшись за косяк, оглянулся. Все были увлечены разговором. И только два глаза, внимательно-удивленные и чуть насмешливые, на мгновение сосредоточились на лице Борисова и сразу же скрылись под темными, тяжелыми веками, и лицо Шувалова, лицо с крупными, четко проработанными чертами, повернулось к Борисову в профиль и застыло с закрытыми глазами, напоминая античную гемму.

Борисов откинул портьеру и нырнул в сумрачный коридор. И в последний момент почувствовал тот же внимательный, удивленный и чуть насмешливый взгляд Шувалова.

Таня была уже у выходной двери, и Борисов устремился за ней с бьющимся сердцем. Когда он вышел на площадку, Таня уже спустилась на один марш. И в том, что она спускалась, не дожидаясь его, Борисов почувствовал какую-то неловкость: может быть, она жалела о том, что уходит? Борисов не спешил, стараясь сохранить это расстояние в один лестничный марш.

Пахло помоями от пищевых бачков, стены площадок были исцарапаны детскими каракулями, и ступени казались неимоверно крутыми, так что холодок детского забытого испуга вдруг засквозил в груди,— так бывало когда-то при взгляде в пролет с последнего этажа. И не проходила неловкость от насмешливого взгляда Шувалова...

4

Был чей-то юбилейный вечер, и в зале с декором пышного барокко, где свет огромной люстры отражался в золоченых капителях колонн и лепнине — институт занимал старинный особняк екатерининского вельможи,— Борисов впервые наткнулся на этот взгляд.

Он всего полгода работал тогда в институте, почти никого не знал, кроме тех, с кем вместе учился.

И вот, через ряды белых эмалевых кресел, обитых гобеленом, на него смотрел человек с крупными, четко проработанными чертами лица, под светом люстры казавшегося бронзовым. Борисову стало неуютно под этим внимательно-удивленным, чуть насмешливым взглядом, но он не отвернулся, пока глаза не скрылись под тяжелыми, темными веками; и все время, пока шла торжественная часть, пока старые и молодые ученые произносили юбилейные речи, Борисова не покидало чувство неудобства от этого взгляда.

Еще не угасли аплодисменты, а Борисов уже поднялся, боком, стараясь не задевать коленей сидящих, пробрался через неширокий проход и вышел в фойе, тоже пышно декорированное, с высокими дверями наборного дерева и фисташковым кессонированным потолком. Он остановился у медной урны на львиных когтистых лапах и закурил.

Поток хорошо одетых людей с тихим, приличным гомоном поплыл через фойе к дверям буфета. Борисов смотрел, как медленно движутся черные костюмы, академические шелковые ермолки, цветные джерси, узкие интеллигентные бородки и элегантные прически женщин.

Борисов смотрел на медленный людской поток и курил, пока его не окликнул Грачев.

— Валя, пойдем выпьем кофе. Там наши заняли столик.

Борисов бросил окурок в сияющее, начищенное дно урны, и они с Грачевым влились в поток людей.

Буфет помещался в бывшей столовой особняка с большим очагом, облицованным мясным агатом, с перекрещенными балками потолка из черного дуба, с которых на толстых черных цепях свисали массивные плошки темной меди. В плошки вместо свечей теперь были вделаны люминесцентные лампы, и холодный магниевый свет высвечивал натюрморты по стенам, бледнил лица людей, придавал им зеленоватый оттенок.

Столик прятался за огромным черным роялем. Кира и Вера хозяйничали, расставляя чашки. Мара тихо наигрывала что-то. Борисов прислушался, узнал мелодию из «Шербурских зонтиков». Звучал смех, позванивала посуда.

Борисов сел к столу, и его охватило теплое чувство от этой тихой музыки, негромкого смеха, красивых женских лиц. Маленькие смуглые руки Мары порхали по желтоватым клавишам старого рояля, так и тянуло покачиваться в такт медленной мелодии. Впервые Борисов почувствовал себя не чужим среди этих людей в старинной столовой.

— Тебе сахару два или три куска?— спросила Вера, пододвигая ему чашку, и это довершило ощущение уюта и общности.

— Два, Верочка.

Борисов медленно помешивал крепкий, душистый кофе и отдавался этому чувству теплоты и общности.

В щель между шторами была видна заснеженная набережная и огни на Дворцовом мосту. От бронзовой решетки, огораживающей радиаторы отопления, волнами шло легкое тепло.

Борисову захотелось говорить, чтобы эти люди слушали его, говорить им что-то веселое и дружественное, чтобы они испытали то же чувство, что испытал он.

— Ай-я-яй, кофе без коньяка! Непорядок, Сергей Васильевич, это необходимо исправить. Распорядитесь, как глава сектора, чтобы дамы пили коньяк.— Голос был богат оттенками, хорошо поставлен, в нем чувствовалась артистическая дикция.

Борисов поднял голову и увидел лицо с крупными, четко проработанными чертами. Глаза были полуприкрыты темными, тяжелыми веками, сухие, твердые губы не разжимались, хотя это бронзовое лицо улыбалось.

— Давайте, Гриша, присаживайтесь. Вы со всеми знакомы?— спросил Грачев.

— Нет, вот с вами, мы кажется, встречались, но...— Он поклонился.

— Это Валя Борисов, наш младший научный сотрудник,— сказал Грачев.— А это Гриша Шувалов — наш новый менеэс. Садитесь.

Шувалов снова наклонил голову, движением фокусника вынул из-за спины пузатую бутылку коньяка со сфинксом на этикетке и поставил посередине стола.

Он сел рядом с Борисовым и, глядя на него своим удивленно-пристальным взглядом, сказал тихо:

— А я вас сразу узнал, вы ведь кроссмен.

— Бывший,— ответил Борисов.

— Да, да. Я помню. Когда-то тоже увлекался. Мотоцикл был свой, но пойти в секцию не решился.— Он ловко распечатал бутылку и стал наливать женщинам.

— Не жалейте, что кости целы,— сказал Борисов; парень этот начинал ему нравиться.

— Мне очень приятно, что мы встретились здесь. Признаться, я не думал, что спортсмен такого класса может быть кем-нибудь еще.— Шувалов подвинул ему рюмку.

— Ну, за исполнение желаний,— сказала Кира, подняв рюмку.

— Может, и мы доживем до семидесятипятилетних юбилеев?— тихо спросил Шувалов.

— Закалка не та и темперамент, но нужно постараться, конечно,— улыбнулся Борисов.

— А вы думаете, во времена, ну, скажем, Смирнова не было этого пресловутого стресса и всяких других неудобных вещей?— доверительно спросил Шувалов.

— Не знаю. Но, кажется, у них запас жизнелюбия был побольше,— ответил Борисов.

— Знаете, Валя, мне случалось видеть многих старых ученых. У них тоже все было не без трудностей, но, характерная черта, они верили в свою удачу, потому что верили в изначальную рациональность мироустройства. Наивно, конечно, но, знаете, как иногда бывает в медицине, народное средство вернее, чем современный препарат.

Шувалов сделал маленький глоток коньяка, отпил кофе.

Борисов достал сигареты, предложил ему.

— Спасибо, не курю.

— Завидую.— Борисов затянулся, выпустил дым.— Старики верили в удачу, потому что верили в себя.

— А как же, конечно. Знаете, ни в коем случае нельзя думать про себя, что ты неудачник,— хоть в малой степени,— только наоборот. Такие мысли излучают какие-то флюиды, и окружающие моментально это чувствуют. А люди всегда инстинктивно сторонятся неудачников.— Лицо Шувалова было оживленным, но глаза смотрели пристально, испытующе.

«Как про меня, будто он внутрь заглянул»,— подумал Борисов и вслух сказал:

— Но есть же, предположим, такие люди, которые не делят так события, а просто воспринимают жизнь как единый процесс.

— Да, но это объективно ничего не меняет. У победы много родственников, поражение всегда — сирота.

— Гриша, расскажите лучше о дипломатической службе. Наверное, это интересно,— сказал Грачев.

— Я всего лишь переводчик. Дипломат — это, знаете, мышление какими-то иными категориями. А в основном все по протоколу. Бывают иногда забавные случаи, но это исключения... Извините, я на минутку. — Он быстро встал и направился через зал к кому-то в ермолке.

— Что это за парень?— спросил Борисов Грачева.

— Сын Гавриила Шувалова, внук Григория. Пять поколений историков-востоковедов за этим пареньком,— странно усмехнулся Грачев.— Его реферат предложили сунуть в план как будущую работу.

— А я как раз хотел его спросить, не из тех ли он Шуваловых,— улыбаясь сказал Борисов.

— Великолепные манеры. Сразу видно, что дипломат,— медленно, чуть мечтательно произнесла Вера.

— Он, по-моему, стесняется немного здесь,— сказал Борисов.— Сразу ударился в какие-то мудрствования.

— Не думаю, ничего он не стесняется. Он сюда ходил к отцу и деду еще в коротких штанах и знает всех и вся.

Борисов посмотрел в ту сторону, куда отошел Шувалов. Тот что-то говорил, подкрепляя слова свободными, красивыми жестами рук, лицо с крупными чертами казалось бронзовым. Ермолка радостно смеялась и кивала в ответ.

— Дед у него действительно был корифеем,— тихо, будто про себя, сказал Грачев.

Борисов все смотрел на это бронзовое лицо с четким профилем, на поджарую, стройную фигуру и думал: «Хорош парень, никакого надрыва в нем нет. Из него бы и гонщик вышел первоклассный».

Шувалов понравился всем. Через месяц он стал популярной личностью в институте. Особенно среди женщин, которых покорил прекрасными манерами и галант-

ностью. И Борисову он нравился все больше и больше. Восхищала открытая жизнерадостная напористость Шувалова. Борисов удивлялся его непринужденности. Шувалов где-нибудь в гостиной Дома ученых мог подойти к убеленному сединой член-корру, представиться по всем правилам хорошего тона и тут же попросить, чтобы почтенный ученый прочел какую-нибудь часть его работы и сообщил свои замечания. И Шувалову не отказывали. Конечно, тут имело значение то, что многие когда-то были знакомы с отцом и дедом Шувалова, но и личное обаяние Гриши играло немаловажную роль. Он толково и с непременным артистическим блеском выступал на секторских и расширенных обсуждениях, и в институте о нем составилось мнение как об умном, эрудированном оппоненте. Его почти сразу же стали приглашать на встречи с иностранными учеными, посещавшими институт. И это всеми было воспринято как закономерность: Шувалов свободно говорил по-английски, был знаком с дипломатическими тонкостями, молод, симпатичен, а кроме того, как бы представлял славную династию историков-востоковедов, хорошо известную в научном мире. Не прошло и полугода, как Шувалов стал членом всяческих общественных комиссий, выступал перед студентами в университетском научном обществе с лекциями о современном Иране, который знал по личным впечатлениям.

Успех сопутствовал этому парню везде. И Борисову доставляло удовольствие наблюдать за Гришей, находиться с ним в одной компании. Ему казалось, что он тоже становится напористым, удачливым, упоенным жизнью и молодым, как Шувалов. Даже некоторые модные увлечения Гриши не вызывали у Борисова раздражения, воспринимались как милое мальчишество.

Многие пожилые ученые держали собак. Существовало мнение, что собака, с ее потребностью в регулярных прогулках, помогает сохранить здоровье; прогули-

вая собаку, хозяин волей-неволей сам дышит свежим воздухом и разминает спину, закостеневшую от постоянного сидения за столом.

Гриша Шувалов тоже завел себе симпатичного маленького терьера с лохматой угольно-черной шерстью и веселым нравом. И теперь в буфете, в гостиных Дома ученых можно было слышать, как Гриша рекомендовал, разговаривая с почтенными стариками, собачьих парикмахеров, докторов, рассуждал о методах воспитания щенков.

Гриша не курил, но среди маститых ученых многие курили трубки, и он тоже завел себе прямую, строгую трубку, говорящую о некоторой солидной консервативности вкусов владельца. К крупным, чеканным чертам лица его очень шла эта темная трубка. Он держал ее во рту пустой, и в разговоре открывались крупные, хорошие зубы.

Борисов не простил бы другому такого снобизма, но Гриша не выглядел смешным или глупым, наоборот, смотреть на него было приятно. Приятно было видеть, как он рад своей собачке и трубке, какое искреннее и в то же время пристойное удовольствие доставляет ему это следование моде.

— Человек на своем месте. Он подготовлен к этой жизни с детства всем воспитанием, психикой. Если хочешь, генетически подготовлен,— сказал как-то Грачев.

— Скажи, а работа будет интересной?— спросил Борисов. Он не читал то, что писал Шувалов; как-то стеснялся попросить.

— Прекрасное знание материала и очень высокая культура изложения. Понимаешь, я, в отличие от тебя, не максималист. Ты считаешь, что нужно обязательно новое слово.

— Да брось ты,— запротестовал смущенно Борисов.

Они с Сергеем по обыкновению сидели за шахматами вечером.

— Да знаю же я, что ты так думаешь. Но это новое слово — редко, и его подготавливают работы, которые как-то суммируют материал, отсекают балластную информацию.— Грачев усмехнулся грустно.— Это, понимаешь, как бы удобрение почвы. Потом на этом перегное вырастет новое слово. Его, конечно, скажет человек талантливый, но никакой талант не сможет ничего без этих вот наших работок. А в принципе мы занимаемся, конечно, пересказом прочитанных книг.

Старая бронзовая лампа давала уютный свет. Приятно ощущалась в руке тяжесть залитой свинцом шахматной фигуры, а Борисову стало тоскливо тогда. Он подумал, что сказанное Грачевым больше всего относится к нему. И если Сергей сказал «мы», то это только от строгости к себе.

— У тебя кладбищенский оптимизм,— заметил Борисов.

— Да все нормально, Валя. Поверь. И никого не надо хоронить. Тот же Гриша Шувалов — способный же парень — когда-нибудь может так взвиться. Ну, это первая его работа. Будет вторая, пятая, десятая,— все это количественное накопление, а потом вдруг — качественный скачок. Так вот, дорогой,— Грачев поправил фигуру на доске,— давай-ка ходи. Сейчас я тебя ущучу.

Борисов небрежным движением сделал ход, закурил и сказал улыбаясь:

— Качественный скачок, как ты говоришь, произойдет, если хватит времени после количественного накопления.

— А как же, конечно, нужно время. Вот почему все зубры,— он показал рукой на корешки книг,— жили долго. А потом в нашем деле нужны не только способности и знания, а еще и жизненный опыт. Если ни черта не понимаешь в людях, то где уж понять все другое.

— Ну ладно,— согласился Борисов.— А все-таки интересно, что выдаст Гриша Шувалов.

Не только Борисов, все сотрудники института с интересом ждали защиты Шувалова.

И то ли так велик был интерес к работе, то ли сработала шуваловская удачливость, но защита состоялась раньше срока. Заболел чей-то руководитель, кто-то задержался, а Гришина работа была готова, были и публикации. Казалось, даже случайные обстоятельства оборачивались на пользу этому человеку. И Борисов искренне радовался за него, хотя некоторое время спустя понял, что случайность здесь была внешней,— по крайней мере, случай был выверен и хорошо направлен. И то, что раньше в поступках Гриши Шувалова выглядело милым мальчишеством — все эти разговоры с маститыми стариками о собачках и трубках, увлечение покером, подношения старых фотографий, на которых Шувалов-дед или Шувалов-отец на каком-нибудь давнем конгрессе сидели рядом с молодым тогда ученым, нынешним член-корром,— показалось целенаправленным.

Борисов любил думать о людях, доискиваться до скрытых причин их поступков. Это стало привычкой с тех пор, как он впервые задумался о собственной жизни. Он всегда примерял на себя поступки людей. Это помогало понять себя, это иногда открывало людей в новом свете.

Перед защитой Шувалова Борисов вскользь сказал Грачеву:

— А знаешь, в этой, в общем-то приятной, светскости, по-моему, есть четкая руководящая идея.

Грачев задумчиво улыбнулся, потом пристально посмотрел на Борисова:

— Засек, Валя. Я тоже об этом думал, но одергивал себя. Казалось, что завидую этой фееричности. Мне ведь пришлось не так легко, как Грише.

— При чем здесь зависть? Меня это интересует чисто феноменологически,— сказал Борисов и, почувствовав легкую досаду от слов друга, подумал: «А может, все-таки зависть, только Серега честнее?»

— Черт его знает, я не верю в осмысленный расчет,— медленно, словно размышляя вслух, сказал Грачев.— Скорее, это неосознанная ориентация. Ну вот как перелетные птицы. Они же не знают навигации, но всегда находят дорогу. Словом, это первая сигнальная, чувственный, неосознанный расчет.

— Ну да,— усмехнулся Борисов,— чувственный расчет. Такое бывает с хорошенькими девушками на выданье. Если перед ней дилемма: полюбить бедного и красивого или некрасивого, но богатого, то она обязательно полюбит богатого; подчеркиваю: полюбит, и самым искренним образом. Это такой уж неосознанный, чувственный расчет.

Грачев рассмеялся:

— Ну, Валя, тебе бы психологией следовало заниматься. Ты бы выродил что-нибудь вроде юнговых архетипов. Но, пожалуй, ты прав,— механизм там такой. Это запрограммированность личности на успех. Отсюда и направленность даже самых инстинктивных поступков. Это и есть руководящая идея.

— Что-то мне не мило это. Жаль,— сказал Борисов.

— Ничего, все нормально. Я считаю, что это от торопливости, потом пройдет.

Защита Шувалова собрала много народу.

Борисов прочел работу накануне. Его прежде всего поразил литературный блеск. Изложено было свободно, с тонким, уместным остроумием, с привлечением мифологических примеров и латинских изречений, говоривших о большой культуре автора. И по содержанию работа выглядела внушительно: Шувалов давал обзор внешнеполитических актов за последнюю четверть века, находил аналогии с политикой других стран и периодов.

Борисов незаметно увлекся и читал эту работу как художественное произведение. Ему доставляло удовольствие подмечать необычную, чуть пижонскую стилистику, намеренное щегольство архаичными оборотами, которые вдруг выглядели свежо и привлекали внимание читателя. Был какой-то странный ритм в плавных, отделанных фразах. Работа читалась легко, автор словно чувствовал, где нужен абзац, чтобы читатель успел сделать вдох. Это выглядело, как виртуозная вокальная партия, где после трудных пассажей исполнителю дается необходимая пауза.

Борисов кончил чтение поздно вечером. Еще долго сидел за столом, возвращаясь к отдельным местам работы, и вдруг с удивлением понял, что это скорее популярная книжка, чем серьезный труд. Работа действовала лишь на чувства своими словесными фигурами, она привлекала изложением малоизвестных восточных мифов, звоном классической латыни.

Но с кафедры актового зала института все это выглядело более привлекательно.

Хорошо поставленный, богатый оттенками голос Шувалова, усиленный превосходной акустикой старинного зала, держал всех в странном напряжении. Не было слышно ни шепота, ни покашливания, обычно сопутствующих скучным защитам.

Борисов даже позабыл о своем вчерашнем ощущении, захваченный шуваловским артистизмом.

Защита прошла триумфально. И после все завертелось с удвоенной скоростью... В течение двух лет вышли в разных издательствах популярные книжки Шувалова: «Заря цивилизации в Средней Азии», «Воинский доспех с древнейших времен до средневековья». В институте об этих книжках Шувалов умалчивал.

Борисов набрел на одну из них случайно в станционном киоске, когда ездил на дачу. Знакомая фамилия на обложке привлекла его, и он купил мягкую книжку-

брошюру молодежного издательства. Книжка называлась забавно: «Легендарный Вавилон». Борисов прочел ее за несколько часов, усмехаясь серьезности рассуждений автора о «корыстолюбии, алчности, расчетливом эгоизме и жестокости» древних вавилонян. Изложенные в современных понятиях черты бытовой жизни Вавилона казались юмористическими. С видимым удовольствием автор писал о неверности вавилонских жен и упадке нравственности, о «вавилонской секретной службе» и «сыщиках». Но изложено это было увлекательно, автор рассуждал, нигде не нарушая формальной логики, с каким-то озорством выдвигая абсурдные гипотезы о столпотворении и придавая им наукообразность.

Читать было занятно и весело.

«Не мог Гришка этого написать,— подумал Борисов,— слишком легковесно все... А уж что ему несвойственно, так это глупости».

Он посмотрел выходные данные в конце книги. Имя и отчество совпадали; кроме того, еще стояло: «кандидат исторических наук».

Борисов поинтересовался в библиотеке, нет ли еще книг, написанных Шуваловым. Тогда и выплыли эти книги о заре цивилизации и воинском доспехе. Они упрощенно, но занимательно пересказывали работы специалистов и, пожалуй, были нужны и полезны, потому что знакомили читателя с малоизвестными вещами. Но Борисова удивило, что одна из книг имела гриф: «По рекомендации ученого совета института».

Борисов показал книжки Грачеву.

— Да, интересно,— задумчиво протянул Сергей, листая толстенькие брошюры с пестрыми обложками.

— Ты тоже не знал? — с удивлением спросил Борисов.

— А откуда я мог знать?— раздраженно ответил Грачев.

— Ну, я думал, ученый совет принимает решение...

как-то там голосуют за рекомендацию,— осторожно, боясь обидеть Сергея, проговорил Борисов.

— Да ну, будет совет заниматься этой дребеденью. Наверное, он показал рукопись двум каким-нибудь старикам, папиным бывшим приятелям, те и написали отзыв, может быть, и очень хвалебный,— люди-то увлекающиеся, а это, насколько я понимаю, написано не без блеска. Ну а что еще надо молодежному издательству, когда отзыв подписан двумя членами совета с именами.

— Но смотри, у нас он помалкивает об этих книжках,— сказал Борисов.

— Ну так эти книжки не сюда направлены. Нужна какая-то известность за пределами института,— усмехнулся Грачев.

— Зачем? Я не думаю, что ради этого. Скорее всего, хотел подзаработать,— задумчиво сказал Борисов.

— Валя, ты совершаешь свою всегдашнюю ошибку,— печально и тихо сказал Грачев.— Я давно заметил, что ты исходишь из того, что приписываешь людям свои качества. Вот нет у тебя честолюбия, ты и о других думаешь так же.

— Что я, младенец, что ли? — смущенно сказал Борисов.— И потом, весьма сомнительная честь быть автором этих книжечек.

— Вот опять ты судишь со своей колокольни.— Сергей опустил голову, замолчал надолго.

Борисов смотрел на его затененное лицо и поблескивающие в свете лампы легкие светлые волосы и молчал.

В последние месяцы они почти все вечера проводили вместе, сражались в шахматы в уютной комнате Сергея или просто разговаривали. Для Борисова уже стало необходимостью такое общение, оно будило мысль, избавляло от одиночества. Но что-то слишком часто они говорили о Грише Шувалове. Почему-то поступки этого

человека вызывали странный интерес у них обоих. Борисову иногда казалось, что он смотрит захватывающий спектакль, в котором Гриша Шувалов играет главную роль. И казалось, как в хорошем спектакле, уже что-то завязалось, уже сплелись причудливо и неповторимо обстоятельства, направляя действие к еще неясному и волнующему своей неясностью финалу.

— Валя, ты судишь со своей колокольни,— повторил Сергей.

— Да нет,— отмахнулся Борисов.— Понятно, что за всей этой деятельностью маячит какая-то цель. Но какая?

— И опять ты не прав. Нет конкретной цели,— твердо сказал Сергей.

— Что же тогда?

— Чего можно ждать от человека необыкновенного или считающего себя таковым?— ответил вопросом Грачев.

— Откуда я знаю,— растерянно сказал Борисов.

— Ты же спортсмен. Что может желать спортсмен?— Грачев поднял голову, с улыбкой взглянул на Борисова.

Борисов молчал, ему был непонятен ход мысли Сергея.

— Восхождения,— с нажимом сказал Грачев.— Тут чисто спортивное отношение к жизни. Гриша и сам не знает, чего он хочет конкретно, но хочет он самого лучшего, самого высшего достижения. А в чем — пока ему неизвестно, да и неважно. Он интуитивно стремится вверх. Это — стремление лидировать в гонке, какой он ощущает жизнь. А вершину, финиш первым увидит тот, кто впереди.

— Да, возможно, ты прав,— задумчиво ответил Борисов.

С тех пор и появился у Борисова пристальный интерес к Шувалову. Иногда его восхищала кипучая энер-

гия и шуваловская удачливость, иногда раздражала и смешила откровенная тяга Гриши к «нужным людям». Где-нибудь в гостиной Дома ученых Гриша мог на полуслове оборвать беседу и устремиться к только что вошедшему академику, чтобы десятком приятных слов «закрепить знакомство». Это делалось с неизменно изящными манерами, так непринужденно, что не очень уж бросалось в глаза окружающим, но Борисов все замечал, и ему становилось почему-то грустно.

Они были довольно близки. Борисов бывал у Шувалова дома, в старой профессорской квартире на набережной Невы.

В анфиладе из четырех комнат высились массивные шкафы красного дерева, заполненные книгами, мерцающими тиснением корешков сквозь зеркальные стекла створок. В кабинете стояло огромное старинное бюро с чеканной накладной бронзой, за которым взросло и состарилось несколько поколений ученых. По стенам висели портреты белобородых, почтенных старцев в шелковых академических ермолках. Чеканные черты лиц сразу выдавали их родство с Шуваловым.

Гриша естественно вписывался в эту обстановку. Она была для него тем же, чем были для портретов его ученых предков полированные рамы из грушевого дерева.

Гриша был веселым и радушным хозяином, но с некоторых пор Борисов стал сторониться его. Что-то внутри сопротивлялось дружескому общению с Шуваловым. Борисову хотелось лишь наблюдать за этим человеком со стороны. Впрочем, Шувалов и не замечал этого охлаждения Борисова. Гриша всегда был занят многочисленными совещаниями, конгрессами, лекциями, приемами гостей, поддержанием знакомств — всей этой суетливой, утомительной деятельностью, необходимой, чтобы быть на виду. Он даже выступал на телевидении в программе «Для вас, любознательные».

Борисова поражали иногда бодрость и энергия Шувалова, неистощимый заряд его остроумия, неуемная потребность нравиться всем. Но все чаще, наблюдая за ним на людях, Борисов ощущал горечь и чувство неловкости.

В последнее время их отношения с Шуваловым неуловимо изменились. Осталась внешняя приятельская короткость, подтрунивание друг над другом, но с некоторых пор Борисов замечал на себе быстрый, настороженный взгляд Шувалова. Казалось, Гришу беспокоило слишком пристальное внимание Борисова.

5

Спускаясь по темноватой, запущенной лестнице, Борисов чувствовал на лопатках влажность рубашки — будто внимательно-настороженный и удивленный взгляд Шувалова прилип к спине. И это заставляло его сдерживать шаг, чтобы сохранить расстояние в один лестничный марш между собой и Таней.

Так и вышли они порознь в сквер перед фасадом.

Ветер нагнал облака, и от этого белая ночь была сумрачной и сизой.

Только на тротуаре, уже миновав дом, они поравнялись. Борисов ощущал неловкость и старался не смотреть ей в лицо. Она шла, задумчиво глядя перед собой, и стук ее каблуков четко раздавался на пустой улице.

Странное чувство недоумения охватило Борисова, будто он позабыл все, что было перед этим; он не знал, зачем очутился на пустой улице рядом с этой женщиной.

«Я, кажется, сильно пьян»,— подумал Борисов, тоскливо и устало вздохнув.

Вдруг она крепко взяла его под руку, прижалась к нему.

— Вы жалеете, что ушли?— шепотом спросила она.

— О чем же жалеть,— тоже шепотом ответил Борисов.

— Вам нужно было уйти,— она возвысила голос,— ведь так невозможно. Невозможно, милый вы человек, быть таким незащищенным. Люди не должны видеть, что у вас под кожей, а кожи нет.

Борисов подумал о том, как они с Грачевым остались бы вдвоем после всех, молча сидели бы за столиком под светом старой лампы и допили бы остатки вина. И потом это молчание обернулось бы болезненным одиночеством на улице, и было бы до слез неохота уезжать с Петроградской стороны. И ему было бы жаль, что Серега не сказал какого-то слова, теплого слова, может быть, даже горького, но такого нужного им обоим. Борисов давно, с какой-то детской верой в чудо ждал этого слова, верил, что оно принесет облегчение, что-то развяжет в них обоих. И не будет у Сергея больше этой печальной усмешки. А он, Борисов, почувствует желанное облегчение, как деревья, сбрасывающие листву по осени, облегченно завершают годовой круг своей жизни.

— Нужно же, чтобы кто-то был рядом. Одному тоже нельзя,— ответил Борисов Тане.

Она сильнее прижалась к нему.

— Но что, что общего у вас с этим Гришей Шуваловым?

— Не знаю. Но порой я завидую его легкости, его вкусу к жизни, что ли.— Борисов помолчал и добавил:— Мне кажется, что жизнь хрупает у него на зубах, как морковка. Вы любили в детстве грызть морковку?— спросил он с усмешкой.

— Боже мой! Мы все любили что-нибудь в детстве. Мы и теперь любим детство. Но жизнь не морковка, которую можно схрумкать. Он как-то омерзительно, непристойно счастлив, этот ваш Шувалов!— Она почти выкрикнула это, и в голосе слышались слезы.

— Разве плохо быть счастливым?

— Плохо, если это такое счастье. Это хрумкающее счастье не оставляет после себя ничего, кроме экскрементов. Тьфу...— Она поморщилась и вдруг громко, отчетливо всхлипнула.

— Таня,— остановился Борисов,— что с вами?

Он взглянул ей в лицо, увидел слезы и отвернулся. Ему стало так горько отчего-то, что он испугался себя. Испугался, что сейчас сам разревется, как ребенок, на этой ночной улице.

А Таня спрашивала требовательно и моляще:

— Ну кому, хоть одной душе, стало теплее от такого счастья?

— Ему тепло, он счастлив. Разве этого мало? Надоели несчастные,— сказал Борисов. А внутри что-то отозвалось такой ноющей болью, что он остановился и закрыл глаза.

Таня погладила его по ссутулившейся спине.

— Валя, голубчик, плохо, да? Пройдет сейчас.

Борисов открыл глаза и сказал, выпрямившись, твердым голосом:

— Прошло. Я, кажется, перепил. Домой нужно. В Купчино.

— Ну куда же в Купчино в таком состоянии. Вы не доберетесь. Трудно сейчас такси ловить.— Она все гладила Борисова по спине и заглядывала в лицо с материнской озабоченностью.— Пойдемте ко мне, голубчик. Я сварю вам кофе покрепче; вы немного отойдете, и по телефону вызовем такси.— Таня снова взяла его под руку и повела по Большому проспекту.

Дул ветер с Малой Невы и гнал облака.

Уже прошла боль внутри, и вместо нее осталась звенящая, тревожная пустота. Борисов подставил лицо ветру, прищурил заслезившиеся глаза. Пустота внутри была холодной и звонкой...

...Всадник повернул к воротам, и узкий, похожий

на дынный ломоть месяц остался за спиной. Бесшумно раскрылись ворота дасткарта, пропуская его. Анастасий Спонтэсцил спешился; чья-то услужливая рука подхватила повод, и, твердо стуча сапогами по каменистому двору, он пошел вслед за согнувшимся, семенящим черным рабом.

Пламя факела в руке раба металось от легкого ветра и воняло земляным маслом, выхватывало из темноты неясные фигуры людей в арках, перекладину на каменных столбах, на которой, окаменев, спали огромные ловчие орлы. Пахло конским потом, пригорелым мясом и сырой ременной сбруей — военным лагерем.

Черный раб ввел его в длинный покой.

Анастасий Спонтэсцил широким шагом пошел впереди к освещенному возвышению с кожаными красными подушками. Ноги утопали в коврах. В боковых нишах по блеску глаз угадывались фигуры рабов. В медных плошках по стенам горели фитили.

Навстречу Анастасию поднялся с возвышения младший Бавендид Азад.

Персидский спахбед был одет по последней моде в облегавшую тело легкую тунику с длинными рукавами и вырезом у ворота, но на ногах были не тяжелые ромейские сапоги, а мягкие гуннские кожаные чулки.

Широкий в плечах, тонкий в талии, младший Бавендид кошачьим неслышным шагом шел по коврам навстречу Спонтэсцилу.

Они остановились в нескольких шагах друг от друга — на «расстоянии уважения».

— Приветствую тебя в Ктезифоне, воин и поэт Анастасий. Спокоен ли был твой путь?— спросил Азад, но звонкие греческие слова выходили у него с рыком, похожим на охотничью песнь барса.

Анастасий Спонтэсцил пристально вгляделся в смуглое лицо Бавендида Азада; насмешка почудилась ему в вопросе спахбеда.

Небольшая курчавая бородка обрамляла квадратный подбородок, делая его шире, черные усы выделяли ярко-красные твердые губы; по обе стороны крупного, хищного носа в глубоких глазницах мерцали маленькие темные глаза и сросшиеся брови нависали над ними...

Нет, персидский военачальник не думал смеяться.

— Благодарю тебя, славный Азад,— по-персидски, как того требовала вежливость, ответил Спонтэсцил.— Дорога к другу кажется вдвое короче.

Бавендид Азад отступил в сторону, жестом пригласил Анастасия на возвышение. Анастасий склонил голову в знак благодарности, расстегнул фибулу — золоченую застежку плаща, и руки раба услужливо приняли тяжелый от пыли плащ молодого ромейского воина. Анастасий опустился на край возвышения, и раб снял с него поножи, ловко стащил сапоги и надел мягкие гуннские чулки.

Они сели друг против друга на подушках, подогнув ноги.

После целого дня, проведенного в седле, Анастасию хотелось лечь навзничь, вытянуть ноющие ноги, распрямить спину, но нужно было соблюсти этикет. Персы, как все варвары, очень строги в этом деле.

Азад чуть повернул голову, посмотрел в проем, завешенный ковром, и сразу появился раб со скатертью и чашами, за ним другой с узкогорлым кувшином вина и блюдом с фруктами, лепешками и сладостями.

Анастасий не удержался от судорожного пустого глотка. Но нужно было не спешить, и не только ради приличий: у персов сначала подают сладости и фрукты, а потом мясо и белую болотную пшеницу, сваренную в жиру с ароматическими кореньями. Ромейский воин отвел глаза от скатерти.

Бавендид наполнил чаши, протянул одну Анастасию.

— Хайом,— коротко рыкнул он.

Анастасий Спонтэсцил взял тяжелую, прочеканенную звериными мордами чашу и залпом выпил прохладное, сластящее и чуть отдающее мускусом вино, и почти сразу у него закружилась голова.

«Варвары не разбавляют вино в отличие от ромеев, а вкус такого вина становится лучше от трети воды»,— подумал Спонтэсцил и потянулся к блюду. Он знал, что горсть глазированного медом миндаля не даст захмелеть.

Когда он поставил чашу на узорчатую скатерть, младший Бавендид спросил:

— Какие вести привез наш ромейский друг? Здоров ли брат царя царей, кейсар Рума Маврикий?— Слова перса звучали вкрадчиво, даже голос был мягким и приглушенным.

Спонтэсцил бросил на него быстрый взгляд исподлобья.

Глаза Бавендида Азада сузились в щелки, на лице, кроме вежливой официальной улыбки, нельзя было прочесть ничего. Но Спонтэсцил знал, что́ хочет услышать персидский спахбед. О распрях синих и зеленых, о набегах аваров и славян, о смуте в армии. И до Эраншахра дошел слух, что непрочен трон императора Маврикия; а царь царей Хосрой только и ждет момента, чтобы вторгнуться в пределы Рума и отнять у ромеев их азиатские города и колонии, как это сделал его дед Ануширван.

Дальновидный арийский спахбед хочет знать все это для того, чтобы вернее интриговать при дворе шаханшаха. Младший Бавендид давно мечтает о возрождении былого могущества и славы своего рода. И сомнения терзают его: верно ли он выбрал союзников, не закатится ли звезда Мириам-ромейки, светлолицей жены царя царей, не ошибся ли он, Азад, не пора ли менять игру?

Все это знал Анастасий Спонтэсцил. Знал, что две жены шаханшаха смертельно враждуют и стараются привлечь на свою сторону побольше знатных персов. Армеянка Ширин и ромейка Мириам незримо стоят за троном шаханшаха Хосроя, как истинно верующие и еретики стоят по обе стороны святого креста. И еще врач и мудрец Гавриил Шигарский плетет свои интриги, смещает епископов в Эраншахре. Шепчут даже, что царь царей под его влиянием тайно принял христианство. Непрочно положение знатных в Эраншахре, христиане прибирают к рукам важные должности в государстве. И в этой мутной воде пытается выловить свою рыбку Азад, младший Бавендид. Но все это мало интересует его, сына ромейского патрикия Анастасия Спонтэсцила, и он не станет рассказывать Азаду о потасовках прасинов и венетов, о продажных демархах и прочем. Его даже не интересует, что написано в том пергаменте с печатью желтого воска, хотя из-за этого пергамента охотились на него рабы царицы Ширин у самых стен дасткарта. Он, Анастасий Спонтэсцил, взялся доставить этот пергамент, но у него свои цели. За этот пергамент Азад, при посредстве царицы Мириам, представит его эрандиперпату — главе писцов и хранителю библиотеки персидского государства. Анастасий Спонтэсцил хочет не очень много: должность хранителя книг, которую дают придворным поэтам в Эраншахре.

Спонтэсцил снова посмотрел на перса и сказал тихо:

— Здоров автократор Маврикий, а вести — я думаю, хорошие — ты узнаешь отсюда.— Спонтэсцил достал пергамент с печатью и положил его возле чаши Азада.

Младший Бавендид взял сверток, осмотрел печать и молча взглянул в красный от ковров сумрак покоя. И мгновенно перед ним вырос из красного сумрака секретарь-сириец с прямоугольной шкатулкой. Азад положил пергамент в шкатулку, секретарь наложил на за-

стежку комочек воска. И Азад запечатал шкатулку своим перстнем.

— Ты вез это один?— удивленно спросил Бавендид.— Ты смелый воин, Анастасий, но это было неосторожно.

— Неосторожно было бы везти это под охраной. Больше людей — больше хитрости,— усмехнулся Спонтэсцил устало и, вытащив из-за пояса черный кипарисовый крест, кинул его на скатерть.

Арийский спахбед, наклонившись, долго рассматривал крест, но так и не решился дотронуться до него. Подняв голову, он коротко спросил Анастасия:

— Где? Было много?

— Здесь, под стеной, на площадке,— ответил Спонтэсцил.

— У моих владений! — сверкнул глазами Бавендид и выругался сквозь зубы.

— Три лучника в панцирях,— спокойно сказал Спонтэсцил.

— Никто не ушел?— тревожно спросил Азад.

Анастасий отрицательно покачал головой. Бавендид хлопнул в ладоши, и ковровая завеса за ним откинулась. Вбежали, звеня железом, воины в шлемах с металлическими сетками, защищавшими шею, уши и щеки. В кожаных тисненых колчанах у воинов были длинные тамарисковые стрелы и по два легких кавалерийских лука; сине-черные кольчуги ниспадали до колен; на поясах висели прямые персидские мечи.

Бавендид коротко отдал приказ. Воины стояли неподвижно, как изваяния, и Спонтэсцил любовался кольчугами. Богат был младший Бавендид, если мог так одевать своих воинов. Анастасий знал цену этим кольчугам из дальней страны Зирихгеран; в той стране не был никто из ромеев. Зирихгеран — страна панцироделателей — находится где-то в горах, у Албанских ворот, где дед нынешнего царя царей Ануширован построил

крепость и город и дал им название Дер-бенд. Только армянские купцы проникают в страну панцироделателей и привозят оттуда эти синие кольчуги, которые не ржавеют, даже если пролежат много лет в земле. Не всякий может пробить эту кольчугу, потому что кольца ее оставляют на мече глубокие зазубрины. И еще привозят купцы из Зирихгерана большие кинжалы узорчатого железа, отливающие поздним закатом. Замечательной остротой славятся эти кинжалы; с одного маха можно разрубить таким клинком подброшенный в воздух платок самого тонкого шелка. В Руме за такой кинжал дают двух молодых и обученных ремеслу рабов.

Позванивая оружием, воины вышли.

Рабы внесли горячее ароматное мясо с белой болотной пшеницей.

Бавендид снова наполнил чаши. И Анастасий, не дожидаясь приглашения, стал есть.

Неслышно, как тень, появился старый перс с обвислыми красными усами. Перс был в черном глухом иудейском плаще. Он что-то тихо сказал Бавендиду и скрылся за ковровой завесой. Бавендид удовлетворенно кивнул, потом с жесткой усмешкой спросил Анастасия:

— Ты знаешь, чьи это были рабы?

Спонтэсцил молча кивнул и продолжал есть.

— Их трупы найдут на рассвете в Павлиньем саду,— с той же усмешкой сказал Азад.

Анастасий недоуменно посмотрел на него.

— Это сад гарема,— пояснил Бавендид.

— Меня это не интересует,— сказал Спонтэсцил. Он уже утолил голод и медленно потягивал прохладное сластящее вино.

— Я устрою для тебя охоту, Анастасий. Сейчас много кабанов жирует в речных камышах. Надеюсь, ты будешь моим гостем несколько дней, прежде чем отправиться к себе в Ромею,— прорычал весело Азад. Вино, видимо, подействовало и на перса, и он, наклонившись

поближе к Спонтэсцилу, зашептал, поблескивая маленькими веселыми глазами:

— У нас умеют ценить храбрых воинов, Анастасий, и долго помнят добро, и зло помнят тоже долго. Я думаю, славный ромей, что награда будет достойна тебя.— Бавендид помолчал, потом спросил вкрадчиво:— Правда, что ты — родственник нашей светлолицей царицы Мириам?— Спахбед, наклонившись вперед, с интересом ждал ответа.

Спонтэсцил допил вино, поставил чашу на узорчатую скатерть и, с улыбкой взглянув на перса, ответил:

— Да, правда.

— О, ты уедешь в Ромею с богатыми подарками.

— Нет, Азад. Не нужно подарков. И я не уеду в Ромею,— спокойно сказал Спонтэсцил.

Бавендид младший удивленно заморгал, но сейчас же справился с собой и сказал спокойно:

— Такой славный воин, как ты, Анастасий, будет в почете и здесь, в Эраншахре.— Азад сделал паузу.— Но почему ты решил не возвращаться? У тебя есть враги?

— У меня не бывает врагов, Азад, по крайней мере живых.— Спонтэсцил потянулся к узкогорлому кувшину и сам налил вина.— Я младший в роде, как и ты, но живы отец и братья, и уже не осталось у нас ни земель, ни кораблей. Самое большое, на что я могу рассчитывать, это стать центурионом и нести службу у границ империи, пока аварская стрела или славянский меч не найдут меня. Жизнь воина кончается всегда одинаково. А слава непрочна и изменчива.— Спонтэсцил взял чашу, поднес к губам, из-за края ее испытующе смотрел на арийца.

У младшего Бавендида было непроницаемое лицо.

— Любое твое желание, друг мой Анастасий, будет выполнено. Я обещаю это,— ровным, спокойным голосом сказал Азад.

— Благодарю тебя. Я не сомневался в этом. — Спонтэсцил задумчиво поглядел в свою чашу, потом поднял голову.— Я попрошу не очень много.

— Я весь — внимание, Анастасий.

Спонтэсцил задумчиво смотрел в красный от ковров сумрак, вертел в руках чеканную чашу.

Колебалось желтое пламя светильников, и в тишине было слышно лишь дыхание застывших в нишах рабов...

Дул ветер с Малой Невы и гнал облака. И было безлюдно на Большом проспекте Петроградской стороны.

Лицо Тани, озабоченное и ласковое, было обращено к Борисову.

— Валя, мне кажется, вы совсем не здесь,— сказала она.

Борисов не ответил. Он еще вглядывался в красноватый от ковров сумрак покоя младшего Бавендида Азада.

— Уже близко. Вон подъезд,— сказала Таня, легким жестом руки указав на противоположную сторону проспекта.

На лестничной площадке Борисов заколебался.

— Может, мне не нужно идти? Неудобно как-то,— сказал он, чувствуя усталость.

— Ничего неудобного нет.— Таня отперла дверь, взяла Борисова за руку.— Осторожно, здесь три ступеньки вниз.

Он неуверенно сошел по этим ступенькам. Таня отпустила его руку, отошла, и долгое мгновение он стоял в темноте, испытывая чувство скованности и тревоги.

Свет вспыхнул неожиданно. Борисов огляделся в маленькой прихожей, напоминавшей перекошенный спичечный коробок, поставленный на торец; стены вместо обоев были покрыты соломенными циновками. У самых

дверей висела фотография большой лающей лохматой собаки, под прямоугольным зеркалом стоял еловый некрашеный столик. Вместо абажура на лампе под потолком была перевернутая плетеная корзина.

— Проходите, Валя.

Борисов вошел в странную, многоугольную комнату с большим, мелкозастекленным окном. Мебели почти не было. Только книги на полках по стенам; дубовый, похожий на столярный верстак, стол с пишущей машинкой; скромная низкая тахта, обитая простой серой материей, но рядом с ней, словно вспышка света,— старинный туалетный столик розового с темными прожилками дерева, богато изукрашенный перламутром и черепахой, с овальным серебристым зеркалом толстого полированного стекла. На столике, отражаясь в серебряной глуби зеркала, стоял бронзовый подсвечник и флакон резного хрусталя.

Борисов сел на тахту.

— Курите, Валя.— Таня поставила на столик пепельницу.— Я сейчас сварю кофе,— сказала она и вышла.

Борисов курил, глядел в светлеющую за окном ночь. Чувство покоя и уюта пришло к нему в этой комнате со столярным верстаком и изысканным будуарным столиком. Из передней падал неяркий свет и отражался в перламутре и зеркале; книги на полках казались одушевленными.

Борисов думал о сыне ромейского патрикия. Он наперед знал, что́ попросит молодой византиец в награду за тайную доставку пакета. Знал, какое честолюбие гложет душу младшего отпрыска знатного рода, будто Анастасий Спонтэсцил не был плодом его воображения, а существовал в действительности тысячу триста с лишним лет назад и он, Борисов, просто читал об этом человеке в исторических книгах. Он знал о гложущей жажде успеха, того жизненного успеха, о котором мечтают

молодые, здоровые, влюбленные в себя люди. Знал Борисов и о трезвом, расчетливом уме младшего Спонтэсцила, о его дерзких надеждах и о том, что молодой ромей удовлетворится совсем не тем, чего искал в персидской земле при дворе шаханшаха. И хотя эта судьба была так далеко от времени, в котором скучно и неудовлетворенно жил Борисов, ему почему-то было радостно думать об Анастасии Спонтэсциле. Мысли о нем приносили неожиданное, странное наслаждение, как необузданные видения в детстве. Но теперь уже после них не оставалось тоски. Внутри становилось тепло, и весенняя тревожная легкость наполняла Борисова.

Он встал, прошелся по этой многоугольной чужой комнате, посмотрел в окно на пустой проспект, потом нажал кнопку настольной лампы.

Круг света упал на желтую дубовую столешницу, на потертую пишущую машинку и стопу листов чистой бумаги.

Борисову вдруг нестерпимо захотелось сесть за этот стол, вставить в машинку лист и писать об Анастасии Спонтэсциле, описывать его жесткое, с крупными, прочеканенными чертами лицо, скупую улыбку, лежевесные плечи воина, твердую походку уверенного в себе, здорового человека; его дерзкую мечту о славе, такой, как у слагателя Гат Зороастра.

Борисов глядел на стопу белой чистой бумаги и улыбался, когда Таня вкатила в комнату столик на колесах.

— Не будем зажигать верхний свет,— сказала она.

— Как хотите.— Борисов подошел и сел на тахту.— У вас очень приятная и спокойная комната.

Ему было легко и весело.

— Может быть, выпьем еще немного?— спросила Таня.

— Конечно, выпьем,— сказал Борисов, с удовольствием трогая хрустящую накрахмаленную салфетку на

столике и вдыхая аромат кофе. Он чувствовал себя трезвым и уверенным.

Кисловатое сухое вино было холодным, и от запотевшего бокала ладонь ощущала свежесть.

— Когда вы будете защищаться, Валя?— спросила Таня, и снова в Борисова проник ее вопросительный строгий взгляд.

— Скоро, наверное. Сергей сказал, что отзыв положительный и доработок немного. Ну, если сделаю быстро...

— А вам очень нужно это?

— Что?

— Защита. Степень. Пейте кофе, а то остынет.

— Спасибо. Не знаю, Таня,— сказал Борисов и задумался.

— Ну кто же это должен знать, кроме вас?— Она все так же пристально смотрела на него.

— Да как-то складывалось всегда так, что не знал, нужно мне то, что я делаю, или нет,— сказал Борисов со вздохом.

— Почему, Валя?

— Так получалось,— тихо, почти шепотом ответил Борисов.

— И это не угнетало?

— Пожалуй. Но не оттого, что дело не нравилось, а просто не получалось хорошо.

Он налил себе и Тане вина. Залпом выпил свой бокал и почувствовал, что снова хмелеет тоскливым, холодным хмелем.

— Сергей говорил мне, что вы были спортсменом...

— Я не был спортсменом; то есть был, но не настоящим. Настоящий спортсмен — это особый склад души, а я принуждал себя... для самоуважения...

Борисов закурил, глядя в окно, прислушивался к хмельной тоске внутри, и вдруг что-то прорвалось в нем нестерпимым желанием откровенности. Бросив корот-

кий взгляд на Таню, он снова отвернулся к окну и стал рассказывать.

Круг света от настольной лампы падал на желтую дубовую столешницу, на пишущую машинку и стопу чистой бумаги. Дым сигареты сизыми перьями плыл к окну.

Таня не сводила с Борисова глаз, а он рассказывал о своей жизни, рассказывал жестко, не приукрашивая, не жалея себя. Он говорил о своевольном воображении, отдалявшем его от жизни и делавшем неуклюжим и робким, о своей неприязни к мотоциклу и о позднем честолюбии, разрешившемся переломанными ребрами и презрением к себе, о внезапной дружбе с Сергеем Грачевым, о дочери и жене, о своем одиночестве. Он умолчал лишь о Шувалове, который странно привлекал его своей победительностью и одновременно вызывал враждебность, умолчал и об Анастасии Спонтэсциле, почему-то оба эти человека — и реальный, и воображаемый — странным образом связались в сознании Борисова, и он не мог говорить о них, ибо они были самой сокровенной частью его самого.

Уже стало совсем светло за окном и свет настольной лампы побледнел и ослаб.

Таня прошла к столу и выключила лампу.

Борисов, усталый, опустошенный, смотрел, как она тихо идет обратно к тахте. Лицо ее казалось свежим и ярким, будто не было бессонной ночи. Борисов уже жалел, что так неожиданно разоткровенничался, но вместе с тем чувствовал облегчение.

Таня села рядом с ним. Он хмуро и подозрительно посмотрел ей в глаза. В них уже не было вопроса; что-то другое мерцало и теплилось в глубине и волновало Борисова, так, что он не мог оторваться от этих глаз.

— Валя, милый, вы жалеете, что рассказали?— шепотом спросила она.

Борисов молчал.

— Но ведь вам нужно было кому-нибудь рассказать. Я не предам, Валя. Я никому не расскажу,— шептала она, и глаза ее придвигались ближе, а Борисов не мог отвернуться, отвести свой взгляд.

«Нужно закурить»,— тревожно подумал он, но не двинул рукой. Ее глаза надвинулись и заслонили все. Ее влажные губы скользнули по щеке, рука обхватила шею.

Комната качнулась и плавно понеслась куда-то — прочь из этого утра, из этой действительности. Остались только руки, губы и светлая, как в молодости, тревожная радость.

Потом, расслабленно пустой и легкий, как будто лишенный тела, он забылся прозрачной, чуткой дремотой, сквозь которую слышал ее дыхание, ощущал запах волос и легкое прикосновение пальцев к своему лицу; он улыбался во сне.

Он проснулся от резкой боли в левом виске, сел на тахте. До сознания не сразу дошло, что он в чужой комнате. Ладонь, прижатая к щеке, ощутила покалывание отросшей щетины. Боль разламывала висок.

Борисов все вспомнил, но боль была так сильна, что отвлекала. С перекошенным гримасой лицом он сидел и прислушивался к звяканью посуды на кухне. Хотелось уйти незаметно, не видя лица этой женщины, но Борисов понимал, что это невозможно. Он закурил, и боль притупилась.

Комната была наполнена светом и уже не казалась странной и таинственной.

Борисов подошел к полкам, стал читать надписи на корешках. Большинство книг было на славянских языках. Были работы по древнерусской литературе.

«Славист»,— решил Борисов. О прошедшей ночи он не хотел вспоминать. Он не питал неприязни к этой неожиданной женщине, был благодарен ей за теплоту, но

было бы лучше, если бы он смог уйти, не видя ее теперь, днем.

Он услышал ее легкие шаги и напряг спину, не поворачиваясь к двери.

— Хотите умыться, Валя?

Борисов повернулся.

— Да, пожалуй, нужно,— сказал он, стараясь побороть неловкость. И, мельком взглянув ей в лицо, быстро вышел из комнаты.

В ванной он подставил затылок под струю холодной воды и долго стоял так, закрыв глаза. Боль в голове прошла, но чувство неловкости осталось. Он неприязненно смотрел в зеркало на свое посеревшее лицо.

— Кофе готов,— позвала Таня из-за двери.

Он пригладил волосы и вышел.

Стены небольшой кухни были облицованы бледно-розовым кафелем, такой же бледно-розовой была мебель. Все сверкало чистотой.

Борисов, избегая ее взгляда, сел на пластиковую табуретку, придвинул чашку.

Она села напротив, сказала негромко:

— Поешьте чего-нибудь.

— Спасибо, не хочется,— ответил Борисов и невольно взглянул на нее.

На Танином лице была мягкая и чуть растерянная улыбка. И от этой улыбки прошла неловкость. Борисов почувствовал, что и она испытывает то же состояние, и сказал, опустив глаза:

— Я здорово был пьян вчера.

— Ну, ничего. Не казнитесь. И я была не лучше.

Борисов поднял глаза. Ее лицо было печально, она задумчиво глядела в одну точку.

«Черт, красивая девушка... Что ей я?» — подумал Борисов.

И, будто отвечая на его мысли, Таня сказала:

— Я ведь давно вас знаю, Валя.

Борисов моргнул удивленно.

— Да, по рассказам Сергея.

— Что же он рассказывал?— с волнением спросил Борисов.

— Не то, что есть на самом деле. Я сразу поняла это, когда увидела вас. И потом эти ваши сказочные новеллы...— Она помолчала, рассеянно улыбнулась.— Вы совсем другой.

— А вы давно знаете Сергея?

— Да, десять лет, хотя последние годы мы виделись редко. Я его невеста,— она усмехнулась,— пять лет из этих десяти.

Борисов вздрогнул, отклонился назад, будто его ударили по лицу. И снова боль врезалась в левый висок. Он зажмурил глаза и сквозь зубы, превозмогая боль, спросил:

— Вы действительно?..

— Да,— твердо сказала она, прервав его.

Он открыл глаза и уставился в пластиковый пол, приложив ладонь к виску.

— Но зачем тогда, зачем все это?— устало спросил он.

— Мне казалось, что это нужно вам. А может быть, и мне самой, чтобы сжечь мосты,— тихо ответила она.

Борисов поднял на нее взгляд.

Она беспомощно, слабо улыбнулась, но глаза были полны слез.

6

Добравшись до дому, Борисов почувствовал смертельную усталость. Город показался ему переполненным людьми и машинами. Он старался сосредоточиться на этой своей усталости, на внезапно возникшем чувстве недомогания, потому что боялся думать о том, что произошло минувшей ночью.

В квартире стояла душная тишина, подчеркнутая металлическим звоном капель из неисправного кухонного крана.

Обычно по воскресеньям Борисов ездил на дачу, подвозил продукты и лакомства, возился с дочерью, но сегодня он даже не подумал об этом.

Неряшливо разбросав одежду, он принял душ и лег, со страхом думая, что не заснет. Но, против ожидания, заснул почти сразу и проспал до самого вечера.

Пробуждение было неприятным. Опять болела голова, в горле, казалось, застрял ком. Борисов сделал глотательное движение и задохнулся от боли. Он с усилием встал, шатаясь от головокружения, подошел к зеркалу. Лицо пылало, миндалины были воспалены, и по тяжелой, ноющей ломоте во всех суставах Борисов понял, что заболел.

Сначала это огорчило его: ангина нарушила все планы. Но потом он с каким-то удовольствием подумал, что несколько дней можно будет не ездить в институт, не встречаться с Грачевым.

Он медленно оделся, вышел на улицу. Из автомата позвонил Шувалову. Голос Гриши в трубке звучал неожиданно низко.

— Ты куда вчера девался? Хватились потом: где Валя? — Голос Шувалова был деланно безразличным и смешливым.

Борисов поморщился.

— Я плохо себя чувствовал, сегодня совсем разболелся. Еле добрел до будки.

— Что случилось? — с недоверчивой интонацией спросил Шувалов.

— Да ангина, видимо, и температура. Премерзкое самочувствие. Ты скажи там,— ему трудно было даже называть имя Грачева,— что я залег.

— Хорошо,— уже серьезно ответил Шувалов и спросил: — Может, подъехать, Валька, помочь чем-нибудь?

— Спасибо. Я сейчас сам схожу в аптеку, а еда есть.— Он помолчал, закрыв глаза.

— Ну, может, книги нужны из библиотеки?

— Да нет. Вот если только... но это совсем не обязательно, привезешь мне отзыв. Я, может, пока валяюсь, чего-нибудь обдумаю.

— Хорошо, привезу.

— Ну, спасибо. Пока.

Свет раздражал Борисова, и он задернул в комнате шторы. В полумраке казалось, что тело потеряло вес, только кисти рук почему-то были тяжелыми. Он лежал с ощущением ломоты в суставах и тяжести в груди, стараясь не шевелить губами, потому что это отдавалось болью в горле. Он даже с каким-то удовольствием погружался в болезненные ощущения, лишь бы не думать. Временами приходила короткая дремота, и Борисову казалось, что он плывет и постель под ним качается, как плот на волнах.

Ночью ему стало легче; температура спала.

Он лежал в сумраке с открытыми глазами, и снова к нему пришел Анастасий Спонтэсцил...

...Был третий день первого весеннего месяца Фарвардина.

Солнце из узких верхних окон косыми лезвиями лучей освещало библиотеку в ктезифонском дворце шаханшаха, и тонкая книжная пыль столбиками стояла у каменных ниш с драгоценными книгами. Здесь были глиняные плиты из Александрии, свитки папируса, латинские консульские диптихоны из слоновой кости; свитки тонкого китайского шелка с письменами черной и красной тушью; мудрецы Аристотель и Платон,— все было собрано здесь. Больше всех библиотеку пополнил дед теперешнего шаха, Хосрой Великий, как его звали на Западе.

Были здесь и труды персидских мудрецов — тридцатитомный трактат о всех известных на земле ядах и

противоядиях. Трактат имел практическое значение, потому что часто, очень часто в персидском государстве умирали знатные от неизвестных ядов.

Спонтэсцила удивляло, что и христианские книги — сирийские, греческие и латинские — есть в библиотеке. И теперь он был хранителем всех этих книг. Младший Бавендид сдержал свое слово. У сына ромейского патрикия теперь будет твердое жалованье и возможность читать мудрые книги, слагать латинские стихи, громкие, как звон меди, или протяжные, торжественно-плавные греческие. А может, он будет писать на персидском, хотя пока это трудно.

Анастасию все больше нравится этот язык, то громовой и гневный, как рык разъяренного льва, то ласковый и певучий, как мурлыканье. Да, он станет славным поэтом, и слава откроет ему пути к почестям и богатству. Здесь, в Эраншахре, ценят мудрое, меткое слово. Иначе не добился бы такого положения при дворе этот маленький, кривоногий мертвец. Спонтэсцил никак не может понять, как правильно произносится его имя: некоторые говорят Фахлабад, другие — Пахлабад. Вообще персы из разных областей по-разному произносят слова, особенно имена и названия месяцев. Но не зря Анастасий так прилежно изучал этот язык, когда теперешний царь царей со своими приближенными спасался в Ромее и был всего лишь беглецом. Тогда император Маврикий посадил его на персидский престол, дав войско и золото. За это царь царей подписал вечный мир с Ромеей и отказался от части Сирии, от Аравастана до самой Низибии, части Армении до славной горы Арарат, а также города Майферкат и Дару передал Хосрой Второй автократору Маврикию, и получил в жены Марию, внебрачную дочь императора от красавицы Анны Спонтэсцил, и вернул себе царство.

Был третий день первого весеннего месяца Фарвар-

дина, и уже начался великий праздник персов Ноуруз. В дасткартах знатных третий день не прекращалось веселье, ибо первая пятидневка месяца считалась Ноурузом знатных. Но и чернь не отставала; вечерами из квартир ремесленников доносились пьяные песни, взвизгивания женщин.

Дни выдались жаркие, а здесь, в библиотеке, стояла прохладная тишина.

Сын ромейского патрикия, хранитель библиотеки «поклоняющегося Мазде Хосроя, бога, царя царей арийцев и неарийцев, из рода богов, сына бога Хормизда, царя», Анастасий Спонтэсцил полулежал в кожаных подушках на застланной коврами террасе, которой оканчивался библиотечный зал. Легкая колоннада отделяла террасу от дворцового сада, густая зелень защищала от солнца.

Журчала струя фонтана неподалеку, подчеркивая тишину; ветер, легкий, пахнущий цветом миндаля, мягкой волной проходил через террасу.

На низком лаковом столике лежала большая книга с серебряными застежками и листками беленого пергамента.

Анастасий Спонтэсцил читал Гах-наме, книгу о дворцовом этикете и табели о рангах персидского государства. Иногда ироническая усмешка трогала лицо Спонтэсцила: с наивной прямолинейностью книга возводила установления нынешней династии к мифической древности.

Чтение шло медленно: Анастасий только осваивал арамейский язык, на котором были написаны предания о царях в Гах-наме. Вот, наконец, он нашел то, что его интересовало.

«Первый, введший Ноуруз, и установивший степени знатных владетелей, и утвердивший знаки государственной власти, и добывший серебро, золото и металлы, и сделавший орудия из железа, и приручивший лошадей

и прочих животных, извлекший жемчуг, добывший мускус и амбру, и построивший дворцы, устроивший цистерны и проведший каналы был Кей Джам, сын Вивандж-хана — сохранителя мира, сына Афрахшада, сына Сама, сына Нуха.

И было основанием этого, что он в Ноуруз завладел миром и устроил области Эраншахра. Был Ноуруз началом утверждения власти Кея Джама; потом этот праздник принял положенный вид и стал обычаем.

И властвовал Кей Джам тысячу пятьдесят лет...»

Из сада донесся резкий, неприятный крик павлина, Анастасий поморщился, прервав чтение. Потом улыбнулся: щедры персы, тысячу лет отвалили своему легендарному царю.

«...потом убил его Биварсаф и правил после него тысячу лет до Афридуна, сына Афсияна; правил как будто он — проклятый богом Даххак в посягательствах на завоевание мира. И преследовал его Афридун, и пленил его в Западной Стране, и заковал, и заключил на горе Демавенд; и свершил Афридун назначенное ему богом в жизни его; и правил Эраншахром тысячу пятьдесят лет...»

Опять тысячу пятьдесят, подумал Спонтэсцил, почему-то число это, по персидской священной книге, считается самым хорошим. Ну что ж, наш бог в шесть дней сотворил мир. А их царь в единый день устроил все... Всякий человек должен устроить свой мир, и часто человеку приходится устраивать свой мир, как богу, из ничего. Да, родственница Мириам, жена царя царей, видимо, ничем не поможет. Все ее силы уходят на борьбу с другой царицей, армеянкой Ширин. Легенды ходят о красоте Ширин, имя ее означает «сладкая». Ну что ж, он, Анастасий, благодарен и за это место царского хранителя книг. Молодые персидские вельможи приняли его дружески, благодаря покровительству младшего Бавендида. Теперь уж все зависит от него самого, от то-

го, насколько понравятся царю царей его философские поэмы. Правда, трудно соперничать с Фахлабадом-Пахлабадом (черт, как же правильно произносится это имя?), он настоящий поэт и хороший певец. Но Анастасий Спонтэсцил — носитель великой культуры эллинов и латинян, так неужели он не сможет прославиться здесь, среди варваров, и, как бог, сотворить свой мир из ничего?

Журчала струя фонтана, чуть шелестели ветви деревьев, пропуская на крытую террассу тонкие лучики солнца.

Анастасий Спонтэсцил продолжал чтение.

«И разделил Кей Джам дни первого весеннего месяца Фарвардин: и пять первых назначил праздником знатных, и следующие пять — Ноурузом царя, во время которых он одарял и благодетельствовал; следующие пять дней — для царских слуг; и пять для приближенных царя; и пять для войска его, и следующие пять для народа. И всего тридцать дней».

Целый месяц празднуют персы свой весенний праздник, думал Спонтэсцил. И в пятидневку царя представляются шаху чиновники и воины, и шах одаривает их дорогой одеждой и милостями. Недаром Анастасий старался подружиться с кривоногим маленьким Фахлабадом, любимым поэтом и певцом царя царей. Фахлабад обещал представить Спонтэсцила царю как «видящего» — так называют в Эраншахре ученых — и как хранителя книг. Говорят, что у шаха острый глаз и хорошая память, он никогда не забывает лиц, если видел человека хоть раз. Это хорошо. Анастасию нужно, чтобы царь царей запомнил его лицо. Слава приходит сверху, а не снизу, от черни. И пусть твердят неудачники стихоплеты в Константинополе, что слава — это когда знает народ; пусть ссылаются на пример легендарного слепца, гекзаметры которого скандируют пьяные матросы и проститутки в портовых притонах Константинополя. Спон-

тэсцил не хочет такой славы. Слава — это уважение знатных; да, уважение и преклонение. Ибо никто не упрекнет поэта за то, что трудом своим, волнением души, мужественной правдивостью достиг он почестей и не был казнокрадом, льстецом или палачом.

Анастасий Спонтэсцил верит в свою удачу. Не позже как через два года многие знатные в Эраншахре будут с уважением прислушиваться к его словам, и в глазах их уже не будет этих небрежных поощрительных улыбок... Но нужно читать, нужно знать обычаи этой страны, если хочешь добиться успеха.

«И в Хурдад-руз — шестой день Фарвардина — начинается Ноуруз царя.

После того как шах надевает свой убор и открывает полагающийся в этот день прием, входит к нему человек, угодный именем, испытанный принесением счастья, с веселым лицом, остроумный. Становится он против завесы царя и говорит: «Разрешите мне войти». И спрашивает царь: «Кто ты? и откуда приходишь? куда идешь, и кто идет с тобой? и с кем ты являешься? и что приносишь?» И отвечает тот человек: «Я прихожу от Двух Благостных и иду к Двум Благодатным, и со мной идет всякий победоносный, и имя мое ХУДЖЕСТЭ...»

— Худжестэ,— вслух повторил Спонтэсцил, ему было непонятно это слово в арамейской транскрипции.

— Худже, худ, худо,— повторял он на разные лады и понял: так произносят имя бога некоторые персы с Севера. Ахуро, Худо. Худо-жестэ, жестэ — хостэ — это значит выбирать, избирать; так произносят это слово на Севере, оно еще значит — сватать невесту. Значит, «Худжестэ» — это избранный богом, счастливец. Вот оно что! Спонтэсцил улыбнулся, ему доставляло удовольствие разбираться в этих языковых тонкостях.

«...привожу я с собой новый год, и новый хлеб, и радостную весть царю, и привет и послание».

И велит царь слугам впустить его, и говорит ему: «Войди».

И ставит тот человек перед ним серебряный стол, по краям которого разложены лепешки из пшеницы, ячменя, проса, дурры, гороха, чечевицы, болотной индийской пшеницы, кунжута, бобов и фасоли, вид которых считается хорошим знаком и по именам которых предсказывают.

И произносит тот человек громко: «Абзуд, абзейд, абзун, барвар, фарахи» — умножилось, умножится, умножение, богатство, изобилие.

И желает тот человек царю вечной жизни, продолжительного царства, и счастья, и славы.

И царь ни о чем не совещается в этот день из опасения, чтобы от него не исходило что-либо плохое и не продолжалось целый год».

Анастасий Спонтэсцил закрыл тяжелый фолиант, кликнул мальчика-писца:

— Диперан, убери!

Темноволосый курчавый мальчик маленького роста быстрым шагом вышел на террасу, поклонился и взял книгу. Согнувшись от тяжести, он понес ее в библиотеку. Спонтэсцилу показалось, что при поклоне мальчишка дерзко и насмешливо стрельнул в него своими удлиненными темными глазами.

«Арийская спесь»,— с раздражением подумал он. Даже этот ничтожный мальчишка в душе считает себя выше его, Анастасия Спонтэсцила. Ничего, дайте только срок, и его будут принимать всерьез...

Спонтэсцил встал с подушек, несколько раз энергично взмахнул руками, чтобы быстрей побежала застоявшаяся кровь, и пошел в свою чистую небольшую комнату рядом с библиотечным залом.

Нужно было идти на праздник к младшему Бавендиду. У него собирается молодая знать Эраншахра.

Поверх туники Спонтэсцил надел кожаную куртку, спрятал под нее крест. Сунул за пояс широких в бедрах штанов для верховой езды прямой персидский кинжал и через дворцовый сад вышел на канал...

Борисов лежал в сумраке с открытыми глазами и в воображении видел, как твердой походкой воина уходит по набережной одного из бесчисленных ктезифонских каналов хранитель библиотеки царя царей Хосроя Второго, сын ромейского патрикия Анастасий Спонтэсцил.

Пропотевшее тело было влажным и легким, будто Борисова прокалило жаркое весеннее иранское солнце. И горло болело уже меньше, но курить не хотелось. Он лежал в полутьме, тихо дышал, и мелькнул перед ним в рассеянном свете поблескивающий бок туалетного столика из розового дерева, изукрашенного перламутром, золотистый круг света настольной лампы на желтой дубовой столешнице с потертой пишущей машинкой, колеблющиеся в сумраке корешки книг...

Борисов усилием воли отогнал эти видения. Он не хотел вспоминать прошлую ночь.

Подруги наши и грешны и хрупки,—
Всегда прощай возлюбленной проступки!

Он прочел эти строки Гургани из «Вис и Рамин» голосом Анастасия Спонтэсцила. Да, Борисов знал и голос и мысли молодого византийца. Теперь он не гнал от себя, как раньше, эти картины жизни сына ромейского патрикия. Наоборот, мысли о нем почему-то приносили радость, и зудящее любопытство одолевало Борисова: как же дальше повернется судьба Спонтэсцила? Анастасий будто уже не был созданием борисовского воображения с тех пор, как на закате Изана — двадцатого дня последнего месяца Исфандармаха, он

въехал в западные ворота Ктезифона. Десять дней оставалось тогда по солнечному зороастрийскому календарю до конца десятого года царствования царя царей Хосроя Второго.

С азартным интересом, как будто со стороны, наблюдал Борисов за тем, как Анастасий Спонтэсцил идет к своему успеху. Молодой ромей иногда совершал неожиданные для Борисова поступки. Так странно: он попросил место хранителя книг, а Борисову казалось, что военная карьера увлечет Спонтэсцила.

Захватывающе любопытна была эта история. Такого еще никогда не виделось Борисову. Будто в мозгу у него был объемный экран, расширявшийся до беспредельности. И он смотрел, как слагается жизнь Анастасия, болел за него, восхищался его здоровьем и силой и ловкостью воина, поражался везучести и чуть пренебрежительно усмехался над жадностью к почестям, над неуемным тщеславием молодого византийца. Любил его, пожалуй, Борисов. Любил и печалился, потому что, хотя и не знал еще точно конца истории, но уже чувствовал, догадывался, что печально завершится она. Но было это только предчувствие.

А пока в красном от ковров парадном покое дворца Азада Бавендида младшего шел пир.

...В чадном воздухе остро пахло зажаренным на угольях мясом с пряностями, звенели чеканные чаши, и под сводами громко раздавались высокие, сильные голоса персов.

Спонтэсцил остановился у входа, вгляделся в глубину длинного зала, освещенного через купольные окна красноватым светом уже склоняющегося солнца. Раб, опустивший за ним входную шерстяную завесу, исчез, будто растворился в чадном воздухе.

Арийские патрикии, развалясь на подушках возвышения в глубине покоя, о чем-то яростно спорили. Наблюдательного Анастасия удивляла странная особен-

ность персов: спор был горячим и гневным,— даже не разбирая слов, можно было догадаться об этом по резкости голосов,— но, споря, персы сохраняли свои ленивые, отдохновенные позы. Тела их не участвовали в этом кипении страстей.

— Шигарский! — выкрикнул кто-то пронзительно и тонко. В ответ возвысилось сразу несколько резких голосов. Спонтэсцил расслышал только ругательства:

— Сэг!

— Жугут!

— Мамзир!

Спонтэсцил сделал несколько шагов вперед, и младший Бавендид, заметив его, встал и пошел навстречу, поднимая руку в персидском приветствии.

— Анастасий, как славно, что ты пришел; я уже хотел послать за тобой, чтобы просить тебя прервать свои ученые занятия.— Бронзово-смуглое лицо Азада лоснилось, как умащенное, красные, яркие губы блестели в окладе черной курчавой бородки.

— Но у тебя гости, Азад; не помешал ли я? — церемонно и сдержанно спросил Спонтэсцил.

— В праздник Ноуруза гость — украшение дома и радость хозяина, Анастасий. И я рад, что ты пришел, рад, что смогу познакомить своего друга с лучшими из знатных Эраншахра.

Твердой походкой взошел Спонтэсцил на возвышение, где пировали персы, и увидел, что он не единственный здесь христианин; рядом с Бавендидом Азадом возлежал сириец Лузин — глава третьего сословия — земледельцев. Лузин не прятал под куртку свой большой деревянный еретический крест.

«Персы со своим шаханшахом терпимее к иноверцам, чем сами христиане друг к другу»,— подумал Спонтэсцил. Сколько раз солдаты по приказу императора учиняли избиение еретиков в Эдессе, а здесь царь царей дозволяет монофизитам и несторианам вести открытые дис-

путы и, говорят, сам, завернувшись в глухой плащ, чтобы не быть узнанным, слушает споры ересиархов. Много диковинного в персидской стране. Вот этот сириец Лузин, еретик,— один из первых людей государства, он ведает налогами с земель.

Спонтэсцил бросил быстрый зоркий взгляд на тонкое, бледное лицо Лузина. Рядом с сирийцем сидел глава мастеров и торговцев — Зал, перс-христианин.

— Друг мой и гость, видящий и хранитель книг царской библиотеки, воин и поэт Анастасий,— выкрикнул Бавендид.

Вельможи подняли руки:

— Хайом!

— Хайом!

Приветственный клич взлетел под своды парадного зала; казалось, вздрогнули тяжелые ковровые завесы стенных проходов.

Спонтэсцил почувствовал, как рука его сама тянется вверх, и услышал свой голос, усиленный эхом:

— Хайом!

Получилось не хуже, чем у Бавендида младшего, но сердце, сердце христианина, испуганно сжалось: «Грех, грех...»

Здесь были спахбеды, канаранги — военные управители границ, приехавшие в Ктезифон на новогодний праздник; был молодой мобед — зороастрийский маг — в красном одеянии, на его желтом бритом лице сверкали синие холодные глаза. Тут же сидел Фахлабад, рядом с ним на ковре валялся его потертый рубаб. Темное дерево инструмента отдавало шелковистым блеском, оно вытерлось и отшлифовалось от многократного прикосновения рук певца; желтые жильные струны казались прозрачными в солнечном луче. Черные подвитые усы шевельнулись, скупая приветственная улыбка появилась на лице Фахлабада, иссеченном отвесными, глубокими, как шрамы, морщинами.

Спонтэсцил сел рядом с поэтом, только рубаб разделял их.

Раб сразу наполнил чашу.

Прерванный разговор продолжился.

— Да, вот я и говорю,— сказал Азад,— Бахрам-Гур в свой Ноуруз, если Хурдад выпадал на субботу, жаловал экзиларху иудеев четыре тысячи дирхемов.

— Благословение Мазды: царь царей Хосрой не жалует иудеев,— медленно и тихо сказал маг в красной хламиде, но голос его был отчетливо слышен всем. Он сделал паузу, сунул руки под хламиду.

Анастасий знал, что у зороастрийских жрецов-огнепоклонников на голом теле повязана «веревка благочестия» с тремя узлами, означающими «добрую мысль», «доброе слово», «добрый поступок». Что-то вроде четок.

Мобед выпростал руки из-под своей красной одежды и сказал:

— Теперь христиане близки к трону Сасана, прародителя шаханшахов, и просят за них царицы Ширин и Мириам. И по справедливости будет, если верность христиан Эраншахру отметится в весенний наш праздник, ибо сказал же отец царя царей Хормизд на просьбу изгнать из Эраншахра всех иноверцев: «Не может мой трон стоять только на передних ножках, так не может Эраншахр быть крепок одними поклоняющимися Мазде».— Мобед умолк и посмотрел на Лузина и Зала.

Сириец ничего не ответил, только опустил свое тонкое, бледное лицо. Дородный меднолицый Зал степенно кивнул:

— Так, справедливо твое слово, Исфандияр-мобед.

Спонтэсцил внимательно слушал, ему был интересен этот разговор знати, хотя он не все понимал. Наклонившись к Фахлабаду, шепотом он спросил:

— Зачем шаханшах Бахрам-Гур давал деньги иудеям, если Ноуруз царя приходился на день субботы?

Фахлабад повернул к нему свое морщинистое, слегка высокомерное лицо:

— Шаханшах Бахрам Пятый (арийский поэт не назвал шаха простонародным прозвищем) был сыном Ездигерда Первого от иудейки, дочери экзиларха. И в честь своей матери в Ноуруз, падавший на день субботы, давал он серебро главе иудейской общины. — Фахлабад посмотрел внимательно на Спонтэсцила, убедился, что речь его понятна, и отвернулся.

Анастасий Спонтэсцил задумался, не прислушиваясь к разговору персов. Он вдруг вспомнил историю из писания — «Книгу Есфирь». Прекрасная Есфирь стала женой персидского царя и спасла своих соплеменников от истребления. Иудеи даже установили праздник, связанный с их спасением. Артаксеркс зовут иудеи этого персидского царя, персы же произносят его имя жестко: Ксеркс. Вот с каких пор завелись у персов царицы-иудейки...

Спонтэсцил не следил за разговором, потягивал вино из чаши и думал об этой Месопотамской земле, о государстве персов, древнем, как Эллада. Вечной казалась эта палимая жестким солнцем земля, неистребимым — прокаленный зноем, жилистый арийский народ, захлестнувший великое Вавилонское царство, возродившийся из праха под колесами колесниц Александра Великого, сына Филиппа Македонского. «Странная, непонятная земля, непонятный народ,— думал Анастасий Спонтэсцил. — Никто не мог победить их, даже покорители вроде Александра. Нет, сын Филиппа Македонского, покорив персов, был побежден ими — он сам стал персом... Сколько ромеев-латинян и ромеев-греков остались в этой стране, приняли ее язык и обычаи. Сирийцы и армяне, иудеи и туранцы, арамеяне и гунны — все ищут здесь свою долю, и все, рано или поздно, становятся персами, растворяются, как сахар в гранатовой воде». Но он, потомок славного рода Спонтэсцилов, не за тем при-

шел в эту землю. Она примет его таким, каков он есть. Он, Анастасий Спонтэсцил, принесет персам-арийцам великую поэзию своих предков...

— Ну-ка, встань, благородный Анастасий! Встань, пожалуйста! — Громовой веселый голос Бавендида Азада прервал мысли Спонтэсцила. Он недоуменно огляделся. Все взгляды были обращены к нему.

— Благая мысль пришла тебе, славный Азад,— сказал Исфандияр-мобед.

Спонтэсцил вопросительно посмотрел на Фахлабада, почему-то он доверял поэту. Тот еле заметно кивнул, и Анастасий встал, сверху вниз глядя на пирующих.

— Сними куртку, пожалуйста,— весело улыбаясь, попросил Азад.

Анастасий сбросил кожаную персидскую куртку и остался в легкой тунике с короткими рукавами.

— Протяни руки вперед, вот так,— показал Бавендид.

Спонтэсцил широким жестом вытянул руки вперед. Под тонкой, шелковистой кожей предплечий, покрытых легким пушком, перекатывались жгуты мускулов и сухожилий. Это были руки воина и гимнаста, умеющие держать меч и далеко метать копье.

Он стоял в тунике с широким вырезом, из которого был виден серебряный крест на стройной, высокой шее, стоял, вытянув вперед сильные руки. И персы смотрели на его лежевесные плечи, на четкие бугры грудных мышц, на лицо с крупными, хорошо прочеканенными чертами.

— Да,— сказал сириец Лузин,— пусть лучше будет наш человек.

— Ну как, подходит, Фахлабад-гусан? — спросил Бавендид у певца.

Фахлабад молча кивнул.

— Ну, благородный Анастасий, в день царского Ноуруза ты будешь Худжестэ,— торжественно возгласил Бавендид...

Борисов лежал в темноте, чувствуя сухой, легкий жар во всем теле. Хотелось пить, но вставать было лень. Он лежал и видел в темноте удивленно-счастливое лицо Анастасия Спонтэсцила и блеск в глазах молодого ромея. Анастасий Спонтэсцил предчувствовал успех.

...И пир знатных персов продолжался. И Фахлабад, взяв свой потертый рубаб, звонким голосом пел о великом Рустаме, сказочном пахлаване — богатыре персов.

Рыщет Рустам на верном коне своем Рахше, бежит впереди него заколдованный волшебный онагр с золотой, как солнце, шкурой, с черной, как ночь, полосой по хребту. И только натянет богатырь свой бронзовый лук и направит тамарисковую стрелу, как исчезает золотой онагр, но скачет и скачет конь Рустама, и пустыня кругом; усталость и жажда овладели всадником и конем, а золотой онагр все бежит впереди. Но то не онагр, а слуга Ахримана Акван-див рыщет онагром по степям, пугая людей и животных. Хочет див погубить пахлавана Рустама, завлекает его, но напрасно: уже взвился в богатырской руке шерстяной аркан и захлестнул шею дива. И сверкающим мечом отсек Рустам голову дива-онагра, и река черной дымящейся крови вытекла из жил.

Анастасий слушал певца. Песня была знакома. Ее пели нищие на базарах, мальчишки на берегах каналов. Но здесь, под сводами парадного покоя Азада младшего Бавендида звучала не нищенская грубая песня, а изысканные стихи. В этих стихах было жгучее солнце и цокот копыт, и посвист стрелы слышался ясно. Это была высокая поэзия, но что-то не удовлетворяло Анаста-

сия Спонтэсцила, чего-то не хватало ему в песне Фахлабада. И тревожное, знакомое волнение, будто сидит он над узким листком папирусной бумаги, входило в душу ромея. Нет, не так звучит эта песня у него внутри. Не так,— лучше, возвышеннее и в то же время грустнее. Но пока он не может спеть ее вслух, как спел свою песнь Фахлабад. Но придет время...

Певец отложил рубаб, выпил прохладного вина и сухо кивнул в благодарность за восторженные похвалы. Он словно бы устал от песни.

— Может, благородный Анастасий споет нам свою песню? — осторожно спросил Исфандияр-мобед.

И сразу раздался голос Азада:

— Друг мой, Анастасий, окажи честь мне и моим гостям.

— Да, да,— поддержал Азада Фахлабад.

— После песни Фахлабад-гусана мои стихи, как вода после вина. Не желайте моего позора,— тщательно подбирая персидские слова, ответил Спонтэсцил.

— Мы очень просим тебя, Анастасий.

— Хорошо, я прочту вам. Но только не свои стихи... Это стихи древних поэтов из Александрии, собрал которые Агафий-схоластик, ромейский ученый и поэт. Я перевел два маленьких стиха на ваш язык. И если стихи не понравятся вам, то виновен я, неискусный, а не славные поэты.

— Просим,— сказал Фахлабад и возлег поудобнее, приготовившись слушать.

Анастасий кашлянул, прочищая горло, и начал ровным голосом, стараясь передать плавность оригинала:

Я не гонюсь за венком из левкоев, за миррой сирийской,
Пеньем под звуки кифар да за хиосским вином,
Пышных пиров не ищу и объятий гетер ненасытных,—
Вся эта роскошь, друзья, мне ненавистна, как блажь.

Все слушали внимательно, тогда Спонтэсцил возвысил голос:

Голову мне увенчайте нарциссом, шафранною мазью
Члены натрите, мой слух флейтой ласкайте кривой,
Горло мне освежите дешевым вином Митилены,
С юной дикаркой делить дайте мне ложе любви!

Персы удивленно молчали. Их слуху были привычны богатырские песни, воспевающие войну и подвиги. Только Фахлабад, с вдруг оживившимся лицом, попросил:

— Еще!

— Хорошо. Еще одно,— спокойно ответил Спонтэсцил и понял, что волнуется.

Никто из нас не говорит, живя без бед,
Что счастием своим судьбе обязан он;
Когда же к нам заботы и печаль придут,
Готовы мы сейчас во всем винить судьбу *.

Спонтэсцил махнул рукой, взял полную чашу. Жадно и долго пил. А когда оторвался от чаши, встретил внимательный взгляд Фахлабада.

— Ты настоящий поэт, Анастасий,— тихо сказал маленький мервец, собирая в улыбку морщины на смуглом лице.

— Я же сказал, что это не мои стихи,— ответил Спонтэсцил.

— Но ты дал им жизнь на языке пехлеви. А дать стихам жизнь на другом языке может только настоящий поэт.— Фахлабад поднял чашу, обвел глазами всех и крикнул:

— Анастасию-гусану — хайом!

— Хайом!— громко отозвалось под сводами зала...

---

* Переводы Л. Блюменау из книги «Александрийская поэзия».

Борисов проснулся днем от настойчивого звонка у входной двери. Пошатываясь от слабости, пошел открывать.

Приехал Гриша.

— Слушай, Валька, у тебя действительно вид неважный,— сказал Шувалов, пристально глядя на него.

— А что я могу поделать. Просквозило, видно, где-то,— хмуро ответил Борисов и побрел в комнату, держась за стенку.

В комнате Шувалов выложил на стол пакет апельсинов, достал из портфеля скрепленные листки.

— Хорошая рецензия, Валя. Тут работы на неделю, так что поправляйся. У тебя вообще часто эти простуды?

— Да с тех пор, как бросил мотоцикл, не было. Черт, не ко времени. Извини, я залягу, а то шатает.

— Конечно, конечно. Сергей заедет завтра, наверное,— сказал Шувалов.

Борисов поморщился:

— Да не надо. Скажи ему, что все в порядке. Я сам, наверно, выйду через пару дней.— Борисову была мучительна мысль о встрече с Грачевым.

— Ты врача вызывал?

— Нет еще. Схожу сам позднее. Ну что там нового у нас? Я же неделю просидел в библиотеке.— Борисов впервые за сутки потянулся к сигаретам.

— Да что может быть нового...— Шувалов внимательно, даже с какой-то подозрительностью посмотрел Борисову в глаза, усмехнулся: — Знаешь, наверное, сам.

— О чем ты?— спросил Борисов тихо. От нескольких затяжек у него закружилась голова.

— Ты в самом деле ничего не слыхал?— Внимательно-удивленные и чуть насмешливые глаза остановились на миг на лице Борисова, будто сфотографиро-

вали, и сразу же скрылись под темными, тяжелыми веками, и лицо Шувалова с крупными, четко проработанными чертами повернулось в профиль и застыло, напоминая античную гемму.

Борисов вдруг разозлился:

— Да что ты, черт возьми... Не хочешь — не говори. — Он отвернулся, бросил сигарету в пепельницу, натянул простыню до подбородка.

Шувалов скрипнул стулом.

— Да ты не так меня понял, Валька. Понимаешь, тут, как бы тебе сказать... Словом, меня тащат на место ученого секретаря. Нефедов в сентябре на пенсию уходит.— Шувалов сказал это скороговоркой, помолчал и добавил уже медленно:— Я бы хотел, чтобы ты знал, что я здесь ни при чем; это директор захотел почему-то. Вот, чтобы потом для тебя это не было неожиданностью.

Борисов посмотрел на Шувалова. Тот все так же сидел, повернувшись в профиль.

— Н-да, ну и как тебе это предложение?— спросил Борисов.

— Да я понимаю, что это не совсем корректно, что ли. Все-таки я — без году неделя в институте. Да и по квалификации... Я сказал Сергею об этом, но пока так, под секретом. И тебя попрошу...

— Ладно, Гриша. Но послушай, кажется, ученый секретарь должен быть старшим научным сотрудником,— сказал Борисов и вдруг почувствовал, что этот разговор как-то странно интересует его. Он даже приподнялся на локте, ожидая ответа Шувалова.

— Был такой разговор... Сказали, что проведут через ученый совет, а впрочем, не знаю,— поспешно осекся Шувалов и потом добавил с явной досадой:

— И вообще, я ничего не знаю, кроме того, что вот хотят выдвинуть. Я для этого ничего не делал.— Скулы Шувалова потемнели.

— Да, конечно...

Какая-то тягучая дремотная задумчивость овладела Борисовым, глаза устремились в одну точку. Так бывает, когда силишься и не можешь вспомнить какое-нибудь слово, название; где-то в тугой на подъем памяти витают туманные контуры нужного слова, тень звука какая-то слышится и томит, томит неуловимостью.

— Да, конечно,— снова рассеянно повторил Борисов; нужное слово так и не далось памяти.— Ты ведь науку забросишь, Гришка, там ведь работы...

— Обещали создать условия. Но не это меня смущает,— осторожно сказал Шувалов.

— А что? — с любопытством спросил Борисов.

— Да все эти византийские сложности,— медленно, словно нехотя, отозвался Шувалов.— Знаешь же, там не только то, что на поверхности.

— Да, знаю.— Борисов помолчал.— Что ж, парень ты здоровый. Будешь бодаться с тем, что покажется неправильным. Тебе же нечего опасаться инфаркта.

— Нет, Валька, не буду. Я не собираюсь вести себя как хомо новус. Я не рвался на эту должность, меня пригласили. Ну, я согласен, раз это нужно. И не ради квартиры и докторской. Квартира мне не нужна, а диссертацию, рано или поздно, я сделаю сам. И не собираюсь я вдаваться во всякие византийские сложности.— Раздражение послышалось в голосе Шувалова.— Это меня не касается.

— Ну, не знаю, Гриша. Так, по-моему, никому не удавалось,— тихо сказал Борисов.

— Ну ладно. Еще ничего не случилось, может быть, и не будет, а ты на меня уже всех собак вешаешь. Я просто посоветоваться к тебе пришел по-приятельски. А тут хоть вообще рта не раскрывай.

— Постой-постой, Гришка. Я тебе, кажется, ничего еще не сказал. Это ты сам тут нагородил. Но если уж хочешь знать мое мнение, изволь.— Борисов сел на

постели. Он уже заранее испытывал сожаление о том, что сейчас скажет Шувалову, знал, что будет ругать себя потом за эту прямоту, но какой-то бес подталкивал его.

— Ну хорошо, скажи, что ты об этом думаешь,— все еще ворчливо проговорил Шувалов.

— Ты уж прости мне некоторую упрощенность, но это неизбежно. Мы же не конкретный какой-то поступок обсуждаем.— Борисов вдруг надолго умолк.

— Да ладно, говори.

— Но учти, это только мое мнение, и весьма шаткое. Понимаешь, мне кажется, в секретари можно идти только по двум причинам... По крайней мере, эти причины самые явные. Или идут в секретари для того, чтобы выбить себе квартиру и докторскую, или — для того, чтобы наладить дело, чтобы в институте люди могли нормально заниматься своей наукой. Третьего не дано, как говорили латиняне.— Борисов чувствовал, что краснеет, и поэтому вдруг разозлился. «Что я, должен, что ли, кому-нибудь?»— подумал он и, уже не сдерживая себя, стал говорить:

— А если ты пошел, как говоришь, потому что пригласили, то это и есть за квартиру и диссертацию, за книжечки с рекомендацией ученого совета. Ты не будешь иметь своего мнения, будешь соглашаться со всем, будешь послушным.— Борисов закашлялся и, отдышавшись, жестко закончил:— Отсутствие мнения, ничегонеделанье — тоже поступок, и часто он неплохо оплачивается.

Шувалов потемнел, но ответил спокойно:

— Ладно, посмотрим. Я только хотел, чтобы для тебя и Сергея это не было неожиданностью.— Он встал.— Ну, поправляйся.

После ухода Шувалова Борисов лег. Он чувствовал усталость, был недоволен собой.

«Ну что я на него напустился?— думал Борисов.—

Гришка — порядочный человек. Однако на его месте я бы не согласился. Да, легко, конечно, решать за другого... И вообще, пусть лучше Гришка на этом месте, чем какой-нибудь бездарный бронтозавр».

За окном было пасмурно. В сером свете комната с неприбранной постелью и разбросанной по стульям одеждой выглядела уныло и неопрятно.

Борисов заставил себя встать, медленно прибрался и сел к столу читать рецензию.

За три года работы в институте ему приходилось читать такие отзывы на чужие работы, но они не затрагивали чувств. А сейчас, читая традиционные, сдержанные похвалы, обкатанные формулировки, Борисов вдруг ощутил за ними жалость рецензента к нему, Борисову.

Рецензию писал старый профессор, добрый человек. Борисов уважал его за огромные знания, восхищался его человеческим обаянием, и тем горше было чувствовать, что профессор видит все убожество работы Борисова и лишь по доброте не режет ее. Чего стоила одна такая похвала: «Большим достоинством работы является то, что автор вводит малоизвестные ранее материалы зарубежной периодики...»

Что-то унизительное было во всей этой профессорской доброте, и, прочитав рецензию, Борисов почувствовал самоуничижительное раздражение.

«Так тебе и надо,— думал он.— Ешь. Не садился бы не на свой мотоцикл. А теперь уж, будь любезен, сноси эти плевки».

— Полчаса позора — и кандидат наук на всю жизнь,— вслух сказал Борисов.

Криво усмехнувшись, он отбросил листки и встал. Захотелось горячей еды, свежезаваренного чаю, но в доме, кроме черствого хлеба, ничего не было.

Борисов вышел на улицу, добрел до поликлиники.

Врач, пожилая внимательная женщина, спросила:

— Давно это у вас?

— Со вчерашнего дня.

Она молча выписала рецепт и больничный лист, протянула Борисову:

— Это будете принимать три раза в день. Если такое состояние не пройдет, то в поликлинику не приходите, вызовите домой.

Борисов поблагодарил и вышел.

Чтобы сократить путь до магазина, он пошел напрямик, через квартал еще не достроенных домов. Медленно, с усилием преодолевал кучи грунта, уже успевшего покрыться зеленью лебеды, перешагивал канавы и обходил ямы. Чахлые, кривые березки трепетали под ветром. Они помнили заболоченный пустырь, на котором теперь вырос этот большой, густонаселенный район. Было безлюдно и тихо, только с далекой магистрали доносились глухие шумы машин, да гнусаво пропел один раз сигнал электрички. Дышалось здесь легче, чем в прокуренной комнате, и насморк, казалось, прошел совсем. Борисов с удовольствием чувствовал, как проветриваются легкие.

У штабеля бетонных блоков он услышал тихое, тоненькое поскуливание. Борисов обошел штабель.

Маленький вислоухий щенок, скорчившись на островке зеленой редкой травы возле бетонных плит, тихо скулил. В этих слабых, высоких звуках было столько боли и беспомощной обиды, что Борисов остановился. Щенок перестал скулить и смотрел на него темными, печальными глазами. Лохматое ухо и черный блестящий нос были в запекшейся крови.

— Ну что, обидели? — спросил Борисов.

Щенок, прислушиваясь, наклонил голову набок, потом встал и вильнул хвостом с пушистым подвесом.

Борисов огляделся. Людей вокруг не было.

«Бездомный, наверно»,— подумал он и снова взглянул на щенка. Тот, подняв удлиненную голову, смотрел на Борисова и вилял хвостом.

Борисов наклонился и погладил коричневую спину с чуть заметным пробором на хребте. Шерсть у щенка была вьющаяся и шелковистая.

— Да, брат, худо тебе будет одному,— со вздохом сказал Борисов и пошел дальше.

Он шел и вспоминал детство. В послеблокадном городе не было животных, даже воробьи появились не сразу, а голуби развелись уже после войны. Кто из мальчишек тогда не мечтал о щенке или котенке. Кто из них не поделился бы вот с таким щенком хлебом, хотя есть хотелось так, что до сих пор памятно то болезненное чувство голода. Борисову вдруг стало жаль несбывшихся детских желаний. Размякший от этих чувств, он подошел к магазину. Когда входил в стеклянные двери, увидел, что щенок тоже идет к магазину забавной трусцой, слегка забрасывая вбок круглый, пушистый зад с поднятым пером хвоста.

И, стоя в очереди в кассу и потом — в отделы, Борисов видел щенка через стеклянные двери магазина.

С пакетиком колбасы, пачкой пельменей и бутылкой молока он вышел из магазина. Щенок сразу же встал и завилял хвостом. Борисов дал ему колбасы и пошел к дому. Уже свернув к парадной, он оглянулся. Щенок, переваливаясь на еще нетвердых лапах, ковылял за ним. Борисов остановился. Щенок подбежал вплотную, преданно заглянул в глаза.

— Ну пошли, пошли,— вдруг неожиданно для себя сказал Борисов и открыл дверь парадной.

В кухне Борисов налил в блюдце молока. Щенок стал лакать, деликатно, негромко чавкая, изредка захлебываясь. Борисов вскипятил воду, опустил пельмени и дал щенку еще колбасы.

Борисов ел, пил кипяченое молоко. Насытившийся щенок лежал тут же и благодарно поблескивал темными, как маслины, глазами. Борисов невольно улыбнулся.

Он вымыл посуду и пошел в комнату. Щенок затрусил следом.

— Ну, будем работать,— сказал Борисов и достал из ящика папку с диссертацией, а про себя подумал: «Обратного хода все равно нет; нужно доделать и избавиться».

Но, как всегда перед неприятным делом, было трудно сосредоточиться. Борисов курил, вертелся на стуле, перекладывал с места на место бумаги на столе, потом решил, что мало света, и, задернув шторы, включил настольную лампу. Пасмурный день отступил. В комнате стало уютнее. Борисов снова сел к столу.

Он вчитывался в слеповатую машинопись третьего экземпляра работы, ставил пометки на полях, морщился от неуклюжих словесных оборотов. Возникло такое чувство, что будто бы не он, а кто-то другой, невежественный и малограмотный, писал эту работу. Через пятьдесят страниц он почувствовал уныние и отвращение, закурил и отодвинул папку.

— Боже мой, какая беспомощная гнусь,— сказал Борисов сам себе. — Наплюют в физиономию.

Испуганно заскулил щенок, но смолк сразу же. Борисов повернул голову. Щенок спал, уткнув морду в передние лапы, концы ушей лежали на полу. Видимо, щенку снились его давешние обиды.

«Куда ж его теперь девать?» — растерянно подумал Борисов, представив себе недовольное лицо жены. Потом он подумал, что дочь будет в восторге.

— Ну не выгонять же тебя, псина,— сказал он щенку, но тот не проснулся, только шевельнул кончиком хвоста.

«Пусть останется,— решил Борисов. — Всю жизнь хотел собаку».

Он снова взялся за работу, но глаза машинально скользили по бледным, серым строчкам. Он не улавли-

вал содержания. Круг света на стопе бумаги и на столешнице напомнил о чем-то, взволновал.

Борисов вспомнил лицо Гриши Шувалова с чеканными чертами, глаза под тяжелыми, темными веками. Потом в памяти всплыло Танино лицо, тревожное, вопросительное, выступающее из сумятицы красно-коричневых бликов.

— У-у-у,— простонал Борисов и, резко отодвинув стул, поднялся. Щенок испуганно встрепенулся.

— Спи, спи,— сказал Борисов, и щенок снова опустил голову.

«Не могу, не могу я заниматься этим,— с яростной горечью думал Борисов.— Не мое это, и будь что будет!»

Он снова сел, бездумно уставился на страницы с бледной машинописью. И снова к нему пришел Анастасий Спонтэсцил, но не тот незаметный библиотекарь царя царей Хосроя Второго, которому покровительствовал младший Бавендид, потому что Спонтэсцил был дальним родственником царицы...

...В изящной оливковой куртке из кожи антилопы, с драгоценным кинжалом у пояса, по внутренним покоям и крытым дворикам ктезифонского дворца Сасанидов твердой походкой воина шел любимец шаханшаха, хранитель дворцовой библиотеки, ученый и поэт Анастасий Спонтэсцил. Завесы проходов откидывались перед ним услужливыми руками. Лица придворной челяди — евнухов, писцов, виночерпиев, телохранителей — заискивающе и подобострастно поворачивались к нему. Страшен был и непонятен этот человек поднаторевшим в интригах царедворцам, ибо был он одарен дружбой шаханшаха, но ничего не просил. Лица придворных вытягивались от напряжения, и уши поворачивались в сторону крытой террасы, которой заканчивался библиотечный зал, когда царь царей и час и два просиживал один на один со своим библиотекарем за игрой в шатрандж.

Долгими взглядами провожали царедворцы стройного человека в оливковой кожаной куртке... Какие мысли нашептывает он шаху, когда остается с ним один на один? Почему он до сих пор не стал ни спахбедом, ни чиновником? Милости шаханшаха снисходят на того, кто их просит. Непонятный человек — страшный человек. Любимого жеребца масти чистого золота подарил этому человеку шах. Такого подарка не получали даже славные вазирги. Странный человек, непонятный человек. Зачем шах звал его в тронный зал и беседовал с ним долго наедине, сидя на подушках у подножия трона? Никогда еще иноверцы не допускались в тронный зал без парадного приема, без «церемонии уважения», никогда еще шах, как простой писец-диперан, не сидел на подушках у откинутой завесы трона. Никто не должен видеть пустым священный трон Сасанидов.

Хранитель библиотеки царя царей, воин и поэт, сын ромейского патрикия Анастасий Спонтэсцил шагал по дворцовым покоям, и шепот полз ему вслед...

Борисов откинулся на спинку стула и почувствовал знакомый холод внутри. Перед ним проходила вся история молодого ромея, его быстрое возвышение при дворе шаханшаха, его удачи. Все мелькало отрывками, туманными сценами: лица, слова, движения рук, блеск глаз. В миг, сверкнувший в этой тесной комнате блочного дома, вместилось два первых года седьмого века «от рождения спасителя», и Борисов с тревожной радостью понял, что история Анастасия Спонтэсцила приходит к завершению. И вдруг с пугающей вещественной ясностью он увидел конец. Эта ясность была нестерпима. Борисов придвинул чистый лист бумаги и стал писать.

Он попытался передать глубину темно-красного, глубокого тона библиотечных ковров, столбы солнечного

света из верхних окон зала и журчание фонтана, слышное из дворцового сада, но слова были только словами, они не передавали того, что видел Борисов. Он зачеркивал и писал снова...

...Анастасий Спонтэсцил вошел в библиотеку, и мальчик-диперан склонился перед ним. Уже не было в его глазах затаенной насмешки над хранителем библиотеки,— лицо диперана было внимательно и выражало готовность исполнить приказание.

На прохладной, тенистой террасе, как всегда, был приготовлен низкий сирийский столик с книгами, чистой бумагой и чернильницей.

— Убери,— коротко бросил Спонтэсцил, и диперан бесшумно и быстро подхватил и вынес столик с террасы.

Анастасий Спонтэсцил опустился на подушки.

Был Урдибихишт — второй месяц весны тринадцатого года царствования шаханшаха Хосроя Второго.

Много событий произошло в мире. Пал и был казнен император Рума Маврикий. На ромейский престол Константина Великого сел полуграмотный безродный центурион Фока. И война началась между Эраншахром и Румом. Шаханшах мстил за смерть своего тестя, а заодно старался вернуть отторгнутые города на западе. Но судьба была милостива к Спонтэсцилу: шаханшах неизменно благоволил к нему.

Анастасий сам не мог бы объяснить причину благосклонности шаха. С тех пор, как на празднике Ноуруз он был Худжестэ, царь царей полюбил его. И все придворные сразу стали выказывать скромному библиотекарю свое расположение. Анастасий ничего не просил, он был доволен своим положением. Он знал, что возвысится сам.

С тех пор как на празднике у Бавендида Азада Фахлабад пропел о великом Рустаме, появилась у Спонтэсцила мечта сложить свою поэму о богатыре. Только

не так, как сделал это Фахлабад, пусть он и славный поэт. Анастасий в своей поэме мечтал открыть тайну этой земли, тайну, по которой всякий, пришедший в Эраншахр,— даже его покоритель,— становился персом.

Спонтэсцил слушал гусанов на рыночных площадях, записывал их песни о Рустаме; слушал свободных воинов — азатов и придворных поэтов, а тайна легенды арийской земли не давалась ему, но он знал, что откроет ее.

Да, Анастасий Спонтэсцил верил в свою мечту. Но круто изменилась его судьба со вчерашнего дня.

Хранитель библиотеки царя царей задумчиво глядел с террасы в тенистый, зеленый сумрак дворцового сада, и перед ним проходил вчерашний день.

Легкий, освежающий ветер прилетел на террасу библиотечного зала, теребил рукав рубашки шаханшаха из переливчатого тонкого шелка. Тени ветвей мелькали по клетчатой красно-белой доске.

Шаханшах играл в шатрандж со своим библиотекарем.

Шаханшах проигрывал.

Белые всадники и фируз Спонтэсцила теснили черных воинов. Но шаханшах был задумчив и против обыкновения не огорчался.

Спонтэсцил сделал ход и молча ждал. Шаханшаху ходить было некуда, он понял, что проиграл. Глаза его, длинные, блестящие и зоркие, прищурились. Он взял фигуру из дымчато-черного камня и положил ее на доску лицом вниз. Потом снова взял в руку эту фигурку игрушечного шаха и, взглянув на Спонтэсцила, с усмешкой сказал:

— Шах всегда думает, что он шах,— он погладил фигурку, увенчанную короной,— и всему голова. И когда он так думает, он проигрывает, гибнет, потому что шах это не просто кулах-корона, а фируз, и солдаты, и азаты,

и все остальные. И шах должен помнить это. И еще он должен помнить, что если он — шах и фарр божественной удачи сияет вокруг его головы, то он не может надеяться на любовь. — Царь царей поставил фигурку игрушечного шаха на доску.

Анастасий Спонтэсцил молчал, он умел слушать.

Чуть слышно шелестели ветви, журчал фонтан.

— Он не может надеяться на любовь,— повторил шаханшах,— потому что никто не будет любить его бескорыстно. Всем что-нибудь нужно. На бескорыстие способен лишь тот, кто ничего не желает.

— Я доволен всем, что есть, и ничего не желаю, шаханшах,— с легким, небрежным, дозволенным только любимцу поклоном сказал Спонтэсцил.

— Я знаю, мой Анастасий, знаю. — Шаханшах улыбнулся ласково, но в удлиненных зорких глазах все так же блестел холодный огонь — так отсвечивает занесенный меч при луне.

Спонтэсцил промолчал, стал снова расставлять фигуры на доске.

— Но я хотел бы лучшей участи для тебя, мой Анастасий,— после паузы сказал шаханшах. Он взял со столика рядом чашу с прохладным гранатовым соком, но пить не стал.

— Я часто думал, мой Анастасий, о том, что такое поэт. Я смотрел на тех, кто громким голосом старается перекричать рубаб и в тысячный раз сравнить меня с солнцем, и думал: кто они, если они поэты? Разве поэт тот, кто в море лживых слов стремится спрятать крупицу правды? Разве тот — поэт, кто прячет лицо за грязной материей и на базарной площади осуждает жестокость, а дай ему власть, и он будет убивать? — Шаханшах поднял чашу, долго пил, и на горле под короткой бородкой подрагивал острый кадык.

Спонтэсцил молчал, волнение входило в него.

Шаханшах поставил чашу, вздохнул печально.

— Поэты рождаются редко, мой Анастасий. Сколько великих царей, воинов и простолюдинов пришло и ушло. И мы забыли их имена, их дела. Все исчезает в башне молчания. Но осталось имя Зардушт. Сколько еще таких имен осталось? Поэтом был царь иудеев Идад. Поэтом был ваш распятый Йехошу. — Шаханшах снова глубоко вздохнул.

Спонтэсцил прерывисто дышал, тревожное, радостное предчувствие охватило его.

— Вот, всего несколько имен осталось в памяти людей. Поэт — лишь тот, кто дает людям новую душу. А эти,— шаханшах презрительно махнул рукой куда-то в сторону дворцовых покоев,— у них у самих вместо души старый тусклый дирхем. Я заплачу им, и они сравнят моего коня с богом. Настоящий муж должен делать то, что по силам ему на земле. Настоящий муж — который может руководить делом, удержать женщину, устраивать землю, наказать и повергнуть преступного. Настоящий муж владеет своим гневом и своим мечом, и ему охотно подчиняются слабые и страждущие, а также животные. Об этом говорил Зардушт. А эти, что за горсть монет сострадают сирым и восхваляют сильных,— они не мужи. Когда же муж, которому покоряются люди и животные и в руке которого сила, чувствует сострадание, это сострадание имеет цену, которую не оплатишь дирхемами.

Спонтэсцил молчал. Шаханшах долго смотрел в зеленый сумрак дворцового сада, потом сказал, тихо, ласково, но твердо:

— Ты — настоящий муж, Анастасий. И другая у тебя участь. Ты должен руководить людьми к их благу. — Шаханшах посмотрел ему в глаза.

Анастасий Спонтэсцил не выдержал пронзительного взгляда. Опустив голову, он тихо сказал:

— Речь твоя мудра, шаханшах. Я готов выполнить твою волю.

— Потом, потом, мой Анастасий. Я хочу, чтобы слова мои запали тебе в сердце и повернули его к делу, достойному мужа. Я люблю тебя, мой Анастасий, как сына. Я знаю, что ты славного рода. И я назову тебя своим сыном.

Спонтэсцил встал и склонился перед шаханшахом. Это была неслыханная честь — стать сыном царя царей.

— Сядь, мой Анастасий,— шаханшах улыбнулся.

— Нет у меня слов, чтобы благодарить тебя, шаханшах. Я не достоин такой милости.

— Если слова мои станут истиной в твоем сердце, мне не надо другой благодарности. — Шаханшах опустил голову и, глядя исподлобья, тихо спросил:

— Царица Мириам говорит, что ты очень похож на Феодосия, сына несчастного брата моего, кейсара Рума Маврикия. Правда это? — Шаханшах поднял голову, в упор посмотрел на Спонтэсцила.

Вопрос был неожиданным.

Мгновение длилась тишина.

— Я мало видел покойного Феодосия,— стараясь скрыть волнение, охватившее его, ответил Спонтэсцил. — Царевич был младше меня на два года, но ростом мы были одинаковы. Он был умелый наездник и воин...

Анастасий Спонтэсцил прервал свою речь, ему не хватало дыхания.

Шаханшах встал, расстегнул пояс с тонкими чеканными бляхами, на котором висел драгоценный кинжал, и положил его на середину клетчатой доски.

— Этот кинжал подарил мне кейсар Рума Маврикий. Я дарю его тебе, сын мой.

Шах резко повернулся и пружинистым шагом пошел через зал библиотеки.

В комнате плавал густой табачный дым, но Борисов не замечал этого. Он старался описать то, что виделось, передать словами блеск граней на рукояти драгоценного кинжала, фактуру хорасанского ковра, покрывавшего террасу. Он описывал чеканные черты лица Спонтэсцила, горбоносое, живое лицо шаханшаха с орлиными, зоркими глазами.

Получалось плохо. Болезненное недовольство щемило сердце, томило, как во сне, когда силишься достать рукой что-то желанное, и близко оно, но все не можешь дотянуться, а сердце томит неисполнимым желанием. Но Борисов не мог остановиться, азарт овладел им...

...Анастасий Спонтэсцил лежал на подушках террасы и чувствовал усталость и холод, хотя светило солнце и день был тихий и теплый.

Анастасий Спонтэсцил повернулся на бок, облокотился на подушки. Что-то жесткое уперлось в грудь под курткой. Он распахнул ворот. На золотой цепи висел массивный кулон с рельефным изображением льва — знак высокого военно-чиновничьего звания в Эраншахре. Спонтэсцил запахнул ворот. Он еще не привык к этому знаку. Только несколько минут назад его шея почувствовала тяжелую золотую цепь... Как круто повернулась судьба. Еще утром у него были лишь смутные предчувствия...

Утром пришел диперан. Шаханшах требовал к себе хранителя книг.

Анастасий Спонтэсцил вслед за посланцем прошел по дворцовым переходам, хотел повернуть в крытый дворик с фонтаном, где шаханшах занимался обычно делами и принимал приближенных, но посланец молча указал на вход в тронный зал. У Спонтэсцила тревожно перехватило горло.

Мимо закованных в черное железо «бессмертных» — личной охраны шаханшаха — прошел он сводчатую широкую арку и вступил в тронный зал.

Солнце тысячами красных, нестерпимых лучей ударило в глаза, ослепило. Спонтэсцил знал, что стены зала, выложенные сплошь плитами серебра, отражают свет, тысячекратно усиливая его. Зал был открыт небу.

Анастасий Спонтэсцил повернулся к гранатово-красной завесе перед троном царя, и в этот же миг его оглушил низкий протяжный крик, усиленный множеством глиняных труб, вделанных в стены. Крик был нестерпим, отзывался болью в ушах.

— СЛУШАЙ-ай,— подхватило эхо.— СЫН МОЙ-ой!..

Сын ромейского патрикия, хранитель дворцовой библиотеки Анастасий Спонтэсцил с вытянутой вперед в персидском приветствии рукой распростерся лицом вниз перед кроваво-красной завесой трона царя царей.

Потом длилась и длилась тишина. Она давила на спину распростертого Спонтэсцила, и страшной, гнетущей была огромная пустота тронного зала.

С тихим шорохом отошла завеса перед троном.

— Встань, сын мой,— раздался уже обыкновенный, спокойный голос шаханшаха.

Спонтэсцил встал.

Шаханшах сидел на золотом троне Эраншахра.

Горбоносое лицо с орлиными глазами было неподвижно.

Анастасий Спонтэсцил молча смотрел на царя царей.

Улыбка скользнула по лицу шаханшаха. Он легко, как с седла, соскочил с трона, опустился по трем ступеням и сел на «подушки совета», на которых во время церемоний восседали вазирги и спахбеды.

— Сядь, сын мой.— Шаханшах указал на место рядом с собой.

Анастасий Спонтэсцил молча повиновался.

— Ты думал о том, что я сказал? — тихо спросил шах.

— Да, шаханшах, мудрость твоя вошла в мое сердце, и я готов следовать ей,— сказал Спонтэсцил. Он знал, что царь царей не ждет иного ответа.

— Я счастлив, сын мой. Высокая и трудная доля ждет тебя. Великий Рум после смерти брата нашего кейсара Маврикия погрузился во тьму беспорядков. Неправедный стал над праведным, и льется невинная кровь. Только законный кейсар может спасти Рум. Брат мой Маврикий помог мне тринадцать лет назад спасти Эраншахр. Теперь я помогу спасти Рум.

Спонтэсцил молчал.

Шах долго смотрел ему в глаза нестерпимо пронзительным взглядом, потом тихо-тихо сказал:

— Сын кейсара Маврикия, кейсар Рума Феодосий, жив. Я назвал его своим сыном, я помогу ему вернуть престол и корону.

Спонтэсцил вздрогнул.

— Тебе пора учиться властвовать, сын мой. Забудь все, что было... даже имя свое... Ты понял, сын мой? — Шаханшах быстрым движением выкинул руку, схватил Спонтэсцила за кожаную куртку на груди и, притянув к себе, шепотом повторил вопрос:

— Ты понял?

— Ты это сказал, шаханшах. Да будет воля твоя,— срывающимся шепотом ответил похолодевший Спонтэсцил.

— Так хотят боги. — Шах опустил руку и громким, повелительным голосом сказал:

— Канарангом Дер-бенда назначаю тебя, сын мой. Ты замкнешь гунские ворота, чтобы ни один враг не прошел в Эраншахр, пока мое войско не спасет Рум от тирана Фоки. А потом... потом я позову тебя. Учись властвовать, руководить войском. Укрепления Дер-бенда — подножье престола.

Сын ромейского патрикия, хранитель ктезифонской дворцовой библиотеки Анастасий Спонтэсцил распростерся перед царем Эраншахра.

Из двух боковых проходов сразу вошли «начальник записей» Эраншахра и «начальник дворца — хранитель печати».

Шаханшах сделал знак рукой. «Начальник записей» развернул пергамент.

Анастасий Спонтэсцил не слушал скорого чтения писца. Сердце билось часто и громко.

Канарангом Дер-бенда и Чога будет он, и двенадцать «бессмертных» жалует ему шаханшах для личной охраны, и три тысячи войска с боевыми слонами будет у него.

Большую «печать закрепления» приставил к пергаменту «начальник дворца» и надел Спонтэсцилу на шею львиный кулон...

Он отправился в путь на рассвете, как велел шаханшах.

Во тьме проехали поля за городской стеной, миновали редкие дехи — деревни земледельцев.

Солнце застало их в степи. Отцветали мелкие дикие маки. Впереди, на темном еще горизонте, маячили горы. Рядом с лошадьми слева качались лиловые тени.

Анастасий Спонтэсцил ехал на стройном жеребце масти чистого золота. Рядом, отстав на полкорпуса, ехал мальчик-диперан из дворцовой библиотеки, теперь личный секретарь Спонтэсцила.

Двенадцать закованных в черное железо «бессмертных» скакали, окружив канаранга кольцом. Впереди, в полуполете стрелы, на рысях шла конвойная сотня азатов, а позади растянулся обоз канаранга; на ослах и верблюдах ехали рабы: слуги и повара. Во вьюках были книги, утварь, ковры и еда. На белом верблюде покачивалась тонкая фигура с закрытым лицом.

Ее привели перед самым отъездом. Шаханшах прислал канарангу Дер-бенда наложницу из своего гарема. Уже держась за поводья, Спонтэсцил откинул покрывало с ее лица. Раб услужливо поднес факел. Девочка-армянка испуганно смотрела неподвижными синими глазами. Ей было не больше десяти лет. Спонтэсцил опустил покрывало.

Глухо стучали копыта по степной земле. Солнце поднималось справа из-за зубчатых гор.

Задумчив был канаранг Дер-бенда. Молча в черных доспехах ехали «бессмертные» вокруг. И тогда пришла песня.

Запели азаты впереди. Песня заполнила горизонт, на котором маячили горы, она покачивала всадников под топот коней.

Спонтэсцил слушал.

Дрожат лошадиные ноздри, свистят смертоносные персидские стрелы. Как колосья под сталью серпа, падают туранцы под сверкающим мечом Рустама. И ревут боевые слоны, и топот их сотрясает землю...

Песня качала в седле, и тяжесть меча ощущалась на поясе.

Дрожали степные кровавые маки, волновалась трава.

Вот она! Наконец он услышал свою поэму. Именно этой песни не хватало ему. Записать!

Сын ромейского патрикия, поэт Анастасий Спонтэсцил потянулся к седельному карману, но отдернул руку. Канарангу Дер-бенда не пристало писать и читать: у него есть секретарь. И зачем ему песня азатов. Ему ничего не нужно.

Анастасий Спонтэсцил нахмурился.

Начальник «бессмертных» заметил, как сошлись брови канаранга. Пришпорив коня, он догнал азатов. Они перестали петь.

Маячили впереди темные горы. Дрожали степные кровавые маки.

Канаранг Дер-бенда ехал к Гирканскому морю. И красное, дымное солнце висело за его правым плечом.

Борисов встал из-за стола, потянулся, расправляя плечи. Он очень устал. А когда откинул штору, увидел, что уже утро нового дня. Растворив окно, он вдохнул прохладный воздух.

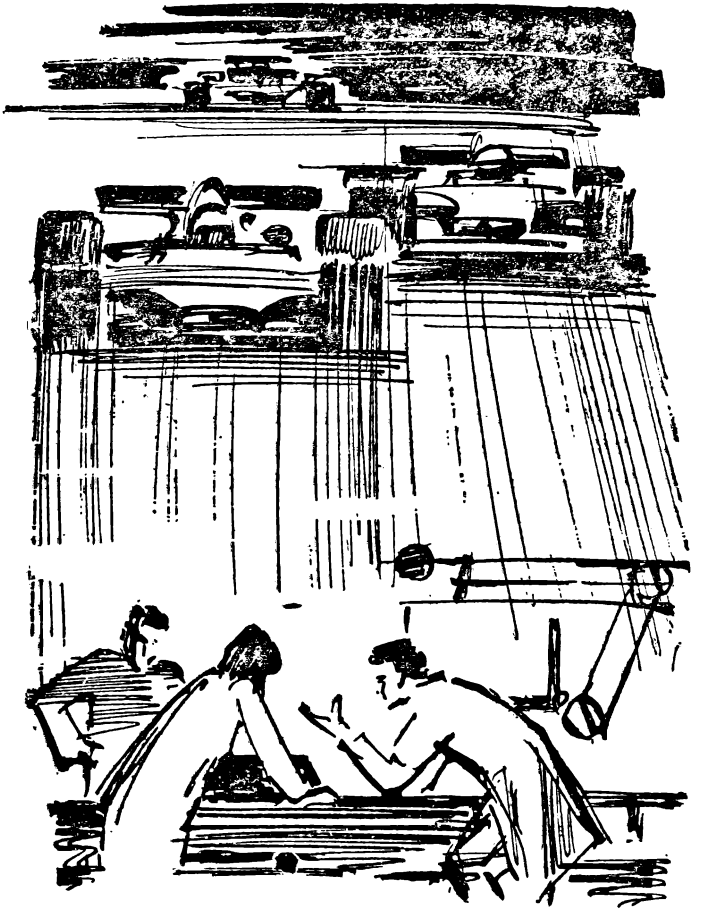
Щенок заскулил и напустил лужицу. Борисов принес из кухни тряпку и стал вытирать паркет.

Под взмахи тряпки, сама по себе, выбормоталась строка:

«Прощай, Дербент! Я не приеду больше...»

Борисов чувствовал печаль и был, кажется, счастлив.

ИСПЫТАНИЯ



1

...Он сидел на ступени бетонной лестницы, сжимал в ладони секундомер и, прищурив глаза от слепящего солнца, смотрел туда, где у старта-финиша, медленно подползая, выравнивались красные, синие, желтые сигары с крупными цифрами на бортах и капотах. Басово взревывали на прогазовках двигатели. Стартовая черта на асфальте, нанесенная нитрокраской, казалась добела раскаленной полосой металла. Игорь Владимирович не отрывал взгляда от машин, видел, как судья-стартер прошел по этой полосе раскаленного металла, выравнивая строй.

Блестели эмалью шлемы гонщиков, стекла очков, закрывавших лица. Голос судьи-информатора, искаженный плохим усилителем и поэтому казавшийся механическим, покрывая рев моторов, монотонно объявлял: «Номер одиннадцатый, мастер спорта Клеманов, спортклуб армии, автомобиль конструкции Таллинского ремзавода. Номер четвертый, мастер спорта Батурин, Московский автозавод, опытная конструкция. Семнадцатый, Галимов, первый разряд, Уфимский моторостроительный завод, конструкция СКБ завода. Номер пятый, Левченко, кандидат в мастера; номер шестой, Дерюгин, кандидат в мастера: оба — Горьковский автозавод, автомобили заводского КБ...»

Механический голос информатора то слабел, пропадая в шорохе и писке помех, то вновь возникал над ступенями, служившими трибуной для немногочисленных зрителей.

Игорь Владимирович почти не слушал информатора, он и так знал почти всех участников, знал и всех, кто сидел рядом с ним на бетонных ступенях пологой широкой лестницы, спускавшейся со склона насыпного холма, вокруг которого проходила кольцевая трасса. В кратере этого гигантского холма была спортивная арена и места для сотни тысяч зрителей с общей длиной скамеек больше тридцати километров. Но стадион пустовал в этот утренний час, а здесь, на зеленых наружных склонах холма и на лестницах, расположились те, кого интересовали результаты кольцевых гонок.

Солнце было нещадно ярким и горячим, даже легкий ветер с залива, скрытого от глаз кронами молодых деревьев, не приносил прохлады.

Ревели, стреляли двигатели. Механический голос информатора все так же монотонно перечислял: «Номер девять — кандидат в мастера Долгов, Ленинградский карбюраторный завод, модернизированный автомобиль таллинской конструкции...»

Игорь Владимирович искоса посмотрел на сидящего рядом Аванесова: «девятка» — это была аванесовская конструкция. На большой голове Аванесова каким-то чудом держалась белая полотняная кепочка, из-под курчавых черных волос по виску и щеке стекала блестящая струйка пота.

«Ишь, скромно как — „модернизированный таллинской конструкции“, — подумал Игорь Владимирович. — Знаю, какая там у тебя модернизация».

Аванесов, будто почувствовав что-то, повернулся, блеснув белками больших, навыкате глаз, лукаво подмигнул и снова стал смотреть на старт.

«Номер двенадцатый, мастер спорта Райюнчус, Ленинградский политехнический институт, автомобиль конструкции опытной лаборатории...»

Тут Игорь Владимирович почувствовал на себе взгляд Аванесова, в свою очередь повернулся к нему и подмигнул.

«Номер двадцать первый — спортсмен второго разряда Яковлев, комитет ДОСААФ четвертой конторы стройМеханизации, Ленинград, выступает на автомобиле собственной конструкции...»

Справа от него засмеялись, кто-то громко сказал:

— Надоело мальчику на заднем дворе кататься.

Игорь Владимирович поискал глазами в шеренге машин у стартовой черты и увидел, через ряд от своей голубой двенадцатой, грязно-желтый низкий автомобиль со странным клиновидным кузовом и черными цифрами на борту.

— На этом утюге только яйца возить,— продолжал голос справа.

«Номер двадцать семь, спортсмен первого разряда...» — голос информатора потонул в свисте и треске помех.

Игорь Владимирович все рассматривал странный двадцать первый. Действительно, кузов был похож на утюг... Нет, скорее — на колун. Передние колеса были разнесены на трубчатых балках, задние стояли почти вплотную к широкой части кузова, где был установлен двигатель. Он подумал, что форма кузова не так уж нелепа, видимо, этот клин обеспечивает хорошую устойчивость и достаточно обтекаем. Потом Игорь Владимирович обратил внимание на колеса почти прямоугольного профиля с широким протектором.

«Маловаты по диаметру, оборотов не хватит, наверное»,— подумал он и понял, что эта странная машина чем-то уже нравится ему. Его глаз конструктора что-то уже заметил в формах этого автомобиля, уже старался

угадать расположение и устройство агрегатов под грязно-желтым неказистым кузовом.

— Каро, программка есть? — нагнувшись вперед, спросил он Аванесова.

— Зачем тебе программа? Что, есть неизвестные действующие лица? Ты же сто раз смотрел такой спектакль,— в своей обычной шутливой манере отозвался Аванесов.

— Дай, хочу предварительные заезды посмотреть,— нетерпеливо протянул руку Игорь Владимирович.

— Вот так поступают уверенные в победе люди — приходят прямо на финал. — Аванесов дал ему сложенную гармошкой программу.

Игорь Владимирович взглянул на старт, понял, что до начала заезда еще не меньше минуты, так как не видно машины начальника дистанции, и развернул программу. Листок тонкой бумаги затрепетал на ветру. Среди колонок фамилий и цифр, набранных мелким бледным шрифтом, Игорь Владимирович отыскал номер двадцать первый. По сумме предварительных заездов этот новичок был на седьмом месте. Войти в подгруппе в первую десятку — это был великолепный результат для самодеятельного конструктора. И уже с любопытством Игорь Владимирович стал смотреть результаты отдельных заездов. О своем двенадцатом он знал и так: Альгис Райюнчус — один из лучших гонщиков страны — точно выполнял тактические установки Игоря Владимировича и держался в каждом заезде третьим-четвертым. Незачем было до финала демонстрировать все возможности новой машины.

Любая кольцевая автогонка — это прежде всего спор техники, спор конструкторов, хотя мастерство гонщика и тактика тоже значат немало. И вот что удивило и насторожило Игоря Владимировича: машина под номером двадцать один во всех предварительных заездах держалась на девятом-десятом месте, а по положению о со-

ревнованиях в финал выходили участники, занявшие в своей подгруппе первые десять мест. Двадцать первый в шести заездах выдерживал эту тактику, потом, в седьмом заезде, его обошли — досталось одиннадцатое место... Вот тут и было самое любопытное... Набранная мелким бледным шрифтом программа говорила о том, что грязно-желтый автомобильчик со странным клиновидным кузовом тоже таит в себе секреты. В двух последних заездах двадцать первый приходил вторым, пропустив вперед только опытного гонщика горьковского завода. И хотя средние скорости в предварительных заездах были небольшие, но это уже о чем-то говорило.

«Испугался, видно, что в финал не попадет, вот и поднажал, да чересчур увлекся»,— подумал Игорь Владимирович, уже с уважением поглядев на двадцать первого. Лицо гонщика закрывали очки, а шлем только у него одного был «нефирменный»: не покрытый эмалью, как у остальных, а простая коричневая «черепашка» с козырьком, какие носят проходчики метро и шахтеры.

Наконец показался «Москвич» начальника дистанции с красными флажками на переднем бампере. И рев моторов усилился, стал стройнее. Люди, сидевшие на ступенях, подались вперед. Судья-стартер отошел в сторону и поднял свой флажок.

Игорь Владимирович суеверно отвел глаза от машин, так, чтобы видеть только флажок. Рев двигателей нарастал и ширился. И когда судья дал отмашку, Игорь Владимирович нажал на головку секундомера. Уже не ревом, а громом наполнился жаркий воздух гоночной трассы.

Машины рванулись нестройным и пестрым потоком, вошли в плавный правый вираж и скрылись из виду. Игорь Владимирович только успел заметить, что «девятка» и его двенадцатый хорошо взяли старт. Теперь главной задачей было оторваться от массы, получить свободу маневра. Рев двигателей удалялся вправо, пере-

ходил в ровный низкий гул. Все напряженно молчали. Здесь, на лестнице, против старта-финиша и двух самых трудных поворотов кольцевой трассы, не было случайных зрителей: только механики, конструкторы, гонщики. И они знали, что сейчас там, на прямых участках, машины вытянулись в линию, уже определился лидер и время, с которым он пройдет первый круг, задаст темп гонки.

Игорь Владимирович раскрыл ладонь, стрелка секундомера еле уловимыми толчками двигалась по кругу. Вот ее вороненое жало пересекло нижнюю вертикальную черточку с цифрой тридцать. Гул моторов был теперь еле слышен.

«Почему молчит информатор?» — с внезапной тревогой подумал он.

И, словно откликаясь, зашипел динамик вверху на столбе. Механический монотонный голос сообщил: «От наблюдателей пока не поступило сообщений о ходе гонки». Потом голос вдруг обрел какой-то энтузиазм и заторопился, проглатывая слова: «Но, уважаемые зрители, я пока расскажу вам, что происходит обычно на трассе.

Сейчас гонщики идут по прямым участкам, по участкам с плавными виражами и стараются развить наивысшую скорость: все хотят подойти к первому повороту „площадь“ как можно раньше... Счет идет на секунды. И чем меньше машин, тем легче проходить поворот, можно выбрать самый выгодный радиус, и это даст выигрыш... Внимание! Внимание! Первое радиотелефонное сообщение судьи-наблюдателя. Гонщики вышли на северную прямую. Лидирует номер девять, Долгов, Ленинградский карбюраторный завод. Сразу же почти без просвета идет машина под номером двенадцать, гонщик Альгис Райюнчус. Это очень опытный мастер, и думаю, что пока он просто бережет двигатель, следуя в полосе разреженного воздуха. Третьим идет молодой спортсмен Яковлев на машине номер двадцать один, он представ-

ляет свою первичную организацию ДОСААФ конторы строймеханизации. Очень приятно, что наша спортивная молодежь смело вступает в спор с маститыми мастерами. Далее с интервалом пятнадцать — двадцать метров идут гонщики горьковского автозавода — номер шестой, кандидат в мастера Дерюгин, и номер пятый, Левченко, тоже кандидат в мастера. Видимо, тренер дал им общее тактическое задание. Эта группа лидеров оторвалась от остальных участников приблизительно на сто — сто двадцать метров. Посмотрим, как будут развиваться события. Борьба, товарищи, еще вся впереди... Далее участники расположились на трассе в следующем порядке: номер семнадцатый, Галимов...»

Игорь Владимирович уже не слушал информатора. Рев моторов стал нарастать и приближаться слева, потом послышался пронзительный свист резины. Это лидеры входили в поворот «площадь». С лестницы не было видно ни поворота, ни машин, но Игорь Владимирович хорошо представлял себе, как красная «девятка» с ходу вписывается в крутой вираж, чуть притормаживает на середине закругления и снова прибавляет газ, уносясь по внешней асфальтовой полосе трассы. Потом в вираж идет Альгис, спокойно, не пользуясь тормозами, плавно, потому что нужно беречь резину. Перед самым началом Игорь Владимирович вместе со своим гонщиком углядели, что на «девятке» стоят новые баллоны фирмы «Мишлен» — лучшая резина для гоночных машин. Видимо, пробивной Аванесов расстарался где-нибудь в НИИ. Еще бы, за ним целый завод союзного значения, есть что пообещать, на что выменять...

«В группе лидеров перемещений пока нет — впереди девятый, Долгов, за ним двенадцатый, Райюнчус, Ленинградский политехнический, и следом идет молодой спортсмен из конторы строймеханизации Яковлев на автомобиле собственной конструкции, он даже немного уменьшил интервал, почти вплотную подтянулся к Рай-

юнчусу. Подумать только! Товарищи! Самодеятельный конструктор на равных — пока на равных! — конкурирует с заводскими и институтскими КБ. В случае, если молодой спортсмен войдет в первую пятерку, он выполнит норматив кандидата в мастера. Но борьба еще впереди, товарищи зрители. Еще не раскрыли свои технические возможности лидеры, да и горьковчане пока ведут только тактическую борьбу...»

Когда справа снова послышался нарастающий рев моторов, Игорь Владимирович взглянул на секундомер. Стрелка завершала свой бег по кругу.

«Что-нибудь одна и пятьдесят будет,— подумал он.— Значит, скорость где-то сто пять — сто семь... Неплохо совсем для первого круга».

Рядом тоже смотрели на секундомеры, шелестели самодельными табличками средних скоростей на круге. Ему не надо было заниматься вычислениями, он на память знал эти цифры. Никому еще не удавалось пройти кольцо быстрее, чем за полторы минуты. Три тысячи двести шестьдесят метров и три труднейших виража за полторы минуты: это значило, что средняя скорость прохождения круга — сто тридцать километров в час. Сегодня Игорь Владимирович рассчитывал внести в эти цифры свои коррективы.

Пекло солнце, асфальт трассы блестел. И все громче становился рев, приближающийся справа.

Теперь все смотрели в короткую поперечную асфальтовую аллею, которая соединяла внешнюю и внутреннюю дороги трассы. За разделительной полосой деревьев не было видно машин, идущих вдоль Малой Невки, но воздух уже сотрясался от дыхания мощных гоночных моторов, и ветер с залива принес запахи горелого масла и бензиновой копоти. Эта аллея получила у гонщиков прозвание «аппендикс». Внешняя дорога трассы сопрягалась с «аппендиксом» закруглением очень маленького радиуса — это был самый трудный поворот, здесь все были

вынуждены тормозить, теряли скорость, а самые ретивые иногда переворачивались. В узкой короткой аллее трудно было после поворота набрать хорошую скорость, а на пути был следующий вираж. Справа от гонщиков оставалась стартовая черта, машины делали левый поворот и уходили на внутреннюю полосу трассы. И так двенадцать кругов и отрезок дороги от «площади» до финиша — всего сорок километров, сорок тысяч метров, всего-то чуть больше восемнадцати минут, чуть больше тысячи ста секунд. Но за этими секундами были годы работы конструкторов, изнурительные тренировки гонщиков, риск и расчет и, главное,— новое знание.

Рев моторов превратился в мощный гром, и со свистом резины, покрывшим этот гром, в просвете «аппендикса» мелькнул красный кузов «девятки». Машину бросило от одного края аллеи к другому. Несколько человек на лестнице даже привстали. Но гонщик выровнял машину и начал разгон на «аппендиксе». Игорь Владимирович, сжав секундомер, всматривался в просвет аллеи, ожидая свой «двенадцатый», краем глаза он увидел мокрое от пота лицо Аванесова с выкаченными глазами.

«Девятка», свистя резиной, уже входила в большой левый вираж внутренней полосы трассы, когда в просвете аллеи Игорь Владимирович увидел свою машину. Райюнчус плавно вписался в поворот, хотя и потерял скорость. На «аппендиксе» он снова набрал разгон и даже лучше «девятки» взял большой вираж.

Игорь Владимирович отметил время: одна минута сорок девять секунд — средняя скорость сто восемь километров в час. Он глубоко вздохнул.

— Ну как, Игорь? — наклонившись вперед, крикнул Аванесов. — Будет меньше одной тридцати? — Лоснящееся от пота смуглое лицо Карена было возбужденным и немного самодовольным.

Игорь Владимирович только пожал плечами и корот-

ко улыбнулся, посмотрев на Аванесова. Не хотелось искушать судьбу. И тут кто-то удивленно вскрикнул:

— Во-о!

Игорь Владимирович быстро повернул голову. Желтая машина со странным клиновидным кузовом вылетела на середину асфальтовой полосы аллеи, взревела мотором и уже через мгновение была на большом вираже. Игорь Владимирович увидел наклоненную в сторону поворота голову гонщика в коричневой горняцкой «черепашке», грязные большие руки на вибрирующей баранке руля; увидел, как левые колеса машины оторвались от асфальта, а клиновидный кузов справа чуть не коснулся земли.

— Вот это заложил,— с уважением сказал сосед справа.

«Маловат диаметр колес,— снова подумал Игорь Владимирович,— того и гляди паханет брюхом дорогу».

Согласно и грамотно прошли повороты и выстрелили на прямую горьковчане на своих бело-голубых машинах. И наступило короткое затишье.

— Мальчишка еще, дикий этот двадцать первый, а обкатается — тогда держись,— сказал кто-то сбоку.

Другой голос возразил:

— Ничего, он и сейчас половину мастеров съест. Видал, как берет повороты? Экстра-класс! Ему бы тачанку заводскую...

Игорь Владимирович усмехнулся, думая о том, как быстро меняются зрительские симпатии и антипатии. Окажись двадцать первый последним — над ним бы презрительно подтрунивали... Горе побежденным.

Стреляя моторами, на «аппендикс» выскакивали машины основной группы. Кого-то кидало от края до края неширокой аллеи, кого-то заносило. Было видно, как гонщики судорожно дергают рули, выправляя машины, стараясь занять большой радиус виража внутренней по-

лосы. Свистели шины, ревели-стреляли моторы, и горячий, пахнущий копотью воздух ударял в склоны овального насыпного холма.

На втором кругу аванесовская «девятка» улучшила время на четыре секунды, соответственно прибавил и Райюнчус. Теперь средняя скорость была уже сто двенадцать километров в час. Но порядок в лидирующей группе сохранялся: по-прежнему первым шел номер девятый, Долгов, за ним — двенадцатый, Райюнчус, потом — двадцать первый, этот никому не известный Яковлев. И замыкали группу лидеров гонщики горьковского завода. А в основной группе машины заводской подготовки перемещались вперед — шла дифференциация.

Гонщики прошли второй круг. Снова гром двигателей удалялся вправо, и ожил динамик на столбе над лестницей.

«Вот и начинается, товарищи. Начинается борьба в лидирующей пятерке. Мастер спорта Альгис Райюнчус — номер двенадцать — поравнялся с лидером. Машины идут рядом по северной прямой! Пропустит ли номер девятый, Долгов, вперед своего именитого соперника или сумеет удержать лидерство? Гонщики резко прибавили скорость. Никто не хочет остаться вторым. Что происходит! Что происходит, товарищи! Машина под номером двадцать один, гонщик второго разряда Яковлев, неожиданно прибавляет скорость. Теперь на трассе три лидера, три машины идут рядом. А скоро „площадь", товарищи. Неужели гонщики будут выполнять этот труднейший поворот в три ряда?! Тогда в самом невыгодном положении окажется молодой спортсмен Яковлев, ему придется идти по дуге малого радиуса. Хватит ли устойчивости у его автомобиля? Но как это замечательно, товарищи, что молодой спортсмен не спасовал перед мастерами... Да, товарищи, это настоящая борьба! Внимание! Машина номер двадцать один первой вышла на „пло-

щадь"! Молодость и задор пока впереди! Но не слишком ли рискует молодой спортсмен! Верно ли он оценивает возможности своей самодельной машины?!»

Игорь Владимирович напряженно слушал, как слева ревет двигатель и на высокой пронзительной ноте воет резина покрышек.

— Ай да салага! Обскакал,— хрипловато сказал кто-то рядом.

«Вторым к повороту подходит номер двенадцатый. Кандидату в мастера Долгову все-таки пришлось уступить. Теперь он третий на трассе, а гонку возглавляет номер двадцать первый — Яковлев. Гонщики из Горького пока не меняют тактики, они идут вместе. А в основной группе еще нет четкого лидера. Во главе идут то московский армеец, мастер спорта Клеманов, то гонщик мотостроительного завода из города Уфы Галимов, следом за ними идет представитель московского автозавода, мастер спорта Батурин. Борьба еще впереди, товарищи. И я думаю, что заводские гонщики еще не сказали своего слова в этой гонке. У них надежные, прекрасно подготовленные автомобили, каждый из которых таит конструктивные новинки. Мы еще увидим, товарищи, захватывающую борьбу в этой группе. После московского армейца и представителей заводов плотной группой идут шесть машин...»

Рев справа уже нарастал, и снова ветер с залива принес запах копоти и горячей резины.

«Внимание! Лидер, номер двадцать первый, приближается к острому повороту на поперечный проезд. Вторым, с просветом пятнадцать — восемнадцать метров, следует номер двенадцать — автомобиль Ленинградского политехнического института. И сразу же следом — номер девять, автомобиль Ленинградского карбюраторного завода. Приятно, товарищи, но и понятно, что хозяева лидируют на своей трассе. Внимание, лидер приближается к повороту!..»

Желтая машина стремительно выскочила в просвет «аппендикса» только на двух правых колесах. Казалось — еще миг, и она ляжет набок. Но гонщик справился с управлением и прибавил скорость. Игорь Владимирович заметил, что автомобиль сразу же прижало к асфальту всеми четырьмя колесами. Секунда — и снова свист резины на большом вираже, и желтый клин выстреливает на внутреннюю прямую. И уже Альгис разгоняется на «аппендиксе», как всегда спокойно, ровно проходит большой вираж.

Игорь Владимирович отметил время: одна и тридцать девять — скорость возрастала, уже сто девятнадцать километров в час. «Неплохо,— снова подумал он, следя, как аванесовская „девятка" берет вираж. Но что-то беспокоило его, какая-то мысль: — Почему же его прижало к асфальту, хотя по всем законам должно было положить набок?»

Промчались горьковчане, ушли на прямую, и уже рев множества моторов основной группы машин превратился в гром.

— Что, Игорь, доволен? — Аванесов улыбался, смуглое лоснящееся лицо было веселым. Он ничуть не огорчился, что Долгов уступил лидерство; он знал — все еще впереди. — Будет сто тридцать, как думаешь? Твой Альгис — будто с крыльями.

Игорь Владимирович только улыбнулся в ответ — и снова почувствовал беспокойство: «Крылья! Вот оно что! Вот почему двадцать первого не опрокинуло, хотя он почти не снизил скорости на остром повороте, а, напротив, прижало к асфальту еще плотнее. Крылья, крыло! Ну, правильно! Треугольный в плане кузов этой машины снизу имеет горизонтальную поверхность, а сверху постепенно, плавно повышающуюся к заду плоскость. Ведь это же — крыло! Крыло с отрицательным углом атаки, с отрицательной подъемной силой; на скорости этот кузов под воздействием встречного потока воздуха

прижимается к земле. Как просто — гениально! Ну и самодеятельный конструктор! — мысленно воскликнул Игорь Владимирович. — Нет, это не случайно, это продуманная форма...»

«Снова на трассе изменения, товарищи. Лидер гонки, спортсмен второго разряда Григорий Яковлев на автомобиле номер двадцать один, увеличил скорость и пытается оторваться от преследующих его мастеров. Он уходит, товарищи, разрыв увеличивается. Номер двенадцатый, опытнейший мастер Райюнчус, пытается достать лидера, не дать ему уйти. Прибавляет скорость и номер девятый, Долгов. Темп гонки повышается, товарищи! Интересно, чем ответят на это гонщики из Горького?.. Он уходит! Уходит! Двадцать первый отрывается от преследователей! Уже сорок метров! Пятьдесят! Горьковские гонщики тоже увеличили темп, они уже вплотную за машинами Долгова и Райюнчуса! Да, скорость возрастает, уже близок поворот „площадь", как возьмут его лидеры?! Очень велика скорость. Но гонки — это риск и смелость и, конечно, мастерство, товарищи!»

Игорь Владимирович усмехнулся. Все правильно говорил комментатор, и сидящие на этой лестнице знали, может быть, лучше всех остальных зрителей, что «гонки — это риск и смелость и, конечно, мастерство», но почему-то слова эти, сказанные вслух, вызывали усмешку. И назойливое тревожное ощущение неуверенности вдруг забеспокоило Игоря Владимировича. Что же это за машина? Неужели сегодня, здесь, в Ленинграде, кто-то лучше его мог задумать и выполнить микроавтомобиль? «Самодеятельный конструктор»?! Уже одно то, что на этой машине задний двигатель, о чем-то говорит. Такие вещи только-только стали применять в Европе...

«Какой риск, какой риск, товарищи! Лидер пошел на поворот „площадь", не снижая скорости! Замысел молодого спортсмена ясен... Еще больше увеличить разрыв.

Какая техника, какая техника! Он проходит „площадь", всю „площадь", на двух колесах...»

Игорь Владимирович и сам слышал рев двигателя слева и пронзительный, наполнивший грудь холодом, громкий визг покрышек.

«Великолепную технику демонстрирует молодой гонщик! Это труднейший поворот трассы... На „площадь" входит номер двенадцатый, Альгис Райюнчус. Опытный мастер четко проходит поворот. Напомню вам, товарищи зрители, что рекорд кольца — одна минута тридцать одна секунда — принадлежит Альгису Райюнчусу... Номер девятый, Долгов, тоже входит в поворот, не снижая скорости. Машину заносит...»

Казалось, над трассой повисла тишина. Только вой резины, доносившийся с «площади», разрезал горячий воздух. Аванесов сидел с остановившимся, мокрым от пота лицом. Игорь Владимирович видел, что его рука с секундомером мелко дрожит.

«Гонщик все-таки справился с управлением! Номер девять выполнил поворот и вышел на прямую внешней полосы. На „площади" — гонщики горьковского автозавода...»

Аванесов облегченно улыбнулся.

— Нервничает, отставать не любит,— сказал он, взглянув на Игоря Владимировича.

Игорь Владимирович кивнул без улыбки. Он тоже начал нервничать. Этот неизвестно откуда взявшийся двадцать первый взвинтил темп, внес в гонку какой-то авантюрный азарт. Было что-то возмутительное в стремлении двадцать первого противопоставить расчету, технике голый энтузиазм и риск. Он все-таки не верил, что эта самодельная машина (хоть и с задним расположением двигателя и кузовом-антикрылом) конструктивно превосходит его автомобиль.

Круг за кругом шла гонка. Уфимский и московский заводские гонщики оторвались от основной группы, уси-

лился ветер, а этот мальчишка на своей грязно-желтой машине все увеличивал скорость и непостижимо брал повороты. Райончус еще держался за ним, не давал оторваться больше, чем на полсотни метров. Теперь машины растянулись на трассе, и лидеры уже настигали хвост гонки, уже не было моментов затишья, зрители на лестнице все время видели то одного, то другого гонщика, преодолевающего «аппендикс» и берущего большой вираж. Судья-информатор охрип, и голос его потерял свою механическую невозмутимость, стал голосом удивленного, растерявшегося от неожиданности человека. Он уже не успевал комментировать все изменения на трассе и рассказывал только о положении лидеров. На демонстрационном щите уже не меняли номера машин, потому что судья-счетчик запутался и не мог понять — кто за кем. Воздух над трассой стал тяжелым и горьким.

«Внимание, товарищи зрители, номер семнадцатый — спортсмен первого разряда Галимов, Уфа, моторный завод, резко прибавил скорость. Вот он уже приближается к острому повороту на поперечный проезд. Я говорил вам, товарищи, что заводские гонщики на своих надежных машинах еще вступят в борьбу. И вот Галимов идет к повороту. Замысел уфимского спортсмена ясен: на скорости взять повороты и выйти на внутреннюю полосу трассы с отрывом от преследователей, а там на прямых участках попытаться достать горьковчан. Галимов опытный гонщик, он инженер-испытатель уфимского моторного завода, много раз участвовал в соревнованиях и хорошо знает ленинградскую кольцевую трассу. Раньше Галимов выступал на более тяжелых машинах, а вот теперь... Внимание, товарищи, номер семнадцать подходит к повороту...»

В низкий рев моторов врезался свист покрышек. Белый длинный автомобиль с красной полосой на борту мелькнул в просвете аллеи, но не выскочил на асфальт.

Бешено взревел мотор, и Игорь Владимирович сразу понял, что семнадцатый лег набок.

«Какая неудача, товарищи, какая неудача! Уфимский гонщик не рассчитал скорость, и его перевернуло на дуге острого поворота. Сейчас ему оказывают помощь. Ну, на гонках случается все. Это — спорт смелых и мужественных. Будем надеяться, что гонщик не пострадал. А к повороту уже приближается мастер спорта Батурин, он на машине под номером четыре — московский автозавод. Опытный мастер. Смотрите, как грамотно он проходит повороты. Да-а, одним риском, одним желанием на кольце победить невозможно — нужна отточенная техника, нужен опыт...»

Блестящий лаком, похожий на большую вишневого цвета галошу автомобиль московского завода выстрелил на внутреннюю прямую.

«Тяжел,— подумал Игорь Владимирович. — Придет, верно, пятым или шестым, на одной только добротности...» Он знал конструктора этого автомобиля, его привязанность к надежным, испытанным решениям, к излишнему запасу прочности. Его машины всегда выдерживали гонку до конца, не ломались, но никогда не приходили первыми. Этот не был конкурентом. И вообще, в стране вряд ли кто-либо лучше Игоря Владимировича сейчас, в начале пятидесятых, мог сконструировать микролитражку. Разве что Аванесов, но он специалист по двигателям, остальные агрегаты у него просто приспособлены от уже испытанных конструкций... Хотя Аванесов — конкурент, конечно. Но вот этот Яковлев!.. Нет, чушь собачья... Чтобы все это осмыслить на инженерно-конструкторском уровне, только на это — без всякой науки — нужны годы. А тут какой-то мальчишка из строймеханизации... Анекдот!

«Внимание, товарищи! Лидеры заканчивают десятый круг! Интересно, будет ли побит рекорд трассы на этом круге. Посмотрим, что сообщит нам главный хрономет-

рист — судья республиканской категории Николай Алексеевич Корин. Мне видно отсюда, товарищи, как он наблюдает за контрольной отметкой и за своими секундомерами. Какое же время покажут лидеры? Будет ли новый рекорд трассы?! Остались секунды, товарищи. Сейчас мы узнаем это! Вот лидер, молодой ленинградский спортсмен Яковлев, приближается к повороту!»

Опять этот грязно-желтый клин только на одних левых колесах влетел в «аппендикс», взревел мотором, сразу же всеми четырьмя точками коснулся асфальта и выскочил на вираж; правый нижний край кузова на большом вираже прошел над асфальтом в каком-то сантиметре.

«Ура-а! Товарищи, есть новый рекорд трассы. Его установил молодой гонщик из Ленинграда Григорий Яковлев. Он прошел кольцо на десятом круге за одну минуту двадцать восемь секунд, что составляет скорость приблизительно сто тридцать три километра в час. Это большое достижение, большой успех спортсмена, товарищи!»

Райюнчус прошел круг почти на полторы секунды хуже. Это все равно перекрывало его прежний рекорд, но настроение у Игоря Владимировича испортилось. Он уже понял, что проигрывает гонку.

«Какое мужество, товарищи! Какое мужество! Гонщик Галимов — уфимский моторный завод — продолжает соревнование. Ему оказана помощь, машина поставлена на колеса, и вот он уже выезжает на поперечную аллею. Да, это настоящий спортсмен!»

— Молодец, уфимец, настырный,— сказал хриплый голос справа.

Белый длинный автомобиль с красной полосой на помятом, ободранном борту и номером семнадцать на капоте разогнался на «аппендиксе», взял большой вираж и ушел на прямую. Следом проехала машина Аванесова, но у нее было на целый круг больше.

«Вот, товарищи, судья-стартер уже приготавливает желтый флаг с пересекающимися черными диагоналями. Когда лидеры гонки — Яковлев, Райюнчус и Долгов — закончат круг, судья-стартер покажет им этот желтополосатый флаг — это значит, что лидеры пошли на последний круг. А пока они приближаются к повороту „площадь", по-прежнему впереди номер двадцать один, за ним — номер двенадцать и третий в группе — номер девятый. Все лидеры — ленинградцы, хозяева трассы, и это очень приятно, что у себя дома они не уступили никому. Я говорю так, потому что думаю, что уже никаких изменений на трассе произойти не может. Хотя спорт есть спорт, и нужно быть готовым, товарищи зрители, к любым неожиданностям... Лидер, молодой ленинградский спортсмен Григорий Яковлев, проходит „площадь". Великолепную технику демонстрирует спортсмен на виражах. Я считаю, что этот спортсмен сегодня заявил себя как один из ведущих гонщиков нашего города... Ай-ай, я же говорил, товарищи, что в спорте возможны любые неожиданности... Вот при выходе из поворота „площадь" у лидера гонки Яковлева, номер двадцать первый, загорелись тормозные колодки на задних колесах. Молодой гонщик справился с управлением, предотвратил занос своего автомобиля... Да, товарищи, очень досадно. Лидер вынужден прекратить гонку на предпоследнем круге. Очень досадно, что мы не увидим номера двадцать первого на финише. Но спорт есть спорт, в автогонках побеждает не только скорость и мастерство, не только риск и отвага, а еще технический расчет, надежная подготовка автомобиля... Но все равно, товарищи, молодой спортсмен сделал большую заявку. И, думаю, мы еще увидим его на Невском кольце и на других трассах страны... А лидер теперь — Альгис Райюнчус, опытный мастер спорта, аспирант Ленинградского политехнического института. Он благополучно прошел „площадь" и прибавляет скорость, за ним следует номер девятый, кандидат в

мастера Долгов — инженер-испытатель карбюраторного завода, Ленинград, дальше с разрывом в семьдесят — восемьдесят метров идут гонщики горьковского автозавода Левченко и Дерюгин... Лидирующая группа уже огибает стрелку острова и приближается к острому повороту...»

Над лестницей висел рев двигателей, воздух стал душным от выхлопных газов. Все молчали. А Игорь Владимирович вдруг остро почувствовал разочарование, будто его обманули. Теперь ему было ясно, что гонка, в сущности, проиграна, хотя Альгис и придет первым к финишу и улучшит свой же рекорд. Гонка проиграна... Кто-то в этом городе смог построить микролитражку лучше, чем он, Игорь Владимиров. Эти колодки не имели никакого значения. Они не были конструктивной слабостью — он это чувствовал.

Аванесов был непроницаем, он уже пережил свой неуспех и сидел теперь, вытирая лицо большим коричневым платком. Секундомер он убрал в карман. Игорь Владимирович тоже надавил на головку своего секундомера и спрятал его. На лестнице больше нечего было делать. Судья-стартер выкинул Альгису желто-полосатый флаг. Игорь Владимирович встал с бетонной ступени и пошел вверх, на гребень насыпного холма.

По гребню шла широкая асфальтовая галерея, обрамленная балюстрадой и ровно подстриженными кустами с мелкой темно-зеленой листвой. Здесь, наверху, было не так душно. Свободно гулял морской ветер, и глуше был рев моторов.

Игорь Владимирович сунул руки в карманы брюк и побрел в ту сторону, куда бежали на свой последний круг машины. Он шел над этой хорошо знакомой гоночной трассой и не смотрел на нее. Досады не было, не было раздражения, только усталость. Солнце сначала светило сбоку, согревая левый висок, но потом, когда Игорь Владимирович продвинулся дальше по кольцу, стало светить в спину. Он смотрел на серо-зеленую рябь

залива с редкими белыми бляшками пены, глубоко дышал и устало думал о том, что все придется начинать с начала. Снова корпеть над расчетами, чертежами и справочниками, потом почти кустарно строить новую машину и снова выходить на это окаянное кольцо. Снова надеяться и, может быть, снова разочароваться. И не победа в гонках нужна ему, Владимирову, а убеждение, что на сегодняшний день в стране нет лучшей конструкции микроавтомобиля... Тогда... Впрочем, он даже боялся мечтать о том, что будет «тогда»...

Солнце теперь светило в правый висок, он приближался к главному входу на стадион. На трассе финишировали последние машины. Спускаясь по главной лестнице, Игорь Владимирович увидел, как во дворик бокового спортивного павильона въезжают гоночные автомобили. Он ускорил шаг.

Здесь моторы урчали мирно и глухо и замирали, излучая пахнущее мазутом тепло. Альгис по широким доскам вместе с механиком уже вкатывал машину в кузов институтской трехтонки. Игорь Владимирович подошел и, когда машина была поставлена в кузове, сказал Райюнчусу:

— Поздравляю. Ты сделал все, что мог.

Райюнчус посмотрел хмуро, глаза на обветрившемся лице были угрюмо прищурены. Гонщик, как всегда немногословный, кивнул головой куда-то назад, сказал:

— Наездник настоящий, его поздравьте. — И отвернулся.

Игорь Владимирович посмотрел туда, куда кивнул Альгис, увидел грязно-желтый клиновидный кузов, приподнятый на двух чурках, подставленных под зад, и сгорбленную фигуру в выцветшей ковбойке, сидящую прямо на асфальте. Задние колеса машины были сняты, тут же валялись почерневшие тормозные колодки, металлическая коробка с инструментом и запчастями.

Гонщик хмуро смотрел вниз и курил, резким жестом поднося папиросу ко рту и снова опуская руку. Игорь Владимирович увидел профиль с коротким носом-бульбой, пухлые бесформенные губы, придававшие лицу глуповатое выражение. Волосы гонщика, светлые, пропотевшие под шлемом, были сверху запачканы нигролом и выглядели неопрятно. Он сидел на солнцепеке, хмуро смотрел в землю и курил. Игорь Владимирович подошел.

— Добрый день. Я конструктор «двенадцатой», Владимиров. Мне очень понравилось, как вы вели гонку. На самом деле выиграли вы.

— Яковлев,— хмуро кивнул он и сразу же снова упрямо нагнул голову вперед, добавил твердо: — Это не считается.

Игорь Владимирович задержался с ответом, он рассматривал колеса этой странной машины. Во-первых, диски были из какого-то светлого сплава, похожего на магниевый; во-вторых, эти диски были внутри расточены и служили тормозными барабанами, резина тоже была незнакомой.

— Нет, считается,— убежденно сказал Владимиров,— потому что выиграли конструктивно, а не на истерике. Я про такие диски-барабаны только в иностранных журналах читал, что их начинают применять у «Мазерати». Знаете такую фирму гоночных машин?

— Знаю. — Яковлев не поднял головы.

Негромко мирно урчали моторы во дворике, перекликались люди, закатывавшие гоночные машины в кузова грузовиков, в дальнем углу двора, в тени, гонщики и механики, запрокидывая головы, пили из бутылок лимонад. А Игорь Владимирович стоял над этим устало сгорбившимся на асфальте человеком и чувствовал растерянность и острый интерес. Уже эти колеса превзошли все его ожидания.

— Да вы смотрите машину, не стесняйтесь,— неожиданно подняв голову, сказал Яковлев и скупо улыбнул-

ся. — Еще потягаемся. — Он поджал губы, отчего они стали прямыми и жесткими.

Игорь Владимирович еле удержался от того, чтобы сразу отвернуть барашки панели, закрывавшей двигатель. Он спросил:

— А вы скоро грузиться будете?

— Грузиться? — переспросил Яковлев, опять склонив голову. — Нет, я своим ходом. У меня все обзаведение здесь. Ребята обещали накладки дать. Наклепаю и поеду. Вот за что меньше всего боялся, то и подвело. — Он поднял черную тормозную колодку и лезвием отвертки стал счищать с нее остатки сгоревшей накладки. Игорь Владимирович снял панель, прикрывавшую моторный отсек.

Все было необычным и странным в этом автомобиле. Двигатель поражал изяществом замысла и соединением, казалось, конструктивно несоединимых деталей — переделанного картера тракторного пускача и мотоциклетных цилиндров. Коробка передач, дифференциал и редуктор заднего моста, скомпонованные в одном корпусе, составляли с двигателем одно целое. Игорь Владимирович смутно угадывал в очертаниях этих агрегатов что-то от серийных машин, мотоциклов и даже тракторов, но все это было так переделано, подогнано друг к другу, что уже не узнавалось. За грубостью кустарного исполнения, шероховатыми поверхностями крышек, разнокалиберными головками крепежных болтов скрывалась блистательная и смелая конструкция. Игорь Владимирович с трудом удерживался от вопросов. Он не понимал многого в этом автомобиле, и это даже не задевало его самолюбия. Ему лишь хотелось знать, каким образом этот хмурый паренек с глуповатым лицом нашел то или иное решение, потрясающее своей простотой и целесообразностью. Ему, профессиональному конструктору-автомобилисту, не верилось, что все это сделано простым самоучкой, умельцем, интуитивно подгонявшим один аг-

регат к другому. Больше того, многое было непонятно. Он все-таки не удержался от вопросов, но старался быть предельно кратким и конкретным.

Яковлев отвечал неохотно, но не потому, что хотел сохранить секреты. Было видно, что он очень устал. А Игорь Владимирович не мог пересилить своего изумленного любопытства. Его интересовала система обдува двигателя, сам двигатель, диски-барабаны, покрышки, потому что все это было новым, нестандартным.

К машине подошел какой-то парень в замасленном комбинезоне, положил на асфальт четыре новые накладки для колодок и спросил:

— Помочь?

— Нет. Тут на полчаса дел,— отказался Яковлев.

Тогда Игорю Владимировичу стало совсем неудобно своего любопытства. Он поднял с асфальта комок ветоши, вытер перепачканные руки и сказал:

— Жаль, что сейчас вам не до меня. Я, честно говоря, многого не понял.

— А вы заезжайте к нам в контору. Я там с утра и до упора. Спросите меня, пропустят. Это на Люботинском в Московском районе, знаете? — Яковлев поднял голову, Игорь Владимирович увидел, что у парня пристальные, очень серьезные глаза. Он даже смутился под этим взглядом.

— Спасибо, непременно приеду,— ответил он и отошел, чувствуя неудовлетворенность.

И потом несколько дней подряд его не покидало беспокойство. В институте шла сессия, Игорь Владимирович принимал экзамены, вечерами проверял курсовые работы заочников, но все время помнил о странноватом парне с пристальными, очень взрослыми глазами, об этом поразительном автомобиле. И, как только выдался свободный будний день, он поехал в Московский район.

От «Электросилы» шел пешком, справляясь у прохожих. День был серый, душный, и этот район гаражей и авторемонтных мастерских, зажатый между широким Московским проспектом и Витебской железной дорогой, казался хмурым и глухим. Сплошные заборы тянулись вдоль разбитого тяжелыми машинами асфальта. Лужи, оставшиеся после ночного дождя, были подернуты радужной масляной пленкой. Переваливаясь на выбоинах, проезжали грузовики и легковые, грохотали порожними кузовами самосвалы. В редких прохожих по увалистой походке и вытертым кожанкам узнавались шоферы. Игорю Владимировичу вдруг стало как-то стеснительно в своем светлом костюме и щегольских заграничных сандалетах, хоть он и не был застенчивым человеком.

Фасад конторы строймеханизации ничем не отличался от фасадов мастерских и гаражей, расположенных на этом проспекте: серый бетонный забор с металлическими воротами, надтреснутая вывеска синего стекла возле деревянной калитки проходной.

Игорь Владимирович немного помедлил и вошел в проходную. За стеклянной перегородкой никого не было, а дверь во двор была открыта настежь. Он прошел в пустой двор, постоял, оглядывая низкие запущенные строения. На плохо заасфальтированной площадке справа стоял грязный бульдозер, валялась стрела автокрана, крытая свежим суриком, скособочился двухосный прицеп с одним снятым колесом. Игорь Владимирович посмотрел еще правее и встретил безучастный взгляд пожилой женщины, сидевшей у ворот на табуретке и вязавшей на спицах что-то бесформенное.

— Скажите, пожалуйста, где найти Яковлева? — спросил он, подойдя поближе.

— Это Гришку-то? — Женщина снова опустила глаза к вязанию. — В мастерской, где ж ему быть. Там, за площадкой.

Игорь Владимирович вышел на площадку, обогнул

небольшой гараж с красными воротами боксов и увидел кирпичную будку в два маленьких окна, с тронутой ржавчиной железной дверью. Два старых кривых тополя тихо шуршали листвой над покатой железной крышей. Возле будки стоял дощатый гараж, наполовину обитый старой тусклой жестью. Такие гаражи строили на пустырях владельцы личных автомобилей. Ворота гаража были растворены. Игорь Владимирович увидел знакомую грязно-желтую машину, стоящую на деревянных чурбаках. Но в гараже никого не было. Он подошел к ржавой двери кирпичной будки, услышал ровное высокое гудение и потянул за скобу.

В небольшом помещении стоял полумрак, светилась только лампа над токарным станком. Яковлев склонился над вращающейся деталью и следил за резцом. От гудения станка у Игоря Владимировича сразу заложило уши. Он постоял на пороге, оглядывая длинный слесарный верстак с параллельными тисками, большой фрезерный станок, видимо, очень старой конструкции, маленький эксцентриковый пресс, допотопную долбежку, развешанные на гвоздях по стенам прокладки, шестерни, сложенные в углу листы стали и алюминия,— все здесь напоминало скорее деревенскую кузню, чем мастерскую ленинградского гаража.

Яковлев остановил станок, промерил штангелем деталь и только тут заметил Игоря Владимировича. Он прищурился, глядя в сумрак мастерской, и, видимо не узнав, промолчал.

Игорь Владимирович сделал несколько шагов вперед.

— Здравствуйте. Я — Владимиров. Помните, приглашали после гонок?

— А-а, здравствуйте,— Яковлев шагнул к стене, зажег верхний свет. Киловаттка в алюминиевом абажуре словно раздвинула помещение, и мастерская уже не казалась такой тесной, а станки выглядели внушительнее.

Яковлев выдвинул из угла две табуретки, приставил к верстаку.

— Садитесь.

— Спасибо,— Игорь Владимирович неуверенно глянул на темное промасленное сиденье табуретки. Яковлев заметил этот взгляд, сказал:

— Сейчас. — Достал из ящика верстака газету и постелил на табуретку.

Игорь Владимирович сел. Яковлев достал папиросы, протянул пачку вперед. Игорь Владимирович отрицательно покачал головой.

— А я вот никак не могу бросить,— Яковлев закурил. — Несколько раз пробовал, больше недели не вытерпеть.

— Ну и курите, чего себя мучить, раз хочется. Врачи говорят, вредно, а многие курят и живут иногда довольно долго,— с улыбкой ответил Игорь Владимирович.

— Да я не только оттого, что вредно. У некурящего хлопот меньше. А тут то папиросы исчезнут в ларьках, то купить забудешь, а потом мучаешься. И вообще, когда не куришь, чувствуешь себя независимей: все-таки это слабость.

— У кого их нет — слабостей? — сказал Игорь Владимирович и подумал растроганно: «Молод еще». Чем-то этот парень напоминал собственную юность, мысли о самосовершенствовании. Он вздохнул. Тесная мастерская, залитая чересчур ярким светом, неуклюжие станины старых станков, листовой металл в углу — все это стало сразу каким-то своим и уютным. Игорь Владимирович еще раз огляделся и вдруг застыл. Прямо на него из непонятной синеватой холодной глубины смотрел человек с длинным худым лицом, с зачесанными гладко назад каштановыми волосами, в которых уже явственно проблескивала седина. Глаза у человека были глубокие, темные. Игорь Владимирович не сразу узнал себя: слишком красивым и необычным было лицо, и что-то прогля-

нуло в нем такое, что не понравилось — то ли тщеславие, то ли самодовольство.

— Что это у вас за зеркало? — спросил он настороженно.

— А-а, хромоникель, наверное. Какой-то растяпа потерял с машины возле «Воздушки», а я ехал и подобрал. Хорошая пластина, шестнадцать миллиметров. — Яковлев улыбнулся как-то застенчиво.

Игорь Владимирович встал, подошел к стене, где висело это странное голубое зеркало. По краям пластины были небольшие матовые фаски, они казались белее основной плоскости, и из этой тонкой рамки светилась неправдоподобная бездонная синева. Поверхность металла была идеально гладкой и плоской. Игорь Владимирович понял это по отсутствию искажений. Он хорошо разбирался в технологии и понимал, что получить такую идеально ровную и чистую поверхность на площади более полуметра почти невозможно без специального и дорогого оборудования. Он еще раз осмотрел зеркало, осторожно дотронулся до уголка. На поверхности появилось туманное матовое пятнышко, оно сразу же стало уменьшаться и вмиг исчезло совсем.

— Как же это удалось вам? Получение такой поверхности и на заводе — проблема. — Игорь Владимирович все смотрел на эту холодную глубокую синеву, открывавшую в нем незнакомые дотоле черты, и ему было не по себе.

— Да мне надо было головки цилиндров подшлифовать после подрезки,— у меня же все форсированно. Ну вот, я одолжил на ремзаводе рядом притирочную плиту. Приладил электромоторчик с рычагами и пружиной, чтоб давление все время было и такое, вращательное, и возвратно-поступательное движение по плоскости. Сначала головки притер, а потом уж эту пластину. Времени-то это не занимало. Утром приду, включу, вечером выключу. Только эмульсию подливал,— объяснил Яков-

лев, и по голосу было понятно, что он стыдится этой вроде бы никчемной работы.

А Игоря Владимировича разобрало озорное любопытство: хотелось понять увлечения этого странного парня, который был похож на простака и гения одновременно. И он спросил:

— А зачем вам это? — И повернулся от зеркала к Яковлеву.

С коротким застенчивым смешком тот ответил:

— Да я в какой-то книге — такой, популярной — прочитал, что у средневековых алхимиков были зеркала, которые давали странные эффекты, показывали разных там чертей... Судьбу предсказывали по ним. Были они металлические. Такое имел Калиостро. Ну вот, я стал думать, что бы это могло быть? Попробовал наклепом нанести рисунок, думал, структура металла изменится и отражаемость будет иная и при определенном освещении этот рисунок можно будет увидеть в зеркале, но не получилось. Наверное, этого мало, они, видимо, гравировали на зеркале, а потом инкрустировали совсем другим металлом и заполировывали. — Яковлев помолчал, все еще застенчиво улыбаясь, и добавил: — Так что алхимика из меня не вышло. И графа Калиостро тоже.

Игорь Владимирович не ответил, его поразила эта любознательность и какая-то, как ему показалось, бесшабашная щедрость. Сам он никогда, даже в молодости, не был таким небережливо широким. «Это и есть талант,— подумал он с грустной завистью. — Не жаль ему времени, будто впереди еще сто лет». Игорь Владимирович снова отвернулся к зеркалу, боясь выдать свои мысли.

— Конечно, это так — баловство, но интересно попробовать. Вообще-то много секретов старых забыто. А теперь вот ищут. Краски, например, разные или сталь булатная. — Он снова застенчиво улыбнулся повернувшемуся Игорю Владимировичу.

— Ну, и автомобили вас только так интересуют, как секрет?

— Ну, секрет! — Яковлев даже поднялся с табуретки. — У меня к машинам свой счет,— сказал резко и вдруг осекся.

— Что, скорость мала? — Игорь Владимирович пристально поглядел ему в глаза, разговор почему-то начинал волновать.

Яковлев снова сел, облокотился на верстак, подперся кулаком.

— Не в ней одной дело... — Он задумчиво посмотрел куда-то вперед, мимо Владимирова, и медленно сказал: — Наездился я на разных колымагах. И все думал: «Вот бы тому, кто ее сделал, хоть месяц на ней отработать». Словом, все не так, не нравилось. Вот и захотел свой автомобиль придумать. Чтобы был маленький, но мощный и удобный, чтобы сразу прирастал к телу, как куртка хорошая... Ну и гонки, конечно...

«Кто он, гений или невежда?» — с волнением спросил себя Игорь Владимирович; его уже интересовал не только тот странный грязно-желтый автомобильчик с клиновидным кузовом, но и этот парень, с серыми, чересчур взрослыми глазами и простоватым выражением лица, которое лишь иногда становилось на миг острым и жестким.

— Ну, покажите ваш автомобиль,— попросил он.

— Да что вы там будете пачкаться в боксе. Я вам лучше чертежи покажу,— Яковлев встал, открыл ящик верстака и, вынув пачку несвежих, сложенных вчетверо листов ватмана, стал раскрывать их на верстаке.

Игорь Владимирович еще издали увидел, что чертежи варварские. Толстые карандашные линии были неточными, сопряжения дуг и прямых неуклюже и грязно размазаны. Он подошел к верстаку, сел на табуретку, застланную газетой, подвинул к себе лист с общим видом кузова. И сразу стал несущественным неряшливый и

непрофессиональный вид этих чертежей. Теперь он уже знал, что форма кузова, его аэродинамика не только задумана сознательно, но и точно рассчитана. Тут же, на общем виде, шли колонки цифр, подсчеты коэффициентов сопротивления воздуха, величин лобовой площади, фактора обтекаемости. Прижимающий эффект антикрыла и хорошая обтекаемость кузова были, как он и думал, заданы. На неуклюжем варварском чертеже Игорь Владимирович увидел весь ход мысли, простой и рационально-жесткой. Но многое вызывало недоумение. Он чувствовал, что некоторые непонятные ему решения нужны, но сам не мог в них разобраться. Этот странный мальчишка, видимо, понимал аэродинамику кузова лучше его, затратившего на это дело годы.

— Почему у вас воздухозаборник дефлектора такой щелевой и под днищем кузова? Проще ведь сделать боковые карманы, так поступают всегда. И зачем продольные перегородки в щели и этот уклон вперед? — Игорь Владимирович увлекся и как-то даже забыл, что перед ним не студент, пришедший на экзамен.

— Ну... я думал, что этот козырек будет прижимать под действием встречного потока, а перегородочки дадут еще продольную устойчивость. В общем, стабилизатор, как у самолета,— Яковлев робко взглянул на Игоря Владимировича и спросил: — Что, неправильно?

— Пожалуй, правильно,— осторожно согласился Игорь Владимирович.— Только это надо бы обсчитать, а формул таких нет пока.

— Да, я знаю. Но у меня дружок в ЛИАПе работает лаборантом. Вот... Я сделал модельку, и мы продули ее...

— В аэродинамической трубе это так просто не выяснить. Нужен какой-то съем нагрузок.

— Ну, я сделал такую площадочку на двух пружинах, а в середине шарнир. Силу пружин сосчитал. Закрепил модель, и вот при продувке задняя пружина все-

гда нагружалась. Конечно, это — потери на сопротивлении, но выигрыш в устойчивости. Мощи-то у движка хватает,— Яковлев пристально посмотрел на него.

— Да, пожалуй, верно,— рассеянно ответил Игорь Владимирович, не отрываясь от чертежа. «Конструктор... от бога...» — подумал он. Это зрелое умение выбрать компромиссное решение убедило Игоря Владимировича окончательно. Теперь у него не осталось настороженности. Он разворачивал чертежи, смотрел, спрашивал, спорил, доказывал свое. У него не было чувства, что Яковлеву непонятны терминология или теоретические рассуждения. Незаметно прошло несколько часов, Игорь Владимирович, выйдя из мастерской, удивился, что на дворе уже сутемь, после которой начнется белая ночь. В ворота мехконторы въезжали заляпанные грязью автокраны и бульдозеры, стоял грохот и пахло дизельным выхлопом.

Они вышли на проспект. Яковлев, перекрывая шум машин, сказал:

— Лучше налево идти, к «Воздушке», там десять минут на электричке — и вы у Витебского, а здесь пока идешь до Московского — задохнешься. Я провожу.

Потом они шли молча, потому что машины двигались сплошным потоком, возвращаясь в гаражи, и в этом шуме говорить было невозможно, даже трудно дышалось угарным воздухом.

Лишь на станции Игорь Владимирович спросил:

— Вы техникум закончили?

— Нет, только вот в этом году десять классов... И то еще не все сдал из-за гонок. Возился с машиной,— ответил Яковлев смущенно.

Они медленно прохаживались по безлюдной платформе. Шумели подстриженные тополя вдоль Купчинской дороги, приглушая рокот машин. Игорь Владимирович растерянно молчал. То, что у этого парня не было даже среднего специального образования, сразило его.

Он смотрел на этот некрасивый профиль с носом-картошкой и пухлыми бесформенными губами и не знал, что говорить. Вдалеке показался бледный прожектор электрички. Игорь Владимирович заторопился:

— Нам надо будет еще поговорить обязательно.— Он вырвал листок из записной книжки, торопливо написал телефоны лаборатории и кафедры.— Заходите. Свою машину покажу. И мало ли что понадобится. У меня, конечно, не завод, но станки есть новые в институте... И вообще...— он помедлил, вздохнув.— Вам учиться надо серьезно.

— Ну, учиться... Я в общаге живу. А там... хоть не приходи. Торчу вот в мастерской допоздна,— Яковлев махнул безнадежно рукой, и опять Игорь Владимирович заметил, что у этого парня очень взрослые, грустные глаза.

Электричка с тихим протяжным сигналом уже замедляла ход.

— Ладно, поеду на следующей,— решил Игорь Владимирович.— А это не причина, есть библиотеки. Я сам больше десяти лет жил по общежитиям разным да по ведомственным комнатам, и ничего — учился и работал. Я ж детдомовский.— Он сказал это легко, хотя не любил вспоминать свою юность. Помолчал, пережидая, пока смолкнет сигнал отходящей от платформы электрички, и добавил:— Даже фамилию свою не помнил, знал, что отца звали Владимир, вот и записали.

Яковлев смотрел ему прямо в глаза:

— Да у меня тоже так: отец — на фронте, мать в блокаду умерла. С сорок четвертого в детском доме... Потом — ремесленное, гараж вот.— Он резко отвернулся, упрямо наклонил голову.

Шуршали листвой подстриженные тополя вдоль дороги, рокот моторов за ними стал реже. Игорь Владимирович давно не чувствовал себя таким растроганным и мягким. Почему-то хотелось положить руку на плечо

этого парня. Сейчас здесь, на тихой платформе пригородной электрички, Игорь Владимирович отчетливо почувствовал свою отчужденность от жены, от пятнадцатилетнего сына, которого он не мог понять... Игорь Владимирович поспешил переменить тему разговора:

— Да, кстати, где вы эти диски-барабаны взяли? Я что-то не понял даже, от какой машины,— спросил он, пытаясь небрежно улыбнуться.

— Да это не с машины. Я их на Тентелевке подобрал. Знаете, базы там вторичного сырья. Туда все на переплавку свозят. Это колеса с какого-то немецкого самолета. Трофейные, наверно. Я там часто пасусь. Сторожа знакомые, за четвертинку там хоть целый трактор можно собрать,— Яковлев улыбнулся. — Я там и долбежный станок сообразил, правда, год его ремонтировал. А диски эти растачивал под колодки.

— Ну, а резина откуда?

— Тоже авиационная, с поперечным кордом. На аэродроме выпросил. Только она была без протектора, сам нарезал на токарном.

— Вот оно что! Рискованно.

— Да нет. Резину они по сроку списывают, а не по пробегу. Вот накладки подвели. Снял со старого «студера», думал, американские, так хорошие. А они загорелись. — В голосе Яковлева была досада.

— Ничего, это не главное. — Владимиров все-таки не удержался и дотронулся до его плеча, обтянутого линялой ковбойкой.

Раздался протяжный сигнал приближающейся электрички.

— Нам обязательно нужно встретиться, позвоните через несколько дней. Так, на будущей неделе. — Игорь Владимирович протянул руку. Ладонь Яковлева была неожиданно мягкой и теплой.

Электричка грохотала по металлическому мосту через Обводный канал, приближаясь к Витебскому вок-

залу; справа по ходу, где-то над Охтой, уже розовело серое небо, обещая ясную белую ночь. Игорь Владимирович сидел в сумраке полупустого вагона, думал с незнакомой растроганностью об этом странном парне-слесаре и в то же время с острой печалью чувствовал свое уже давнее одиночество...

...Директор научно-исследовательского и проектного института сидел за письменным столом в своем просторном кабинете, смотрел на затворившуюся дверь и спрашивал себя: «Неужели только что вышедший отсюда жесткий угрюмый человек и был тем прямодушным мальчишкой — слесарем и автогонщиком? Десять лет назад Гриша Яковлев не посмел бы разговаривать с ним, Игорем Владимировичем, в таком тоне, нет, не посмел бы. А вот инженер-конструктор Яковлев посмел...»

Но не тон разговора был главным, это не могло обидеть Игоря Владимировича. И вообще, раньше он никогда не обижался на людей — этого чувства просто не возникало. Он мог злиться, презирать, враждовать, но обид не было. Это очень помогало ему как директору в отношениях с людьми, особенно подчиненными, никогда не поступать по первому побуждению. За те пять лет, что Игорь Владимирович руководил институтом, среди сотрудников бывали наказанные, но не было обиженных. Он не умел обижаться, и поэтому не обижались на него. А сегодня было что-то иное. Он вдруг понял, что обиделся. Обиделся на самых близких людей — на жену и на Григория, потому что отчетливо почувствовал их недоверие. Почему-то на жену он обижался меньше. В их отношениях с Аллой уже давно появился холод недомолвок, и Владимиров мог бы понять причину, но не хотел об этом думать.

Да, Григорий давно уже не тот мальчишка... Но как они могли не поверить ему, Игорю Владимировичу, ко-

гда речь — о деле? Разве за те десять лет, что они знают друг друга, он дал повод к недоверию?

Владимиров посмотрел на стоявшее боком к столу кресло. Оно будто хранило позу Яковлева — чуть подавшийся вперед корпус, упрямый, бодливый наклон головы, неказистый профиль с коротким носом-бульбой и поджатые губы,— будто Григорий сидит не в кресле, а за рулем в кабине гоночного автомобиля. И его слова, отрывистые, жесткие и холодные. Вот именно этот холод обидел Игоря Владимировича,— слова эти вырвались не в запальчивости, а были продуманы, продуманы уже давно... Его ученик, которого Игорь Владимирович опекал почти десять лет, поставил на ноги, теперь угрожал ему: «Вы сами предложили тогда провести исследования по особо малому автомобилю. Вы говорили, что это очень нужно и своевременно. Мы благодарны вам за поддержку и помощь. Но мы делали все это не для того, чтобы еще несколько папок пылилось на полках. И вот, когда уже есть разработка, вы говорите, что надо подождать, что еще не созрел момент... Мы сделали эту работу и не можем равнодушно смотреть, как ее хоронят. — Григорий примолк, губы затвердели прямой жесткой чертой, и добавил, не понижая голоса: — И не будем равнодушно смотреть».

Игорь Владимирович встал из-за стола, принялся ходить вдоль стеклянной стены кабинета, занавешенной кремовой тканью.

«Угрожал»,— снова с обидой подумал он, и теперь уже обидными показались и примирительные слова жены. «Ну, это не постановка вопроса,— вмешалась тогда Алла. — Думаю, что Григорий здесь не прав. Никто не собирается никого хоронить. Речь идет о том, чтобы найти какую-то возможность развернуть работу уже на другом уровне. Ну, легально, что ли».

Игорь Владимирович расхаживал вдоль стеклянной стены своего кабинета, чувствовал обиду и недовольство

собой, потому что в словах Григория Яковлева была доля правды, но только доля. И он, Владимиров, мог бы найти возражения, но не захотел. Не захотел, потому что сам не верил в них до конца. И он ответил им так, как обычно отвечал почти весь последний год: «Нужно выждать. Дело тут в тактике. Можно выиграть заезд, но проиграть гонку, а это никого не устраивает».

Со двора вдруг донесся рев мощного двигателя, звонкие хлопки в его выпускном коллекторе от переобогащенной смеси. Какое-то стекло в стене кабинета отозвалось короткой вибрацией, и сразу же назойливо забормотал зуммер селектора. Игорь Владимирович посмотрел на часы. Тридцать минут, отведенных для приема сотрудников по личным вопросам, истекли. Зуммер ворчливо напоминал, что предстоит напряженный день.

— Слушаю,— негромко ответил Игорь Владимирович в микрофон, снова садясь за письменный стол. Минуту, разговаривая по селектору с заведующим одной из лабораторий — нудным старым профессором,— Владимиров еще думал о Григории, чувствовал обиду за недоверие, но потом его уже захлестнули заботы, текущие дела, телефонные разговоры. Сверстывался тематический план института на будущий год. И еще на сегодня было назначено совещание дирекции: дважды в неделю Игорь Владимирович обсуждал со своими заместителями накопившиеся вопросы.

2

Линолеум коридора, набранный из светло-серых квадратных шашек, отливал зеленью под светом люминесцентных ламп. Они шли мимо дверей бухгалтерии и экономического отдела, мимо снабженцев и отдела технической информации, мимо сметчиков и плановиков. И Яковлев подумал, что на этом, как ему казалось, не главном для института этаже чище и уютнее, чем на

тех, где разместились основные лаборатории, мастерская художников-конструкторов, испытательные стенды, приборы, кульманы — все то, что, собственно, и было автомобильным проектно-исследовательским институтом, вторым в отрасли. И это несоответствие управленческого уюта голым и шумным коридорам лабораторных этажей казалось Яковлеву нелепым. Угрюмое раздражение разбирало его. События утратили связь и смысл.

Четко стучали впереди каблуки Аллы. Выйдя из кабинета директора, Григорий и Алла не обменялись и словом.

«Зря я связался со всем этим. Зря пришел сюда»,— раздраженно думал Яковлев.

Возле дверей лифта Алла остановилась. Пока Яковлев подошел, пластиковые двери лифтной шахты бесшумно раздвинулись. Алла вошла первой.

— Ты куда? — Она повернулась к нему лицом и положила палец на кнопку.

— Мне надо к художникам,— Яковлев вошел, прижался спиной к боковой стенке просторной кабины. В молчании слушали тихий шорох спускающегося лифта. Было светло от фисташкового блестящего пластика. Алла стояла вполоборота, и он исподлобья смотрел на нее.

На лице под высокими скулами смуглели легкие тени, розовые полуоткрытые губы казались влажными. Яковлев почувствовал смущение и стал рассматривать филигранную побрякушку черненого серебра на тонкой цепочке: побрякушка лежала на четко обрисованной тонким джемпером груди почти горизонтально, серебристо-серая нить цепочки пересекала овальную коричневую родинку на шее. Он смутился еще больше, но не мог оторвать глаз от этой родинки. Алла повернула голову и в упор посмотрела на него.

— Ну, чего ты набычился? — спросила она насмешливо, но глаза остались серьезны.

Кабина лифта остановилась с легким толчком, двери раздвинулись. Он промолчал. В коридоре Алла спросила не глядя:

— Ты к художникам надолго?

— Да вот, хочу позондировать почву... Может быть, Жорес возьмется... — неуверенно ответил Яковлев.

— Он же — болтун, твой Жорес-Прогресс. Растреплет по всему институту. — Алла пошла вперед. — Что за спешка?

— Мне нужны внешние виды, хотя бы приблизительные. А кто это будет делать задаром? — Яковлев шел позади, глядел на ее талию, перетянутую широким поясом замшевой юбки,— смущение не проходило.

Алла резко остановилась,— он чуть не столкнулся с ней,— повернулась, глаза зло прищурены.

— Ты что, собрался кому-то показывать?

— Не знаю пока,— Яковлев отвел глаза. — Но мне нужен хоть эскиз, хоть картинка какая-то... Графики наши и вся цифирь — это только для нас машина.

По коридору шли люди, обходили их, Алла с кем-то здоровалась, а он упорно глядел в пол.

— Слушай, Гриша, зайдем сначала к нам, успеешь к своему Жоресу. Надо это все-таки обсудить спокойно. — Голос ее стал ровным, даже вкрадчивым. — Да и механики все уже пришли, а мы еще не появлялись.

Яковлев вздохнул, поднял на мгновение глаза, снова опустил их и кивнул.

Корпус, где располагались лаборатории с крупными стендами и тяжелым оборудованием, соединялся с главным зданием института застекленным переходом. Здесь было много вьющейся зелени, стояли аквариумы с рыбками и ярко светило солнце. Алла задержалась у аквариума с красными вуалехвостами, постучала пальцем по стеклу. Яковлев прошел мимо, только в конце перехода оглянулся. Она, наклонившись к аквариумной стенке,

улыбалась. Яковлев снова почувствовал смущение и ускорил шаг.

Он уже разговаривал со слесарями и электромехаником, крепившими на предназначенном для испытаний шасси бесконтактные индуктивные датчики нагрузок, когда Алла вошла в лабораторию. За стеной на стенде заревел двигатель, и поэтому она только кивнула всем.

— Алла Кирилловна, у нас осциллограф скис, а мы сегодня эту телегу хотели прокатать,— громко сказал электромеханик, подбросил отвертку на ладони и ловко поймал ее снова за ручку.

— Совсем? — Голоса Аллы не было слышно, но Яковлев понял вопрос по движению губ.

— Только погоду показывает,— прокричал электромеханик и снова подбросил и поймал отвертку.

Слесари оставили работу, выпрямились и тоже смотрели на Синцову. Двигатель за стеной смолк.

Окна лаборатории были высоко под потолком, и солнце входило четырьмя длинными световыми столбами, в которых подрагивали пылинки. На гладком бетонном полу столбы сливались, окрашивая желтизной шасси, сложенные высокой стопой колеса, роликовый стенд, приборные щиты и часть беленой стены. Яковлев смотрел, как желтые блики играют на лице Аллы, и молчал.

— Ладно, оснащайте. Попросим у двигателистов,— сказала она. За стеной послышались хлопки, потом двигатель стал набирать обороты и снова заревел, громко и басово. Яковлев пошел вслед за Аллой к винтовой металлической лестнице в углу лаборатории. Она подождала, положив руку на блестящие латунные перила. Яковлев начал подниматься первым.

В кабинете у Аллы было сравнительно тихо, но очень жарко, потому что окна и большая стеклянная дверь на длинный балкон были раскрыты. Алла достала из стенного шкафа синий халат. Яковлев отвернулся. В раскрытую балконную дверь ему был виден край испыта-

тельного полигона, часть скоростного кольца из темно-серого бетона от солнечного света казалась мокрой, особенно на приподнятом радиусе виража. Над имитацией болотистой грунтовки дрожало лиловое марево испарений, поблескивали красноватые петли грейдерного шоссе, и везде, насколько хватал глаз, видны были пересечения разных дорог, уклоны, ухабы, «гребенки» — больше сотни километров разных дорог и бездорожья, начинавшихся и кончавшихся у ворот испытательных лабораторий. Полигон был предметом гордости всего института — самый новый, самый большой, самый лучший в стране. Строительство его тянулось еще три года после сдачи институтских корпусов. Сейчас, утром, полигон был пуст и поэтому выглядел особенно грандиозным.

Яковлев представил себе свист ветра, обтекающего машину, пение резины, плавный крен автомобиля на вираже и упругое сопротивление рулевого колеса в ладонях, и ему так захотелось сейчас промчаться по этому блестящему, словно мокрому от солнца бетону, что даже пресеклось дыхание. Он вытащил из кармана платок, утер повлажневшее от солнца лицо.

— Гриша...

Он повернулся. Алла стояла посредине комнаты, руки — в карманах халата. В светло-синем она казалась еще моложе.

— Объясни мне, пожалуйста, что ты задумал? Зачем тебе этот Жорес-Прогресс? — Она подошла ближе.

— Пока ничего конкретного. Но сидеть и ждать у моря погоды не буду. Я на эти игры угробил пять лет, — он старался не выказать раздражения, которое не проходило после разговора в директорском кабинете.

— Ты один годы гробил? И это только твои игры? Только твоя работа?

— Нет, не один, но вы можете или согласны ждать еще до второго пришествия, я — нет. Мне уже об-

рыдло заниматься никчемушной писаниной. Мы скоро всю бумагу в стране изведем. А люди автомобили строят...

Он — уже не в силах сдержать раздражение — осекся и стал шарить по карманам, ища сигареты.

— Ты еще пять или десять лет, а может, и до старости будешь писать бумажки, если не перестанешь пороть горячку. Перед тобой есть пример — Игорь. — Алла отвернулась, стала смотреть через балконную дверь на полигон.

— А я не хочу, как твой Игорь! Я лучше на завод пойду, в цех!

Двигатель вдруг смолк, и последние слова Яковлева прозвучали очень громко.

Алла резко повернулась, и Яковлев увидал ее запылавшее лицо, заблестевшие сузившиеся глаза и испугался, что она сейчас даст ему пощечину.

— Ты... ты его не трогай... Сначала дорасти. Он дал тебе все, все! А ты только брал, брал, все, вплоть... — Она опустила голову и пошла к столу.

Давила пронизанная солнцем, необычная в машинном корпусе тишина. Алла сидела за столом, уронив лицо на руки. Короткая прядь кофейного цвета выбилась из пышной прически, завилась над виском крупным кольцом и чуть подрагивала. Он понял, что Алла плачет, подошел, положил руку на тонкое плечо, почувствовал его бьющееся тепло, наклонился и сказал:

— Алла, ну погоди,— и тут почувствовал прозрачный и чистый запах ее духов, и сразу свело какие-то мышцы на шее, стало трудно дышать, он еще раз хрипло, задышливо повторил ее имя и сильнее сжал тонкое подрагивающее плечо...

Это случилось сразу, как только он увидел ее. Во всяком случае, так Яковлеву казалось потом...

Начало лета после дождливой холодной весны выдалось ясным и мягким. Парк института весь был наполнен нагретым острым ароматом молодой, еще клейкой тополиной листвы, и всех тянуло на воздух. В обеденный перерыв он сидел на скамейке, расстегнув спецовку, руки отдыхали на коленях. Рядом с ним сидел аспирант, уговаривал вне очереди испытать карбюратор на стенде лаборатории. Яковлев, почти не слушая, время от времени кивал головой и, полуприкрыв глаза, подставлял лицо чуть ощутимому дуновению ветра. И тут до него дошел прозрачный и чистый запах духов, этот запах — легкий, едва уловимый — не смешивался с горячим острым ароматом молодой тополиной листвы. Яковлев выпрямил спину и взглянул вдоль аллеи.

Девушка шла быстро, слегка помахивая рукой с небольшим портфелем. Они встретились взглядами, и Яковлев сразу потупился, а когда поднял глаза, девушка уже прошла мимо. Он даже не успел запомнить лица, только понял, что оно очень красиво. И еще секунду ему казалось, что в аллее стоит прозрачный и чистый запах ее духов.

— Синцова Алла, с нашего факультета, четвертый курс. Как, ничего? — сказал аспирант самодовольным голосом.

Яковлев не ответил, встал.

— Так как же с карбюратором, Григорий? — уже заискивающе и тревожно спросил аспирант.

— Завтра,— бросил Яковлев на ходу.

Он шел очень быстро, крупный песок дорожки похрустывал под каблуками. Рывком отворил дверь факультетского корпуса, бегло оглядел лица нескольких стоявших в вестибюле девушек. Ее не было. И Яковлев почувствовал такое уныние, что за весь остаток рабочего дня не произнес ни слова. Вечером он не поехал в общежитие, бесцельно бродил по городу и прислушивался к своим невнятным мыслям, которые удивляли его само-

го своей неожиданностью. До этого вечера он никогда не задумывался о своей жизни.

Судьба складывалась так, что за него думали другие. Он воспринимал как должное, как данность, тусклый, но размеренный распорядок детдомовской жизни и скудноватое послевоенное довольствие. Яковлев в детстве и ранней юности никогда не задавал себе вопроса *почему*, его интересовал только вопрос *как* — как устроена батарейка от карманного фонаря, как лучше начистить детдомовские ботинки, подбитые тяжелым и крохким кожимитом, как успеть занять место в конце длинного стола перед обедом, чтобы первая миска с самым густым супом досталась ему (воспитательница, стоя во главе стола, разливала суп из большой кастрюли, и миски передавали в конец); как быстрее приготовить скучные уроки и спуститься в детдомовскую мастерскую, где пахнет пылью и сосновыми опилками, где можно побыть одному, выстругивая рубанком ножки для табуретки или планки прикроватной тумбочки...

И когда после окончания семилетки ему сказали, что нужно идти в ремесленное, он не раздумывал, в его внутренней жизни не произошло перемен. Просто мышиное детдомовское пальто с куцым воротником из желтой цигейки сменила черная шинель, и появились новые *как*: как ровнее опилить кованую заготовку для слесарного молотка, как рубить зажатое в тисках листовое железо, глядя на режущую грань зубила, а не на его пятку; как разобраться в путанице промасленных шестерен в коробке скоростей ГАЗ-АА. Так и шла его жизнь, управляемая и осмысленная кем-то извне. Сердечной дружбы с товарищами не завязывалось, потому что Яковлев был молчалив и необщителен, но обид, которые обычно достаются в юношеских общежитиях молчаливым, он не испытал: его побаивались за силу и уважали за то, что справлялся с любой ручной работой быстрее и лучше других.

Он работал автослесарем в гараже, потом учился на курсах шоферов, возил грузы и людей, увлекся автогонками, но все это, включая даже его конструкторскую самодеятельность, было продиктовано лишь вопросом *как*. Даже книги он любил такие, в которых описывались конкретные события или машины. Когда же натыкался на самоанализ героев, становилось скучно, и он пропускал эти страницы.

На уговоры Владимирова перейти на работу в институтскую лабораторию он согласился почти сразу. Аргументы Владимирова были убедительны: в лаборатории вся работа связана с постройкой опытных машин; работая, можно учиться в институте, а путь обратно в гараж никогда не заказан. И Яковлев рассудил, что новая работа лучше, тем более что Владимиров сулил со временем выхлопотать комнату. Получилось так, что и эта перемена в жизни Яковлева была задумана и устроена не им самим...

И вот, шагая по уже затихающим улицам Выборгской стороны, он впервые задумался о своей жизни. Он нес свои невнятные мысли сквозь пепельные сумерки, жавшиеся к серым фасадам домов и красным кирпичным стенам заводских корпусов в ожидании раннего рассвета. Яковлеву было двадцать четыре года, но томила его беспредметная, еще подростковая грусть. И, словно подросток, он почувствовал непонятные еще желания и притягательно-хмельное предвкушение грядущего: так началось душевное пробуждение, с опозданием на шесть-семь лет.

В тот вечер он почти не думал о девушке, прошедшей по аллее институтского парка,— она была лишь знаком той неведомой жизни, которую он вдруг почувствовал,— но лица встречных женщин на осветленных белой ночью набережных, застывшая в безветрии листва деревьев, воздетые к бледно-лиловому небу пролеты разведенных мостов — все вызывало в нем глухое волнение.

Он прибрел в общежитие далеко за полночь и заснул каменным, словно похмельным сном, против обыкновения не слыша ни храпа соседей, ни тяжелого запаха телесной испарины.

Следующий рабочий день выдался суматошный. Кончался учебный год, и это сказывалось на работе мастерской и лаборатории. Аспиранты торопились завершить свои лабораторные работы перед разъездом на каникулы и осаждали Яковлева спешными заказами. А у него, как назло, все валилось из рук от какой-то дотоле незнакомой рассеянности; двигатель, только что установленный на обмерный стенд, упрямо не хотел заводиться. Яковлев трижды проверял зажигание, а молодая очкастая аспирантка ходила вокруг и давала глупые советы. Яковлев еле сдержался, чтобы не послать ее по шоферской привычке подальше. И тут, как спасение, прогнусавил телефонный звонок с кафедры. По вытянувшемуся от почтительности лицу аспирантки Яковлев понял, что говорит Владимиров. Аспирантка положила трубку, вздохнула, и с ее лица исчезла почтительность.

— Вас вызывает завкафедрой,— сказала она и собрала в папку бумажки с расчетами.

Яковлев хмуро кивнул и стал отмывать руки в керосине.

По широкой старинной лестнице он поднимался намеренно медленно, чтобы хоть как-то освободиться от этой суматошливой замороченности, которая кружила весь день. Был перерыв между лекциями, вверх и вниз сновали студенты, курили, стоя у окон на лестничных площадках, девичьи лица попадались на этом факультете редко, да и были почти все малопривлекательны. Яковлев прошел в конец коридора третьего этажа, толкнул высокую дверь с забеленными стеклами.

В просторной комнате, заставленной обшарпанными письменными столами и дубовыми стеллажами с пыльными папками проектов, сидел в одиночестве пожилой

доцент. Он устало поздоровался и снова зашелестел бумагами и синьками на своем столе. Яковлев пересек комнату и постучал в дверь кабинета завкафедрой, открыл ее и застыл на пороге.

Прямо против двери в кресле с высокой прямой спинкой сидела давешняя девушка и внимательно, строго смотрела ему в лицо. И снова он почуял прозрачный и чистый запах ее духов — будто бы так пахли после дождя озерные отмели, заросшие камышами, или вчерашняя белая ночь в очищенном балтийским ветром засыпающем городе.

Он стоял на пороге светлого квадратного кабинета заведующего кафедрой, испытывая стеснение и в то же время будто видя себя со стороны — взъерошенного, хмурого, в серой мешковатой спецовке, с темными, пахнущими керосином руками. Яковлев почувствовал острое раздражение от ее внимательного взгляда, от своего вида — вообще от всего этого рассеянного, суматошного и пустого дня.

— Зачем звали? — намеренно резко и грубо, инстинктивно входя в роль, соответствующую внешности, спросил он.

— Проходите, садитесь, Григорий Иванович,— подчеркнуто вежливо ответил Владимиров и расправил ладонью чертеж на письменном столе. Яковлев с каким-то злорадством отметил, что правая бровь Игоря Владимировича удивленно поднялась от его грубого вопроса. Он прихлопнул дверь и сел тут же, на стул возле стены.

— Нет, сюда, пожалуйста,— сказал Владимиров и подмигнул ему заговорщицки и ободряюще.

Яковлев молча встал, подошел и сел в кресло у стола, кинул взгляд исподлобья на девушку, сидевшую прямо напротив, и, поразившись ярко-густой синеве ее глаз, сразу же потупился.

— Вы не знакомы? Алла Синцова — наша студентка,— в голосе Владимирова слышались насмешливые

потки. Яковлев почувствовал, как горячеют скулы, и кивнул, не поднимая глаз.

— Вот взгляните, Гриша, какую Алла предлагает подвеску передних колес. Может, построим, опробуем, а если пойдет, то испытаем на осенних гонках. — Владимиров пошуршал хрусткой бумагой чертежа, пододвинул его к краю стола.

Яковлев положил локоть на дубовую столешницу, другой рукой подтянул чертеж поближе, пробежал взглядом сразу весь лист. Ничего особенного в этой конструкции не было: обычные качающиеся рычаги, спиральная пружина с телескопическим амортизатором. Он чувствовал на себе выжидательные взгляды Владимирова и этой студентки. Это настораживало, заставляло детальнее вникать в чертеж.

«Вот в чем соль — нет шкворней! — подумал он, заметив необычное сочленение верхнего рычага с поворотной цапфой. — Шаровая опора!»

— Ну, можно это сделать в нашей мастерской? — нетерпеливо спросил Владимиров.

Яковлев медлил с ответом, раздумывая, что дает это усовершенствование. Он уже читал где-то о таких сочленениях, и то, что здесь есть некоторый выигрыш в весе, было ясно сразу. Жесткости тоже должно было хватить, но вот надежность этой опоры вызывала сомнения, особенно при кустарном изготовлении в мастерских.

— Сделать-то можно,— медленно, еще раздумывая, ответил он. — А вот будет ли она стоять — это вопрос.

— Запас прочности рассчитан,— сказала Алла.

Яковлев на миг поднял глаза от чертежа, увидел, что ее лицо зарделось и от этого стало еще красивее, и снова опустил взгляд, почувствовав какой-то странный стыд, будто он подглядывал исподтишка за этой девушкой.

— Я в расчетах не понимаю. Хватит, наверное, прочности, раз вы говорите... — Он почувствовал на себе иро-

нический взгляд Владимирова и умолк, с досадой подумав: «Чего я выкобениваюсь?»

— Так что же вас смущает, Григорий Иванович? — интонация Владимирова была мягкой, вкрадчивой.

Яковлев рассеянно оглядел кабинет — кульман с заколотым бумагой чертежом, книжный шкаф с толстыми стеклами в дверцах, за которыми чернели пузатые тома «Справочника инженера» Хютте, красные и желтые, блестящие под солнцем модели гоночных машин на узком приставном столике, потом посмотрел на Владимирова, заметил странный блеск в его темных глазах и сдержанную улыбку на узком худощавом лице, и внезапно Яковлева осенило: «Он и она!» От этой мысли даже бросило в жар и сбилось дыхание, но рассеянность прошла. Он сжал губы, потом глубоко вздохнул и, стараясь, чтобы голос звучал ровно, заговорил:

— Тут сферическая поверхность должна быть очень чистая — четыре угла, минимум, да еще износоустойчивая, а как я это на одном токарном станке сделаю? — он вопросительно посмотрел на Аллу. — Допустим, можно это как-нибудь выгладить, шаблон сделать, если шаровой, чтобы точность выдержать, но все равно материала такого нет, а наша цементация не поможет — только на полкилометра и хватит этих опор... И сухарики эти полукруглые сделать — тоже задача,— он отодвинул от себя чертеж.

— Да,— после паузы сказал Владимиров,— пожалуй, верно — не сделать, а заказывать где-нибудь... — Он вздохнул, повернул к себе чертеж и, всматриваясь в него, закончил: — Это год пройдет, и не возьмется никакой завод десяток деталей делать.

Яковлев смотрел на Аллу, видел ее огорченное лицо и томился, что ничем не может помочь этой девушке, а где-то в темном уголке сознания уже шевелилось стыдное понимание, что хочет не только помочь, но и доказать свое умение и, может быть, превосходство: вот вро-

де бы нельзя сделать, и Владимиров признал это, а он, Григорий, все-таки может. Но он ничего не мог — эта штуковина, такая простая на вид, требовала специальной обработки, особой стали, а он, Яковлев, был понимающим слесарем и не мог обещать невыполнимое. И, чтобы хоть как-то утешить эту девушку, он сказал:

— Остальное-то сделаем, рычаги отковать можно, пружины найду подходящие, и амортизаторов пара у меня есть от «Явы» — как раз подойдут, а вот шарниры...

Он не договорил, потому что слово «шарниры» прозвучало для него самого как-то по-новому и снова вызвало давешнюю рассеянность. Он даже не обратил внимания на то, что Владимиров назвал ее Аллочкой: «Ну зачтем вам, Аллочка, как курсовой проект»... Яковлев стал рассеянно прислушиваться к этому слову «шарнир», которое еще звучало в сознании и чем-то беспокоило.

Яковлев смотрел на тонкое печальное лицо девушки, сидевшей в кресле напротив, и в то же время видел себя — грязного, пропахшего соляром, копошащегося в ремонтной яме под отдающим гарью брюхом тяжелого самосвала...

— Есть каталог частей МАЗа? — вдруг резко спросил он у Владимирова и встал.

— Есть,— Владимиров машинально бросил взгляд на книжный шкаф. — Но...

Яковлев не дослушал, шагнул к шкафу, широким, размашистым движением распахнул обе створки дверей, почти не глядя нашел рукой альбом большого формата с черным корешком, уверенно раскрыл его, сказал коротко:

— Вот! — И, подойдя к столу, положив раскрытый альбом перед Владимировым, указал пальцем. Сейчас он чувствовал себя ловким и ладным, и наплевать было на то, что в порах кожи рук черная грязь, что от серой мешковатой спецовки разит керосином. Сейчас он, Яковлев, нравился сам себе и верил, что нравится девушке.

Владимиров, недоуменно подняв бровь, смотрел на чертеж, потом нагнулся ниже, сузил глаза. Тишина была отчетливой и веской.

— Гриша, это гениально! — Владимиров резко поднял голову, посмотрел на Яковлева каким-то странным взглядом и сразу же повернулся к девушке. — Вот, Аллочка, посмотрите! Григорий Иванович нашел аналог. Я же знал, что он обязательно что-нибудь придумает. Шарнир рулевой тяги МАЗ-200 — великолепно! То, что надо, и диаметр почти совпадает.

Алла встала, чтобы взять альбом.

— Ну, я пошел,— сказал Яковлев. — Выписывайте эти наконечники, штук десять,— и направился к двери.

— Гриша, подождите,— остановил Владимиров,— а как сухарики?

— Отштампуем вгорячую, потом раскатаем на станке этим наконечником. Ну, испортим один,— ответил Яковлев и открыл дверь. Выходя, он не обернулся — знал, что девушка смотрит ему вслед...

...Алла шевельнула плечом. Яковлев убрал руку и сразу отошел, чтобы не чувствовать этого прозрачного и чистого запаха ее волос. Он снова стал смотреть на извивы дорог полигона. За деревьями, на грунтовой трассе, повторяющей рельеф местности, уже замелькали цветные кузова первых машин. По скоростному кольцу промчался приземистый желтый микроавтобус, его сплошные стекла отражали солнце так, что даже издали было больно глазам, но Яковлев, не отворачиваясь, следил за ним. Чуть вибрировало перекрытие от работы двигателей на многочисленных стендах, и глухой ровный гул, воспринимавшийся привычным ухом как тишина, наполнял комнату.

Алла подошла, стала рядом. Он молча и бездумно следил за автобусом.

— Ты прости меня,— сказала она, дотронувшись до его локтя. — Это чисто бабье, нервы сдают.

— Да я тоже хорош,— глухо ответил Яковлев и только тогда повернулся к ней, но больше ничего не сказал, потому что глаза Аллы были сухими и смотрели холодно и пристально. И от этого взгляда Яковлев почувствовал себя увереннее, он уже не жалел о тех словах, которые вырвались, казалось бы, в раздражении, даже какое-то удовлетворение почувствовал от того, что сказал. И уже запах ее духов не казался таким тревожащим.

— Ну а все-таки, что ты задумал? — спросила Алла, не отводя пристального взгляда.

Яковлев достал сигарету, долго и сосредоточенно разминал ее, покручивая в пальцах. Он и сам не знал, что задумал. Было только раздражение и потребность действовать, действовать немедленно, чтобы хоть как-то прорвать эту тягучую, как резина, неопределенность.

Вибрировало перекрытие под ногами, в глухой ровный гул работающих стендов врывался доносившийся с полигона скрежет тормозов, рычание двигателей на перегазовках, свист колесной резины на виражах.

Яковлев чувствовал на себе пристальный холодный взгляд Аллы и внутренне твердел. Но отвечать почему-то не хотелось: женщина с этими холодными глазами была совсем чужой.

Он зажег сигарету, сделал несколько затяжек и сказал:

— Я пока ничего не знаю, знаю только, что нужно вести работу дальше, а дальше без дизайнера нельзя.

— Но почему именно этот Жорес? Он же — бездарь! Над ним смеются все,— Алла нетерпеливо переступила с ноги на ногу.

— Над нами смеялись бы не меньше, если бы знали, что мы собираемся лучше «ситроена» и «фольксвагена» сделать. А Жорес вовсе не бездарь. Он талантлив, толь-

ко простодушен, да и на истерике весь. У него же никогда не было настоящей работы,— Яковлев стряхивал пепел в левую ладонь, потому что здесь в комнате не было пепельницы.

— Ну и что, ты все ему расскажешь?

— Да,— твердо сказал он. — А как ты думала? Привлекать человека, просить работать бесплатно и не рассказать, да? — Вышел на балкон, вытряхнул пепел через перила и вернулся в комнату. — И вообще, чтобы человек работал, нужно, чтобы он поверил в эту машину. А когда не верит, да еще и не его это дело, то... — Яковлев не закончил, махнул коротко рукой и смолк, испугавшись, что Алла снова примет это на счет мужа.

Но она спокойно отошла к столу и оттуда сказала:

— Ну, тебе видней, в конце концов, ты — главный. Я боюсь, что Жорес-Прогресс растреплет по всему институту. Он же типичный выступальщик. А тогда и Игорь ничем не сможет помочь. Старики на совете сразу похоронят нас... По первому разряду похоронят,— Алла выдвинула ящик стола, стала доставать бумаги.

— Да, это они здорово умеют делать,— согласился он.

— Тогда не дави на Игоря, тем более так по-хамски, как сегодня. Знаешь же, что он заинтересован не меньше тебя. — Алла села за стол, зашелестела листами ка́лек.

— Ладно, я пойду. А потом ноль четырнадцатый гонять буду, все-таки база там неверно рассчитана. — Яковлев помедлил секунду, но Алла не ответила. Он вышел, плотно притворил дверь и окунулся в привычный грохот, даже не слышал своих шагов по металлическим ступеням винтовой лестницы.

Ворота лаборатории были открыты, слесари уже выкатили оснащенное шасси на полигон. А за стеной все ревел двигатель.

В стеклянном переходе он почему-то остановился перед аквариумом с вуалехвостами. Пузатые красно-перла-

мутровые рыбки тихо плавали вдоль переднего стекла, медленно взмахивая полупрозрачными шлейфами плавников и хвоста. Зелень водяных растений в аквариуме была сочной и яркой.

Яковлев смотрел на этот замкнутый мирок, в котором время, казалось, течет очень медленно и бессмысленно, как бессмысленно плавают эти красные рыбки вдоль стекла из конца в конец аквариума, и думал о том, что последние несколько лет он так же бездумно мельтешил, замкнутый в какой-то умозрительный мир, где время тоже остановилось. Нет, вернее, время двигалось, а он, Григорий Яковлев, все кружился в выдуманном мирке и только теперь увидел, сколько этого времени утекло. Бессмысленно. Безвозвратно. Он отвел взгляд от аквариума, и солнце ударило в глаза. Отсюда, из перехода, тоже виден был полигон, и машины, мчащиеся по дорогам, почему-то показались цветными игрушками. Сегодня все казалось ему ненастоящим. Только глаза Аллы — сухие, пристальные и холодные, когда она сказала: «Ты прости меня»,— только эти глаза были настоящими. В них был неподдельный холод...

Черт возьми, сколько же лет длится этот противоестественный, выматывающий разговор взглядами и недомолвками, разговор двоих, при котором незримо присутствует третий. Почти десять лет! И уже не понять, не вспомнить, когда это началось. Может быть, тогда, в кабинете заведующего кафедрой? Черт, как молоды они были. Тому угрюмоватому и робкому слесарю, каким был Яковлев, только-только исполнилось двадцать четыре года, а той студентке четвертого курса, Аллочке Синцовой,— всего двадцать два. И профессору — впрочем, не был тогда еще Игорь Владимирович профессором,— ему, доценту Владимирову, за год до того получившему кафедру, было всего сорок или сорок один. Как давно это было, и — даже смешно,— каким старым тогда казался Владимиров тому слесарю, взволнованному первым чув-

ством и первыми раздумьями о жизни. До сих пор Яковлев помнил тогдашнее свое ощущение неловкости, а потом и победительности, когда он в кабинете Владимирова ткнул пальцем в альбом и сказал: «Вот!»

Может быть, тогда это и началось? Может быть, ткнув пальцем, он все-таки уловил ее удивленный и заинтересованный взгляд? Возможно, так и было. Но Яковлев не мог бы поручиться, что это было именно так. Он лучше помнил тот день, когда она, неделю спустя после того разговора, пришла в мастерскую.

Было послеобеденное время, Яковлев уже справился с двумя лабораторными испытаниями, назначенными на тот день, и теперь занимался автомобилем, который готовил к осенним гонкам: нужно было приварить два кронштейна. Автомобиль стоял без колес, на колодках, облицовки еще не было — лишь тонкие цельнотянутые трубы составляли скелет будущего кузова. Яковлев включил сварочный трансформатор, бросил на пол лист асбеста и уже поднес правой рукой держатель с электродом к месту сварки, а левой надвинул на лицо щиток с темным стеклом, когда услышал скрип тяжелой двери. Сидя на корточках, он повернул голову и поднял щиток.

Она стояла в проеме распахнутой двери и медленно оглядывала сумрачное помещение. А Яковлев так и сидел на корточках с держателем в руке и молча смотрел на нее снизу вверх. И она казалась ему очень высокой.

— Здравствуйте, Гриша. — Она переступила порог и закрыла дверь.

Он бросил держатель, неловко встал и стащил брезентовые рукавицы, но, поглядев на свои ладони, спрятал руки за спину и глухо ответил:

— Здравствуйте. — И сам понял, что это прозвучало угрюмо и неприветливо. Но ему почему-то было неловко называть ее по имени.

— А я прямо из Автоснаба. Игорь Владимирович до-

говорился с ними вчера, и сегодня я уже получила эти наконечники. — Алла улыбнулась, качнула портфель.

— Ну, хорошо,— кивнул головой Яковлев и протянул руку, чтобы взять у нее портфель, но щиток с темным стеклом опустился ему на лицо, он только нелепо взмахнул рукой в пустоте и услышал ее веселый смех.— Черт! — Он сорвал щиток вместе с кепкой, бросил на асбест и, не скрывая досады, взял у нее неожиданно тяжелый портфель.

— Вы в этой маске похожи на древнего рыцаря,— сказала она.

— В следующий раз специально надену к вашему приходу,— ответил Яковлев и поставил портфель на верстак. — Ну, доставайте ваши наконечники.

— Вы обиделись, Гриша, на рыцаря? — Она подошла ближе и заглянула ему в глаза.

— Я слесарь, а не рыцарь,— буркнул он и осекся под ее взглядом. Никогда еще он не видел глаз такой густой синевы.

— Очень жаль,— сказала она, вдруг погрустнев,— потому что рыцарей теперь совсем мало. — Она раскрыла портфель и медленными движениями стала выкладывать на обитый железом верстак завернутые в пергамент наконечники.

Яковлев молча выдвинул ящик, ссыпал их туда и резко задвинул на место.

— У вас все чертежи готовы?

— Почти все. А когда вы думаете начать?

— Завтра и начну.

— Прямо завтра?

— Да, времени нет ждать,— Яковлев намеренно говорил отрывисто и хмуро.

— Ну, разве тут так много работы? — Алла взяла с верстака портфель, машинально прижала его двумя руками к груди, лицо ее стало растерянным и еще более

красивым. Яковлев еле сдержал улыбку и тем же своим хмурым тоном, но уже не так отрывисто объяснил:

— Мне же с ней на гонки ехать, так что до осени нужно как следует отработать, чтобы быть уверенным, что шею не свернешь. Вот такие дела... — Он уже без смущения смотрел в ее нестерпимо синие глаза.

— Хорошо, тогда завтра к обеду все чертежи будут готовы. До свиданья.

Яковлев долго стоял, смотрел на дверь и чувствовал злость и досаду за свою неловкость, за то, что не был самим собой с этой девушкой. И это ощущение неуклюжей туповатости, нетождественности самому себе преследовало его и на следующий день, когда Алла принесла аккуратные чертежи подвески.

Она пришла почти к самому концу работы. Яковлев уже умылся, переодел брюки, но был в одной майке. Когда Алла вошла в мастерскую, он смутился, поспешно влез в рубашку, застегнул пуговицы, но заправить в брюки постеснялся. Алла не заметила его смущения или сделала вид, что не заметила, протянула свернутые в трубку чертежи.

— Вот, все готово. Извините, что задержалась. Пришлось несколько деталировок перечерчивать,— она виновато и в то же время лукаво посмотрела на него.

Яковлев отметил, что модный светло-серый костюм с длинным жакетом и желтой блузой очень идет ей, но промолчал и, раскатав чертежи на верстаке, включил лампу. Он долго и придирчиво рассматривал общие виды и листы деталировок, чувствуя, что девушка, стоящая рядом, волнуется и ждет его оценки. И это мгновенное чувство своей значительности вызывало сложное ощущение удовольствия и в то же время унижения: Яковлев понимал, что сам по себе он не интересует Аллу, и если бы не эти листы чертежей, она ни минуты не стояла бы рядом.

Он сжал зубы, чтобы согнать с лица выражение умной значительности, выпрямился.

— Чертежи понятные, хорошие. Завтра начну делать, материал и детали кое-какие я подобрал. А если что придется изменить — ну там диаметр отверстия какого-нибудь или резьбу, потому что делать-то все придется из подручных всяких железяк,— то я зайду к вам. А сегодня вот отпросился пораньше. Ребята из гаража, где раньше работал, новую машину будут прокатывать. Я делать ее начинал, так что посмотреть охота. — Яковлев и сам не знал, почему пустился в объяснения, он словно бы оправдывался за то, что не начинает работу над подвеской сию минуту.

— Машина серийная? — спросила Алла.

— Нет, гоночная, тысяча двести кубов... Движок интересный, если только выдержит все заезды. — Он так и стоял перед ней в рубашке навыпуск.

— Это на кольце будет? — Она сделала шаг вперед.

— Да, вот через полтора часа. — Яковлев взглянул на часы.

— Гриша, возьмите меня с собой, пожалуйста! Я еще никогда не видела гонок и на кольце не была. — Лицо ее вдруг стало совсем детским.

— Поедем,— вырвалось у Яковлева, но он сейчас же пожалел об этом; представил себе эту девушку в ее светло-сером костюме и желтой блузе среди грубоватых и горластых шоферов и сжал губы. «Подумают, что специально похвалиться привез»,— мелькнула досадливая мысль. Но отказаться от своего приглашения уже не мог.

Трамвай № 40 был переполнен студентами и сотрудниками окрестных НИИ, пассажиры эти давно притерлись друг к другу и толкотню и давку переносили с юмором.

Яковлева и Аллу плотно затиснули в угол задней площадки вагона — даже трудно было дышать. Но через несколько остановок, хотя в вагон и входили новые

пассажиры, все как-то утряслись, разместились. Яковлев повернулся к Алле лицом и, упершись ладонями в оконные косяки возле ее плеч, как бы отгородил от тесноты.

— На Сердобольской многие выйдут, будет свободно,— сказал он.

Алла улыбнулась, чуть прикрыв глаза, и только тогда он вдруг понял, как близко ее лицо,— от этого пресеклось дыхание.

— Я первый год очень мучилась в этом трамвае, а теперь привыкла. Утром даже гимнастику заменяет.— Она все еще улыбалась.

— А я плохо переношу общественный транспорт,— ответил он и стал смотреть в окно — лишь бы не видеть ее лица в такой сковывающей близости.

— Неужели? Вот уж не думала,— удивленно сказала она.

— Да, у нас к общежитию автобус из гаража подавали утром, а вечером я поздно уходил, и в троллейбусах уже свободно было. А потом я привык на машине или пешком. До сих пор не знаю маршрутов городского транспорта, а на машине куда угодно привезу.— Он все смотрел в окно вагона на уже клонящийся к вечеру день, на осторожные маневры автомобилей на узком, покрытом диабазом проспекте. Так было спокойнее.

— А вы и сейчас там, в общежитии, живете? — спросила Алла.

— Ну а где же еще?

— Не выгоняют из-за того, что к нам перешли работать?

— Пока нет. До зимы, сказали, не тронут... А к этому времени Игорь Владимирович обещал, что дадут комнату.— Яковлев мельком взглянул Алле в лицо и снова отвернулся к окну. Почему-то ему было легко отвечать на ее вопросы, хотя обычно он не любил говорить о себе.

— Ну, если Владимиров обещал, то дадут. Новоселье не зажмете?

Яковлев повернулся, увидел ее лукавую улыбку, сам заулыбался и сказал:

— Только дали бы, а за этим дело не станет.

И тут отпустила его скованность. Он уже без напряжения смотрел ей в лицо, которое было совсем близко. И говорил свободно и откровенно, будто знал Аллу давным-давно.

Человек, с детства принужденный жить в общежитиях, почти никогда не остается наедине с самим собой, он привыкает постоянно находиться на людях, но внутренняя потребность хоть иногда побыть одному не исчезает от этого. Безотчетно, незаметно для себя, человек приучается распределять свои чувства и мысли, существовать как бы в двух измерениях. Он разговаривает с соседями по комнате, играет в шахматы или смотрит телевизор вместе со всеми, но в то же время часть его существа живет отъединенно. И странно, что это не превращает такого человека в рассеянного, погруженного в себя чудака, а, наоборот, обостряет наблюдательность, приучает улавливать самые тонкие оттенки настроения окружающих людей.

И в тесноте вихляющего по улицам Выборгской стороны трамвайного вагона Яковлеву вдруг стало ясно, что эта красивая девушка уже поняла, уже «прочитала» его чувства к ней и сама каким-то образом дала понять ему, Яковлеву, что чувства эти нашли отклик. И легко рассказывалось о жизни в общежитиях, об истории знакомства с Владимировым. Но в то же время Григорий понимал, что сами эти чувства никак не должны проявиться пока. Может быть, только пока... А может быть, и никогда,— этого он не знал. Просто, глядя друг другу в глаза, они заключили безмолвный договор хранить этот секрет.

На Большой Зелениной они пересели на тридцать четвертый маршрут. Вагон попался новый, бесшумный, пассажиров было мало, Алла и Яковлев сели у окна друг против друга.

Яковлев уже без всякого смущения смотрел Алле в лицо, следил за сменой выражений, любовался ее улыбкой.

Когда они шли от трамвайного кольца к стадиону, Алла неожиданно взяла его под руку.

— А то мне не угнаться за вами,— тихо сказала она.

Яковлев промолчал, лишь замедлил шаг.

Небо впереди горело оранжевыми и багровыми полосами, веером расходившимися из-за холма стадиона. Он повел Аллу по широкой лестнице главного входа вверх на галерею, сильнее прижал локтем ее руку и сказал:

— Пойдемте быстрее, я вам покажу что-то.

Она прибавила шаг.

На галерее, обрамленной балюстрадой, Яковлев пошел еще быстрее. Он хотел дойти до того места, откуда откроется залив. Алла еле поспевала за ним, дробно стуча каблуками.

Наконец показался залив. Яковлев подвел ее к самой балюстраде и молча повел рукой, указывая вперед.

Солнце еще высоко стояло над горизонтом, но большое густое облако закрывало весь диск, и он только угадывался по розовому свечению, а из-за верхнего и нижнего краев этого розовеющего облака веером выплескивались оранжевые и багровые полосы света. Они неподвижно стояли в небе, а по краям горизонт был прозрачно-желтым; мелкая зыбь залива переливалась красными и бурыми бликами; застыла в неподвижности листва деревьев, и все вокруг было до краев налито тишиной.

Яковлев отступил назад, чтобы оставить девушку наедине с этим светом и заливом.

Они долго стояли так, пока снизу не донеслись шумы моторов.

— Ребята приехали,— тихо сказал Яковлев.

Алла повернулась к нему.

— Гриша, спасибо. Я никогда не видела такого,— глаза ее были влажными и блестели.

— Мы еще закат увидим, тоже здорово. Через час, наверное,— сказал Яковлев.

Они медленно прошли по галерее и спустились вниз по склону холма боковой лестницей. Тут, где обычно во время соревнований стартовали гонщики, уже постреливал мотором приземистый гоночный автомобиль. Удлиненный обтекаемый кузов желтого цвета казался особенно ярким на матово-сером фоне асфальта. Возле автомобиля стояли несколько человек. Их лица в предзакатном свете отливали светлой медью.

Яковлев на шаг опередил Аллу, сказал громко:

— Привет, мастера!

К нему повернулось сразу несколько человек. Начались рукопожатия, шутливая перебранка. Потом Яковлев оглянулся и, указав на Аллу, представил:

— Вот, Алла, тоже автомобилист, через год конструктором будет.

Парни несколько притихли, церемонно здороваясь с ней, а потом снова обступили машину.

— Ну, как движок? — спросил Яковлев и машинально погладил автомобиль по желтому боку.

— Да вроде так, ничего. Перегревался чуть, когда гоняли с поднятым колесом,— ответил ему Володька — старый приятель по гаражу.

— Это нормально, на ходу будет в самый раз. Нука, прогазуй,— Яковлев склонился к облицовке мотора. Володька легко, одним прыжком вскочил в тесную кабину и дал газ. Над тихой безветренной трассой разнесся рев гоночного мотора.

Яковлев, наклонившись, слушал этот рев, потом махнул Володьке рукой, и тот сбросил обороты.

Все закурили. Кто-то спросил:

— Ну что, прогоним разок?

— Может, сядешь, Гриша? — предложил Володька.

Яковлев оглянулся на девушку и ответил:

— Нет уж! Тебе гоняться, ты и езжай. Дайте секундомер, буду рекорд фиксировать. Только ты не очень, сначала тихонько.

Володька кивнул ему из кабины, достал из-под ног шлем и очки.

Яковлев отошел и встал рядом с Аллой, держа секундомер в раскрытой ладони.

— Вот мы с вами будем судьями. Если проскочит круг минуты за две, то значит — нормально.

— А какая это будет скорость? — спросила она.

— Сотня,— ответил Яковлев и крикнул: — Въезд на трассу перекрыли?

— Перекрыли,— откликнулся кто-то. — Там Серый на «Победе».

— Приготовиться! — Яковлев поднял левую руку.

Взревел двигатель. Яковлев резко опустил руку, и машина рванулась вперед, обдав его горячим запахом выхлопных газов.

Он напряженно вслушивался в удаляющийся звук мотора, но все время ощущал близость девушки. И от этого привычный вид асфальтовой трассы, знакомые фигуры старых товарищей по гаражу, красноватая прозрачность предзакатного воздуха — все казалось каким-то другим, новым и волнующим.

Володька прошел десяток кругов и заглушил мотор.

— Нормально,— сказал Яковлев. — Сотню с лишним шел легко,— и отдал секундомер. — Ну как, понравилось? — спросил он у Аллы.

— Да, очень,— быстро ответила она. — Вот проехаться бы по кольцу... интересно.

— Проехаться? — переспросил Яковлев и увидел приближающуюся от главного входа стадиона «Победу». — Сейчас спросим, может, дадут прокатиться...

По внутренней полосе трассы он гнал «Победу» быстро, чтобы сидевшая рядом девушка могла понять, что́ испытывает гонщик на дистанции. Автомобиль был старый, но еще крепкий, и хорошо держал дорогу. Повороты Яковлев брал плавно, жалел резину. Но все равно искоса видел на лице Аллы радостный испуг, когда старая «Победа» кренилась на виражах.

Яковлев знал, что Алла умеет водить машину,— все студенты еще на третьем курсе получали водительские права. Но даже опытные шоферы, привыкшие водить автомобиль по улицам городов и обычным дорогам, испытывали на кольце новое, незнакомое чувство. Здесь, на гладкой асфальтовой полосе, обрамленной шпалерами кустов и деревьев, под рев мощного двигателя человек оставался один на один со скоростью. И скорость здесь, на кольце, не была расхожим словечком, которое к месту и не к месту употребляют журналисты, говоря о динамизме нашего времени; скорость здесь не была и абстрактной величиной задачки из школьного учебника: здесь, на кольце, она оживала и становилась могущественной силой, стремилась положить машину на вираже, выбросить ее за пределы асфальтовой полосы, перевернуть вверх колесами.

И гонщик чувствует эту злую силу скорости. Скорость берет себе в союзники изначальный инстинкт самосохранения: сжимается сердце на повороте, а нога сама стремится убавить газ... Но это и есть единоборство со скоростью — победа над страхом, расчетливый риск. И никто не заставляет человека рисковать головой на этой серой асфальтовой ленте, никто не заставляет его гнаться за этой непонятной, но столь ощутимой здесь, на кольце, скоростью, отвоевывая секунды, даже доли секунд. Человек может не садиться за руль машины, не

надевать шлема и очков гонщика, может заняться собиранием марок, вышиванием гладью или еще чем-то спокойным и безопасным, но почему-то он снова и снова, после успеха и после неудач, напяливает шлем и очки и садится за руль. Никто не принуждает его, он идет на это сам, и значит, скорость — это еще и свобода. Но за все надо платить, и на соревнованиях гонщик теряет в весе несколько килограммов. И вряд ли даже летчик ощущает скорость острее, чем автогонщик. Если ты, притормаживая перед поворотами больше, чем другие, потеряешь на круге всего полсекунды, то за тридцать кругов ты отстанешь от лидера чуть ли не на полкилометра, и на этом полукилометре разместятся все участники гонки, а ты останешься последним... Нет, это не пустая забава — одолеть скорость, победить страх, выжать из машины все, что она может дать, и даже больше...

Когда Яковлев, пройдя поворот «площадь», выехал на внешнюю полосу трассы и убавил газ, день уже совсем померк, асфальт стал темно-лиловым, и потемнели кусты, обрамлявшие дорогу, только кроны высоких деревьев еще освещались медно-красными бликами.

Алла вдруг закрыла лицо руками и прижалась головой к его плечу.

— Господи,— медленно, изменившимся голосом сказала она,— никогда не думала, что это так... так страшно и радостно. — Она выпрямилась, опустила руки, и Яковлев, бросив мимолетный взгляд, увидел, что лицо у нее усталое и серьезное. Он ничего не сказал и повел машину совсем медленно.

— А закат пропустили,— огорченно заметила Алла.

— Нет, еще не пропустили,— Яковлев подвернул к самой обочине и остановил машину. — Идем быстрей.

Через проход в шпалере они вышли на открытое место. Прямо перед ними простиралась стеклянно-сумрачная гладь залива. У берега вода казалась бурой, но дальше к горизонту светлела и сливалась с соломенным

небом. Оплывающий сплюснутый шар горел неоновым светом и медленно погружался в воду. И меркли верхушки деревьев вокруг...

Яковлев запомнил тот вечер и тот закат.

Домой они возвращались в пустом трамвае. Снова сидели у окна друг против друга и почти не разговаривали.

Яковлев задумчиво смотрел на светящиеся окна домов, на витрины, на людей, по-летнему ярко одетых, куда-то устремленных. Все это, виденное много раз и уже не вызывавшее никаких чувств, сейчас, в присутствии этой девушки, казалось исполненным смысла и непривычно красивым.

Он проводил ее до самого подъезда дома.

Заря белой ночи уже занялась над городом, и свет был неверный и странный, будто плыли и плыли в воздухе мелкие искрящиеся чешуйки слюды.

Лицо девушки было задумчивым, обращенным в себя. Но когда она протянула Яковлеву руку, их взгляды встретились на миг. И что-то вдруг радостно дрогнуло в нем.

Яковлев только чуть коснулся теплой маленькой ладони. Он еще постоял, прислушиваясь к дроби ее каблуков по ступеням лестницы, а потом побрел узкими безлюдными улочками Петроградской стороны, стараясь почему-то не нарушать их покой шумом шагов. Что-то все дрожало в нем, радостно и в то же время пугающе. И вспоминал он этот ее короткий, казалось, таящий обещание взгляд.

...Яковлев стоял в стеклянном переходе института и, щурясь от солнца, смотрел на полигон, где мчащиеся в отдалении машины казались цветными игрушками... Сегодня все казалось ему ненастоящим. Только этот взгляд Аллы, когда она сказала: «Ты прости меня»,— только

этот взгляд был настоящим. В нем был неподдельный холод... Сколько же лет длится этот иссушающий, как недуг, разговор взглядами. И уже не понять: зачем, почему? Он очень устал от всего этого, и только дело держит его здесь. Только машина, которой, в сущности, еще нет, но которую он, Яковлев, так четко себе представляет. Нет, это он должен довести до конца. Здесь он не сойдет с дистанции...

Яковлев тряхнул головой, отгоняя непрошеные мысли, сжал губы и, упрямо набычившись, вышел из перехода в коридор главного корпуса. Он уже принял решение и знал, что все расскажет Жоресу, — ему был нужен художник-конструктор, дизайнер.

Конструктор любого нового автомобиля решает сложную и трудную задачу. Он должен создать машину лучше существующих. Это значит, что конструктор вступает в единоборство со всеми достижениями автомобильной науки и техники, со всеми своими предшественниками, со всеми ограничениями, которые накладывает современная технология, современные требования унификации, современные материалы, у которых, как кажется конструктору, всегда недостает прочности, всегда избыток веса и слишком высокая цена.

Конструктор маленького легкового автомобиля стремится сделать невозможное: его автомобиль должен быть не хуже большого, но меньше, легче и дешевле. Это несовместимые требования. Для того чтобы в маленький автомобиль поместилось столько же пассажиров, сколько помещается, например, в «Волге», нужно, чтобы этот автомобиль изнутри был... больше, чем снаружи; для того чтобы этот автомобиль был легче, нужно уменьшить металлоемкость конструкции, но это приведет к потере прочности, а если строить автомобиль из легких и прочных сплавов и металлов, например из титана, — он будет стоить столько, сколько стоит самолет. И еще конструктору противостоит скорость, устойчи-

вость, маневренность, надежность и комфортабельность, а это взаимоисключающие качества: скорость ухудшает устойчивость, устойчивость и скорость ухудшают маневренность, и от всех этих качеств зависит надежность, а комфортабельность требует увеличения размеров, а значит — и веса, — и, как в сказке «У попа была собака...», конструктор маленького легкового автомобиля снова оказывается там, откуда начал. Поэтому конструкция любого автомобиля требует компромиссных решений, конструкция маленького автомобиля — сплошной компромисс. Но пока человечеству нужны автомобили, до тех пор не переведутся люди, которые их конструируют.

Каждый год в международных автомобильных салонах демонстрируются все новые и новые конструкции машин. И кажется, что уж в этом-то году исчерпаны все мыслимые возможности совершенствования легкового автомобиля, но на будущий год появляются новые конструкции, более совершенные, более экономичные и более красивые. Проходит год-два, самое большое — пять лет, и автомобиль новой конструкции устаревает, потому что не отвечает возрастающим требованиям экономичности, удобства, красоты. Особенно быстро стареют самые маленькие автомобили, потому что в их конструкции заложен самый большой компромисс. В истории мирового автостроения известны только два-три случая, когда маленький автомобиль без изменений выпускался долгие годы, потому что мог удовлетворять растущим требованиям практичности, — так было со знаменитым «жуком», с «фольксвагеном», который простоял на конвейере больше тридцати лет. Но пришел и его черед... А часто бывает так, что автомобиль устаревает, еще не успев выехать за ворота проектного института. И любой конструктор мечтает построить такой автомобиль, который был бы современен не только сегодня, но и завтра, и не только завтра, но и послезавтра.

И любой конструктор знает, что это очень трудно, почти невозможно. И конструктор надеется, что именно он сделает невозможное...

Приблизительно так можно коротко и на понятном неспециалисту языке охарактеризовать те мысли и чувства, которыми жил Григорий Яковлев последние два года. И теперь он шел к художнику-конструктору, который является одним из главных, неотъемлемых участников проектирования современного автомобиля. И этого человека нужно было завоевать, заставить поверить в свою идею, чтобы он зажегся, ибо хороший автомобиль могут создать только единомышленники, люди, понимающие друг друга с полуслова.

Дизайнер Жорес Синичкин был человеком со странностями, но безвредным. Такие люди встречаются почти в каждом коллективе, и, если они незлобивы, молва охотно объявляет их чудаками. Чудак с общего молчаливого согласия обретает право на свои странности, на нестандартные мысли и высказывания, но окружающие — тоже с молчаливого согласия — уже никогда не принимают его всерьез. Такое мнение сложилось в институте о Жоресе Синичкине. Даже в сочетании его имени и фамилии было что-то несообразное, подтверждающее это мнение о нем.

Высказывания Синичкина на заседаниях научно-технического совета были так нелепо парадоксальны, что вызывали только приступы всеобщего веселья. Его не одергивали лишь потому, что выступления эти были хорошими интермедиями среди серьезных обсуждений. Синичкин ратовал за выдвинутый им самим народный стиль художественного проектирования кузовов автомобилей. «Вглядитесь в облик «тойоты», — призывал он.— Разве нет в ней чего-то, присущего только японской архитектуре, и даже больше — типичным чертам японского лица? А в лучших итальянских кузовах — нет ли чего-то от неаполитанских песен?»

Такие призывы Синичкина всегда вызывали смех — впрочем, достаточно благопристойный.

За эти свои выступления, за призывы заглянуть в завтрашний день автостроения Синичкин получил прозвище Прогресс, так хорошо рифмовавшееся с его именем. И за глаза его называли не иначе как Жорес-Прогресс. И вот этого человека Григорий Яковлев хотел привлечь дизайнером в свой пока еще не существующий проект.

Распространено такое мнение — его придерживаются даже некоторые автостроители, — что художник-конструктор просто придает уже готовому автомобилю красивую внешность. Но это неверно. Хотя от художника-конструктора и требуют, чтобы форма автомобиля была приятна для глаз, — недаром в названии этой профессии присутствует слово «художник», — но что такое красивый автомобиль? Если бы кто-нибудь мог выразить это формулой, краткой и изящной... Нет такой формулы красоты.

Что красивее — золоченая карета, в которой Золушка ездила на бал, или современный легковой автомобиль? Если подумать над этим вопросом, то обнаружится, что эти вещи несравнимы. Карета — вся в золоте, с чеканными, золоченой же бронзы, ручками, с накладными гербами на бортах, со стеганым голубого шелка диванчиком, вышитыми занавесочками на окнах, — конечно же, произведение искусства, хотя, по правде говоря, можно ездить и в карете попроще. Но автомобиль быстроходнее, мощнее и безопаснее кареты, да и теплее зимой и вообще удобнее...

Вот, оказывается, сравнивая внешность средств передвижения, мы уже не можем отвлечься от их технической характеристики. И все же, учитывая лишь техническое совершенство автомобиля, нельзя утверждать, что он красивее Золушкиной кареты... И карета, и автомобиль были созданы на основе возможностей своего

времени и отвечали запросам своего времени. И никто сейчас не поедет даже в самой красивой карете, а предпочтет современный автомобиль... Да и каждая Золушка знает, что в автомобиле она — принцесса... А красота автомобиля как результат работы дизайнера зависит (так сказал один Большой Специалист) от эмоциональной насыщенности и ясности мысли, проявленной при решении задач. А задача художника-конструктора — дать форму сущности автомобиля, его конструктивной идее. И не какой-то общей идее, а именно этого автомобиля, именно с этими определенными техническими характеристиками и именно в это, определенное время — в такие-то годы двадцатого века. Значит, художник — конструктор автомобиля не просто поставщик зрительного комфорта, а поставщик истины (это сказал все тот же Большой Специалист). Да, но почему тогда старые вещи, которыми уже нельзя пользоваться, доставляют нам наслаждение? Почему мы с восхищением рассматриваем в музее ту же карету? Наверное, в музее остается только красота, и ее восприятию не мешает различие эпох и технических достижений. У искусства нет прошлого, у техники оно есть. Но, кто знает, может быть, и в фотонном веке потомки будут восхищаться красотой нашего современного автомобиля, хотя он будет казаться им технически еще более устаревшим, чем нам — золоченая Золушкина карета.

Григорий Яковлев почему-то верил в Жореса Синичкина, догадывался, что Жорес по-настоящему талантлив. За экзальтацией его речей, потешавших многих сотрудников института, Яковлев улавливал что-то серьезное и близкое своим мыслям. И еще он просто сочувствовал Синичкину.

Когда человек долго и трудно вынашивает какой-нибудь замысел, он и окружающих начинает воспринимать в зависимости от их отношения к этому замыслу. Но непонимающих часто больше, чем единомышленни-

ков: этих, вторых, иногда не бывает совсем. И человек со своим замыслом начинает ощущать одиночество, это делает его нервозным, чересчур словоохотливым и обидчивым, — хорошо, если еще сохраняется чувство юмора. Яковлев понимал, что с Синичкиным происходит именно так. Он и сам испытывал подобные чувства, но ему было легче, и потому что с самого начала у него были единомышленники — Валя Сулин, с которым они строили гоночные машины еще когда учились в Политехническом, и Алла. Да и Владимиров, хотя он и не принимал прямого участия в разработке технического задания на новый автомобиль, поддерживал эту работу. А если быть честным, то как раз Игорь Владимирович Владимиров подтолкнул его, Григория Яковлева, на этот путь. Да, именно он, Владимиров, подкинул Яковлеву не только идейку проектировать массовый микроавтомобиль, но и еще кое-что более конкретное. Разве ушел бы Григорий с завода, с интересной работы и от приличной зарплаты, на тощую ставку младшего научного сотрудника, с однообразной работой?.. Да, в начале всего стоял Игорь Владимирович Владимиров; если вдуматься, то именно он определил судьбу Григория Яковлева. Ведь неизвестно, кем бы стал тот угрюмоватый автослесарь и гонщик-любитель, которым Яковлев был десять лет назад, не вмешайся в его жизнь доцент Владимиров. А теперь они, кажется, стали противниками...

Яковлев плотно сжал губы, глубоко вздохнул, чтобы как-то сосредоточиться перед разговором с Жоресом, и открыл дверь в отдел художественного конструирования.

3

Алла Кирилловна Синцова плакала. Как только Григорий закрыл за собой дверь, она снова уронила голову на руки, лежавшие на столе, и заревела, как

девчонка. И было ей безразлично, что лицо опухнет, расплывутся ресницы, а глаза покраснеют. Она давным-давно так не плакала, может быть, с самого детства, и слезы даже доставляли какое-то странное удовольствие: Алла Кирилловна на какие-то минуты почувствовала себя маленькой. И плакала она вовсе не из-за этого резкого разговора с Григорием, — деловые споры и даже перепалки случались между ними и раньше, без этого не обходится никакая работа. Но, может быть, впервые за много лет их знакомства с Григорием Алла Кирилловна почувствовала чуть ли не враждебность Яковлева. И дело тут было не в словах, не в раздраженном тоне — это она могла объяснить усталостью Григория, неопределенностью, в которой повис их общий проект, — слова и тон ничего не значили при давности их знакомства и дружбы (дружбы ли?), тут важнее было другое, что по-женски остро и ясно почувствовала Алла Кирилловна Синцова. Она вдруг ощутила, что Григорий внутренне независим от нее, что ему безразлично, радуется или горюет она, Алла Синцова. И еще она поняла, что совсем плохо знает этого человека. Да, ничего она не знала о характере Яковлева, какой он — добрый или черствый, холодный или страстный, импульсивный или расчетливый, — Алла Кирилловна могла лишь вспомнить лица: лицо слесаря-лаборанта Гриши Яковлева, напряженное и слегка испуганное, его застенчивый и влюбленный взгляд; озабоченное, усталое лицо студента-заочника, совмещающего учебу с работой и автогонками, затаенное, но уже зрелое чувство к ней в его внимательных глазах; просветленное, полное надежд лицо инженера Григория Ивановича Яковлева, только что защитившего диплом, тема которого сразу заинтересовала завод.

Она помнила только лица и взгляды. Даже не лица и взгляды, ибо эти лица и взгляды — если бы она действительно помнила их — отражали бы возмужание,

развитие характера того человека, которого звали Григорий Яковлев. Но Алла Кирилловна помнила только свое отражение в этих глазах и взглядах. Сейчас она особенно ясно поняла, что этот давно знакомый и все же непонятный человек — сначала диковатый парень, потом немногословный, сдержанный мужчина — был для нее зеркалом, в которое она гляделась много лет подряд. Оказывается, глядя на него, она видела только себя, потому что, казалось, его отношение к ней, Аллочке Синцовой, естественно, неизменно и чуть ли не вечно, и дело только в ней самой: стоит только намеком дать понять этому парню, смотрящему на нее с откровенным обожанием, и тогда... А что тогда? Об этом Алла Кирилловна не задумывалась, хотя считала себя женщиной трезвой и даже расчетливой. И действительно, она неплохо разбиралась в людях, не переоценивала себя. И замуж за своего профессора Игоря Владимировича Владимирова студентка-дипломница Аллочка Синцова шла с ясным сознанием того, что ее ждет прочная, обеспеченная жизнь, бережное понимание умного и доброго мужа — надежного, опытного и хорошего человека. Нет, не то чтобы Аллочка Синцова была равнодушна к Игорю Владимировичу и только рассудком понимала его достоинства. Нет, вовсе нет.

Владимирову тогда только-только исполнилось сорок два года. Он был высок, сухощав, по-юношески стремителен жестами и походкой, строен, и в то же время было в нем что-то такое, чего никогда не бывает в юноше. Искорки седины в темно-каштановых густых волосах, какая-то бархатная глубина темно-карих глаз, серые, неброские, но хорошо пригнанные костюмы — все это создавало впечатление изысканной элегантности, выгодно отличавшее его от юношей. На его лекции приходили девушки даже с других факультетов. И еще — Игорь Владимирович все понимал, казалось, он умел читать мысли, угадывать желания, словом, двадцати-

трехлетняя Аллочка Синцова поняла, что жизнь с Игорем Владимировичем сложится хорошо. И было еще одно обстоятельство, которое, хотя и косвенно, повлияло на Аллочку. Весь факультет с сочувствием — впрочем, весьма интеллигентно и тактично — следил за развитием этого романа. Это молчаливое одобрение отношений Аллочки и профессора Владимирова прямо-таки витало в воздухе факультетских коридоров и как бы обязывало Аллочку к тому, чтобы роман завершился счастливым концом — свадьбой.

Люди не любят несоответствий. Конечно, будь Аллочка Синцова дурнушкой, ей ни за что бы не простили этого. Владимиров был всеобщим любимцем. Ему сочувствовали, когда он разводился с первой женой, взбалмошной, истеричной женщиной. Его считали талантливым, от него многого ждали. И общее мнение не простило бы какой-нибудь дурнушке симпатию своего любимца. Вообще женщинам многое не прощают. Увлечение пустякового, ничем не выдающегося мужчины общепризнанной красавицей понятно и извинительно, но притязания некрасивой женщины на внимание всеобщего любимца молва осудит. Аллочку Синцову общее мнение считало достойной претенденткой. Это давало ей ощущение уверенности, правоты. И если быть честной до конца... то она еще почти за год до окончания института знала, что выйдет замуж за Игоря Владимировича, хотя тогда еще все как будто было неясно.

Но вот к Григорию Яковлеву, вернее — к тогдашнему Грише, Аллочку Синцову влекло без всякой рассудочности. Этот парень был так понятен в своем обожании, — временами Аллочке даже казалось, что Григорий моложе ее, так он был застенчив; рядом с ним она чувствовала свою женскую силу. И в то же время было в Григории что-то настоящее, мужское — за этой застенчивой немногословностью Аллочка чувствовала твердость. Иной раз казалось даже непонятно, как сочета-

ется в Грише Яковлеве застенчивость с хладнокровием и жесткостью автогонщика, который почти всегда выигрывал заезды на кольце. Алла тогда тоже увлеклась этими гонками, конструировала подвески для машин, которые строили Яковлев и Владимиров, и страстно «болела», сидя на ступенях бетонной лестницы, полого сбегавшей со склона холма к серой полосе разогретого солнцем и автомобильными шинами асфальта... Словом, к Григорию ее влекло что-то неосознанное, бесконтрольное. Она даже теряла голову иной раз.

...Было это перед самым окончанием института. Она писала диплом, немного волновалась — уж очень хотелось, чтобы сконструированная ею система передней подвески получила одобрение и была принята к производству на заводе, модернизирующем свою уже порядком устаревшую модель автомобиля. Подвеска эта стояла и на гоночной машине Владимирова — Яковлева, и было так важно и нужно, чтобы и в этот раз Григорий пришел первым на летних гонках! И Аллочка Синцова сидела ни жива ни мертва на ступени пологой бетонной лестницы.

Палило июльское солнце, и воздух над гоночной трассой был тяжелым и плотным. Он вибрировал от рева моторов и давил на уши, вызывая в них боль... А Григорий за шесть кругов до финиша шел лишь одиннадцатым, и она уже ни на что не надеялась. Рядом сидел Игорь Владимирович, непроницаемый и спокойный, он с безразличным видом записывал результаты каждого круга в разграфленную табличку на узком длинном листке бумаги. Аллу злила боль в ушах, злило это безразличие Владимирова... Рычали моторы, хрипел голос судьи-информатора, свистела резина на виражах. Григорий с каждым кругом продвигался вперед, увеличивая скорость, но — какая разница, придет ли он седьмым, шестым или даже пятым? Алла видела, как подчеркнуто-аккуратно он выполняет острый поворот на

«аппендикс» и даже на большом вираже старается пройти по внешней дуге. А это значило только одно: Григорий не верит машине, почувствовал ее неустойчивость на поворотах, хотя на тренировках эта новая подвеска вела себя хорошо. «Что же это?! Что?!»

Ей хотелось закричать, дернуть за рукав профессора, чтобы он перестал сидеть бесчувственным истуканом, подставив солнцу свой четкий профиль. «Что же это?! Что?!» Она знала, как умеет брать повороты Григорий, — в этом заезде ему не было равных по технике... но он шел только седьмым за четыре круга до финиша. Потом — пятым за два круга до конца... Алла как-то поникла тогда, смирилась с неизбежным поражением, даже перестала смотреть на трассу и прикрыла ладонями уши, чтобы утишить боль и не слышать занудного, гнусавого голоса информатора, но вдруг почувствовала, что профессор Владимиров волнуется. Он заерзал на разостланной газете, спрятал свою табличку в карман и даже привстал потом, глядя в короткую, затененную зеленью аллею «аппендикса». Алла, пока еще ничего не понимая, тоже стала смотреть в узкий просвет «аппендикса».

Лидер на длинном приземистом красном автомобиле появился в аллее неожиданно, будто вырос из-под земли. За ним, рыча мотором, с воем покрышек показалась ярко-желтая широкая машина. Она висела у лидера на хвосте. Гонщик шел на отчаянный риск, потому что при такой скорости дистанция в три-четыре метра не страховала ни от чего. Автомобили пролетели зеленую аллею, и желтая машина, резко прибавив газ, выскочила на внутреннюю дугу большого виража... Левые колеса оторвались от асфальта, резко и тонко засвистели покрышки... Многоопытные зрители на лестнице ахнули. Мелькнул узкий борт машины с синим зигзагом и номером — автомобиль уже почти лежал боком на асфальте, но гонщик не снизил скорости и вы-

стрелил на прямую, опередив лидера. И только тогда Алла поняла, что это Григорий. «Значит, все-таки он выиграл! Нет, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить...» Она повернула лицо к профессору, чтобы поделиться с ним радостью, сменившей унылую безнадежность, которую она только что испытывала. Но как раз проходила большая группа машин, и над трассой стоял такой грохот, что говорить было невозможно. Она лишь улыбнулась Игорю Владимировичу и только тогда заметила, что он побледнел и весь напрягся. Алла наклонилась ближе и крикнула:

— Кажется, порядок!

Но ее слова покрыл голос информатора:

«Товарищи, вы только что видели, что произошло на большом вираже. Все-таки гонщик Политехнического института, неоднократный рекордсмен этой трассы, сказал свое слово. Вы видели его смелый, даже рискованный маневр, благодаря которому он захватил лидерство. Теперь Яковлев идет с отрывом около двадцати метров от своего ближайшего соперника. Автомобили уже выходят на последнюю, финишную прямую. А на прямой Яковлева уже никто не сумеет достать, потому что на его автомобиле мощный и надежный двигатель. Гонщик хорошо знает возможности своей машины, ведь он — один из ее конструкторов и точно рассчитал свою тактику. Вы видели, товарищи зрители, что весь заезд автомобиль под номером одиннадцать шел где-то в середине группы, отставая от головной машины чуть ли не на двести метров... И вот на последнем круге решилось все... Внимание! Машина номер двенадцать, гонщик Политехнического института Яковлев уже заканчивает дистанцию, сейчас мы увидим его на финише...»

Алла сразу услышала приближающийся слева звук мотора, и желтый автомобиль показался уже не из «аппендикса», а вынырнул со стороны главного входа на стадион и пересек белую финишную черту, снизил

скорость и спокойно покатил дальше по трассе. И она сразу почувствовала, что боль в ушах прошла, и еще почувствовала усталость. Хотелось лечь прямо здесь, на ступенях прогретой солнцем бетонной лестницы, и закрыть глаза. Алла даже блаженно зажмурилась.

— Пойдем! — раздался над ней голос Владимирова. Она посмотрела на него, вскинув голову, и ничего не сказала, увидев на бледном лице раздражение.

Они поднялись по лестнице на галерею и пошли к главному входу. Алла еле поспевала за Владимировым, а он угрюмо молчал.

— Что случилось? — спросила она.

— Ты же видела сама! Он чуть не залег на этом дурацком повороте. Если бы он так пошел раньше, я бы снял его с дистанции. А он, видишь, специально тянул до последнего круга,— Игорь Владимирович еще прибавил шагу.

— Но в чем дело? Он же выиграл.

— Так не выигрывают! Это не выигрыш, а неудавшееся самоубийство. Я чувствовал, что у него что-то с машиной. Он никогда так не тянулся на вираже...— По лестнице главного входа Игорь Владимирович спускался чуть ли не бегом.

Они свернули во дворик правого павильона, и Алла сразу увидела желтую машину. Автомобиль как-то косо стоял у самой бровки асфальта, ткнувшись носом в шпалеру кустов. Яковлев сидел в тесной кабине, положив руки на руль. Он только снял шлем и очки. Светлые его волосы были влажны и слежались, сидел он неподвижно, опустив лицо вниз.

Владимиров подошел к машине первым. Алла испугалась, что он сейчас начнет кричать на Григория, но Игорь Владимирович только коротко спросил:

— Что у тебя случилось?

— Кажется, площадка левого переднего амортиза-

тора отвалилась, — глухо, не поднимая головы, ответил Яковлев.

И тут Игорь Владимирович, не жалея своих светлых отглаженных брюк, вдруг опустился на четвереньки и заглянул под кузов машины. Потом встал и, не отряхнув колен, спросил у Григория:

— Знаешь, кто ты? — Губы у него тряслись.

— Ладно. Знаю, не говорите. — Яковлев вдруг поднял лицо и криво усмехнулся. И Алла увидела, что глаза у него очень серьезные и тоскливые.

— Ге-рой!— врастяжку сказал Владимиров. И было не совсем ясно — хвалит он или ругает.

— А у меня не семеро по лавкам, и никому я не должен, — ответил Григорий и вдруг одним рывком, упершись руками в борта, выбросил тело из кабины, одернул свою простроченную куртку, поправил воротник красноклетчатой рубашки и снова взглянул на Владимирова.

Алла с удивлением заметила, что под грустным и в то же время дерзким взглядом Григория лицо Игоря Владимировича сделалось беспомощным и каким-то виноватым. Она смотрела на этих, казалось бы, хорошо знакомых мужчин и ничего не понимала. Только легкое беспокойство и удивление подсказывали ей, что между ними продолжается какой-то давний и, может быть, невысказанный спор. Они стояли друг против друга — профессор Владимиров, высокий, с гладко зачесанными назад прямыми волосами, в светло-серебристом, хорошо пригнанном костюме, в безукоризненно повязанном красном в серый горошек галстуке, и слесарь-лаборант, студент-заочник Гриша Яковлев, глядящий на профессора снизу вверх, потому что был на голову ниже ростом. Григорий сунул руки в карманы брюк, развел локти, всем своим видом показывая независимость, но глаза, глаза его не могли обмануть Аллу. Она видела в них тоскливую горечь и какую-то непо-

нятную злость, которой никогда не предполагала в этом парне. Молчаливый спор мужчин длился, может быть, всего несколько секунд, но Алле он показался долгим и тревожным.

Разрядил напряжение Игорь Владимирович.

— Ладно, — сказал он негромко и спокойно. — Погрузи автомобиль и езжай отдыхать. Победителей не судят. Но покойников, Гриша, хоронят. — Профессор улыбнулся виновато и примирительно.

И Алла почувствовала облегчение оттого, что кончился молчаливый спор мужчин, грозивший перейти в ссору. Про себя Алла поблагодарила Игоря Владимировича за это.

— Ну, ведь это дело надо отметить, — сказал Григорий. — Вот погрузим и давайте пойдем куда-нибудь. Тут где-то в парке ресторан есть. — Он бросил быстрый взгляд на Аллу.

— Вот и отметьте с Аллочкой. А у меня еще дела сегодня. Всего доброго. — Он слегка поклонился Алле и пошел к выходу со двора, прямой, по-юношески сухощавый.

Алла поглядела на Григория, потом — вслед профессору. Ей хотелось одновременно и догнать Игоря Владимировича, и остаться здесь, с Григорием.

Солнце уже клонилось к горизонту, и в аллеях парка свет был рассеянный, золотисто-туманный. Вереницы людей направлялись по дорожкам к выходу, к трамвайной остановке, только на пляже еще было многолюдье, слышался смех, доносились звонкие удары по мячу.

Григорий шел рядом с ней, опустив голову, всматривался в зыбкие кружевные тени листвы на песчаной дорожке и молчал. Аллу начинало тяготить это молчание и, чтобы хоть как-то нарушить его, она сказала:

— В ресторане, наверное, сейчас народу — не протолкнуться.

— Посмотрим, — ответил Григорий тихо. Потом, подняв голову, спросил: — Вы куда-нибудь торопитесь?

Глаза у него по-прежнему были тоскливые, и Алла быстро ответила:

— Нет-нет.

— Вот и хорошо, — сказал он и, снова опустив голову, тихо добавил: — А то один напьюсь.

Алла видела, как сжались его губы и глуповатый профиль с носом-картошкой сразу стал резким и жестким. И что-то вдруг переменилось в ней, что-то непонятное, вкрадчивое, как пушистый ластящийся котенок, ворохнулось в груди. Она взяла Григория под руку, потом и другую руку положила ему на предплечье и с веселым испугом почувствовала, что ей хорошо так опираться на эту жесткую, с ощутимыми буграми мышц руку. Стало жарко лицу, и ноги сделались легкими, будто не шла она по песчаной дорожке, а просто перебирала ногами в воздухе. И голос у нее изменился — она сама это услышала, — когда спросила полушепотом:

— Гриша, Гришенька, ну что случилось?

Он замедлил шаги, чтобы ей было удобнее идти, и сказал неожиданно просто:

— Не знаю, Алла. Еще не понял. — Помолчал и добавил: — Кажется, случилось давно, а только сейчас дошло. Как до жирафа.

Зал ресторана был пуст и прохладен.

Они устроились за столиком возле стеклянной стены, занавешенной от солнца светлой тканью, расписанной голубыми парусными яхтами, роспись была наивной, словно рисовал ребенок: надутые пузырем паруса, хвостатые вымпелы на кренящихся мачтах, — глазам было легко и приятно смотреть на эти просвеченные солнцем занавеси.

— Водку пьете? — скупо улыбнувшись, спросил Григорий.

— Нет, — тихо улыбаясь, ответила Алла.

— Что, уже бросили?

— Да, и уже давно. Но сегодня можно попробовать. — Алла чувствовала непринужденность и в то же время какое-то незнакомое возбуждение. «Ну, попробую водки раз в жизни», — подумала она. Но Григорий заказал шампанского.

— Чего ж вы так? Сначала водку предлагаете, а потом на попятный?

— Да вот, испугался, напьетесь, начнете здесь буянить. — Тон его был шутливый, веселый, но глаза по-прежнему глядели серьезно и грустно. Он придвинул к себе пепельницу и стал сосредоточенно разминать над ней туго набитую сигарету. Алла рассматривала его лицо, и ей казалось, что раньше она многого не замечала. Широкие дуги бровей притеняли слишком светлые серые глаза, скулы были крепкими и чуть выступали, а рот, когда сжимались губы, становился прямым и жестким. Алла взволнованно и внимательно всматривалась в это лицо и недоумевала, почему раньше оно казалось ей простоватым и бесхарактерным. «Ведь у него твердое и умное лицо...» Она даже опустила глаза, потому что это открытие удивило и растревожило. Алла почувствовала неуверенность. То, прежнее лицо Григория, к которому она привыкла, всегда сообщало ей чувство собственной силы, потому что она, Алла, ничего, кроме тихого обожания, не видела на нем. А здесь было что-то другое, и уже непонятным казался этот парень, сидящий напротив. Он сказал:

— А подвеска ваша что надо. На другой без переднего амортизатора я бы убился.

Официант принес шампанское в запотевшем никелированном ведерке, тихо и споро раскупорил бутылку, налил в бокалы.

— Когда же вы почувствовали, что амортизатор

оторвался? — Она протянула руку, взяла бокал — прикосновение холодного стекла к ладони было приятно.

Григорий тоже взял бокал, приподнял его вровень с глазами.

— Ну, за ваш диплом... И вообще, за удачу. — Он выпил до дна.

Алла отпила, вино холодно защекотало нёбо, потом разлилось теплом в груди. Плыли на подсвеченной солнцем ткани голубые детские парусники. Был прохладен пустой зал. В углу, у низкого серванта, собрались официанты и о чем-то тихо переговаривались, иногда слышался их негромкий смех. Лицо Григория — это новое, твердое и умное лицо — казалось слегка насмешливым, будто он чувствовал над ней какое-то превосходство. Это пугало Аллу, хотелось прежнего ощущения своей власти над тем робким и влюбленным парнем, и поэтому она повторила вопрос:

— Когда вы почувствовали, что амортизатор оторвался?

— А... — Он задумчиво улыбнулся, глядя куда-то через ее плечо. — Вроде бы на третьем круге. Когда входил на «площадь», там правый вираж.

— Почему же вы не сошли? Это могло плохо кончиться.

— Но не кончилось же плохо. Да не было особой опасности. Амортизатор левый, а правых виражей крутых нет. — Он крутил бокал в пальцах. — Я и шел-то осторожно, будто яйца вез. Да и вообще, настроение было какое-то такое... — Григорий поставил бокал, слегка прихлопнул ладонью по скатерти.

Ей хотелось, чтобы он разговорился. Раньше она избегала откровенных разговоров с Григорием, теперь откровенность была желанной, потому что это новое лицо волновало своей непонятностью: сейчас она уже не знала, как относится к ней этот парень, — это лишало привычной уверенности. И все-таки в тревожной

зависимости от слов Григория, от выражения его нового лица было что-то приятное, вызывающее безотчетную радость, и ей хотелось смеяться. Алла взяла бокал и допила вино. «Я, кажется, пьянею», — с озорным ужасом подумала она и спросила:

— Ну, какое это было настроение?

Григорий не ответил, потому что подошел официант с подносом, водрузил посредине стола большую вазу, в которой сиротливо-смешно краснели немногочисленные ломтики помидоров, припорошенные крошеным яйцом, и торчали в стороны бледные листики салата, потом появилось овальное блюдо с тремя кусочками семги и тремя дольками подсохшего лимона.

Григорий вдруг весело улыбнулся и подмигнул ей заговорщицки:

— Мировой стол. Последний раз я ел такое в Париже.

— Прямо на Эйфелевой башне? — в тон ему спросила Алла.

— Нет, чуть сбоку, за углом, — ответил Григорий, и они дружно рассмеялись.

Официант отошел, и Алла небрежно спросила:

— А чего это вы вдруг сегодня профессору нагрубили? (С давних пор у них повелось называть Владимирова за глаза профессором.)

Алла задала этот вопрос шутливым тоном, словно невзначай, но сама внутренне подобралась. Было, казалось ей, в давешней сцене между Григорием и Игорем Владимировичем нечто более серьезное, чем деловая перебранка. И Алла чувствовала, что это «более серьезное» имеет отношение к ней, что это из-за нее. Это чувство возбуждало, пьянило, как шампанское, и в то же время настораживало. Она небрежно и наивно улыбалась, но напряженно ждала ответа на свой вопрос, а Григорий, посерьезнев, молчал. И тогда Алла добавила:

— Он, по-моему, очень любит вас. И старается... — Она запнулась, подыскивая слово, и закончила не совсем уверенно: — ...передать все свои знания, что ли.

Григорий положил себе семги. Вилка звякнула о тарелку, и от этого тишина показалась еще напряженнее.

— Я его об этом не просил, — глухо, не подняв глаз, ответил он, взял бутылку и снова наполнил бокалы.

Они молча выпили. Алла все ждала, что Григорий скажет еще,— она чувствовала его потребность высказаться.

Он поставил бокал и пристально взглянул на нее.

— Конечно, вы правы. И относится он ко мне хорошо, и учит всему, — говорил он медленно, обдумывая каждое слово. — Я и сам все это понимаю. Но вот... Как бы это объяснить?.. Ну, работал в гараже,— на похлебку хватало, строил из утиля машину, гонялся. Словом, был не хуже других, а другой раз и гордость какую-то чувствовал. И вот появился профессор. Переманил в институт, в лабораторию — работа почти такая же, как в гараже, только интереснее, и опять же гоночные автомобили, и детали все не откуда-нибудь со свалки, а новейшие... И комнату дали. Первый курс вот одолел... — Он помолчал, усмехнулся. — Получается вроде, что подсчитываю выгоды. Но вы поймите, Алла, я совсем не подсчитываю. И профессору благодарен за все... Только вот раньше я себя уважал больше. Не было в гараже такой работы, которой бы я не мог сделать, и водитель я был не последний. Это, знаете, чего-то давало, такое, внутри. В общем, раньше я мог все, что хотел. А вот прошло два года — и выясняется, что я многого не могу и не знаю, хоть и учиться поступил в институт, да и не сидел же сложа руки... А внутри уже что-то не так. Нет той уверенности, что ли. Вот и захотелось сегодня доказать себе, что кое-что могу...

Я много думал об этом и вот понял... Понял, что теперь я хочу больше, чем могу. И вообще догадался, что на свете есть много недоступного. А назад уже нет пути. Жизнь уже видишь по-другому... И вот сомневаешься: добро или зло сделал мне профессор? Может, лучше мне было бы остаться в своем гараже и не знать ни его, ни вас... — Он посмотрел на нее. И Алла увидела, что глаза у него снова стали застенчивыми и печальными, и это почему-то обрадовало ее и растрогало. Не очень хорошо понимая, что делает, она вдруг протянула руку и погладила Григория по щеке. Он чуть повернул лицо и коснулся ее ладони сухими горячими губами. Алла убрала руку и сказала с деланным спокойствием:

— Это же очень хорошо, что вы многого хотите. Значит, многого добьетесь. — Она сделала паузу и, обманывая себя равнодушием, сказала: — А закончите институт, уйдете и забудете профессора и меня.

— Вы же сами знаете, что все будет не так, — сказал Григорий и пристально посмотрел ей в глаза. Алла не отвернулась, просто прикрыла веки. Он взял ее руку, крепко сжал, она еще плотнее сомкнула веки.

...Алла Кирилловна Синцова сидела за своим столом, уронив голову на руки. Слез уже не было, они высохли.

Да, тогда десять лет назад, она потеряла голову, но только на один вечер, влажный и теплый июльский вечер. Алла Кирилловна вдруг передернула плечами, словно тело ее вспомнило крепкие ладони Григория...

Он нес ее на руках по пустынной аллее Приморского парка Победы, крепко прижав к себе. Удобно и покойно было Алле, и казалось, что сизое вечернее небо покачивается над ней в такт шагам Григория. Щекой она чувствовала холодящее прикосновение ме-

таллической пуговицы, от куртки едва уловимо пахло табаком и бензином, и она с удовольствием вдыхала эти запахи. Потом небо над ней накренилось и вдруг исчезло совсем, и сухие жаркие губы Григория прижались к ее лицу. Она отвечала на его поцелуи, забыв обо всем. А потом, дома, лежа на своей узкой кровати, под ровное дыхание матери и стук маятника старых стенных часов, она все еще чувствовала эти поцелуи и одновременно думала растерянно: «Что же я наделала? Что теперь будет?» Тогдашняя дипломница Аллочка Синцова, уже почти решившая выйти замуж за своего профессора, вдруг с грустью поняла, вернее почувствовала, что Игорь Владимирович лишь разбудил в ней желание любить, желание подчиниться кому-то, кто сможет сильными, жесткими (но такими уютными!) руками поднять ее и нести... Тогда она впервые спросила себя: хватит ли у профессора силы и молодости, чтобы не только разбудить желание любви? Аллочка Синцова тогда впервые усомнилась в своем будущем счастье. И еще ее тревожила мысль: как теперь быть с Григорием? Она уже понимала, что он прямодушный и чистый парень. Сможет ли он понять ее? Удастся ли им сохранить товарищеские отношения? Аллочка Синцова понадеялась на себя, на свой такт. Но все вышло неожиданно.

Три дня после того вечера она избегала Григория, думалось, что эти дни подготовят его, помогут принять ее холодность. И вот на четвертый день Алла словно невзначай зашла в мастерские.

Она застала его в станочном зале. Григорий работал на плоской шлифовке. Чуть ссутулясь, стоял он у станка, положив руку на маховичок вертикальной подачи, а магнитная плита, удерживавшая плоский с фигурными отверстиями фланец, ходила из стороны в сторону, и из-под абразивного круга вылетал сноп огненно-золотых искр. Григорий не видел ее, и несколь-

ко секунд Алла любовалась искрами, светлой гладкой поверхностью шлифуемого стального фланца, изгибом сильной шеи Григория... Как хотелось ей подойти тихонько сзади и поцеловать эту шею, но делать нужно было совсем другое. От этого Алла почувствовала грустное удовлетворение — вот ведь и она чем-то жертвует, — и предстоящий разговор показался ей не таким уж трудным.

Когда она окликнула его, Григорий выключил станок и повернулся.

Алле показалось, что сразу стало темнее, словно снопик золотисто-огненных искр из-под абразивного круга освещал сумеречный станочный зал, а лампа станка в глухом металлическом абажуре высвечивала бледным овалом только магнитную плиту с поблескивающей поверхностью прошлифованного фланца. И тишина в этом зале, уставленном темными, как бегемоты, станками, была неуютной, чугунной. И лицо Григория казалось сумрачным и похудевшим.

— Здесь как-то холодно, — сказала она.

— Можно в слесарку, — Григорий прошел мимо нее, открыл дверь и включил свет.

В слесарке, небольшой и сравнительно чистой, было уютнее, стоял короткий деревянный диванчик, похожий на трамвайное сиденье. Алла села на этот диванчик, Григорий прислонился спиной к пожарному щиту, молча смотрел и комкал в руках кусок промасленной ветоши.

— Я много думала о тебе... Мы ведь теперь на «ты», верно? — тихо сказала она.

— Да. И что же ты думала? — Он бросил комок ветоши в ящик у двери.

— Разное... Ты очень хороший человек; наверное, для меня самый лучший. Я не забуду тот вечер, он тоже, наверное, самый счастливый для меня и грустный. — Алла с усилием находила слова, она

не рассчитывала, что разговор выйдет таким трудным.

Григорий стоял, привалившись спиной к пожарному щиту, смотрел в сторону, спокойный, удивительно непроницаемый. И это его спокойствие мешало. Если бы он волновался или хотя бы смотрел на нее обычным влюбленным взглядом, Алле было бы легче, а сейчас казалось, что не она начала этот разговор.

— Почему грустный? — спросил он равнодушно.

— Тебе надо идти дальше, с такими способностями нельзя останавливаться. А я повисну на тебе, и ничего не удастся. Ты потом сам возненавидишь меня... Мне ведь много надо, а тебе еще нужны силы для другого... — Слова выговаривались с трудом, неуместные, унизительно пошлые. Алле хотелось вскочить с этого трамвайного диванчика и закричать, что она жертвует бóльшим, чем он, Григорий, что ей хочется не думать ни о чем — лишь бы повторился еще хотя бы раз тот вечер, тот хмель... Но она сказала: — Мы слишком похожи... А одними чувствами не проживешь. Игорь (почему-то против обыкновения она назвала профессора по имени) считает, что у тебя большое будущее. — Она сама слышала, что голос звучит жалобно и неискренне.

Григорий с усмешкой посмотрел ей прямо в лицо и спросил:

— Может, он считает, что это тоже входит в курс моего обучения?

— Что? — она не сразу поняла его вопрос.

— Чистовая доводка. — Он все усмехался, нехорошо, брезгливо.

— Я... скажу...

— Не надо! Ты уже все сказала. — Он помолчал, потом спокойно и даже насмешливо произнес: — Пошли обедать.

Обедать Алла не пошла. Она побродила по институтскому парку. День выдался пасмурный, нежаркий.

В глухом конце парка нашла скамейку под большим нависшим кустом боярышника, села, откинулась на спинку. Она испытывала грусть, облегчение и одновременно — разочарование и обиду. Было неожиданностью, что Григорий так спокойно воспринял разговор. Ведь она, Алла, думала и ожидала, что он будет умолять ее, просить, требовать, клясться в любви. И она приготовилась выслушать все это, она ждала мелодраматической сцены, но Григорий только нехорошо, брезгливо усмехнулся и позвал обедать, — мелодрама обернулась фарсом. И тут ей удалось обмануть себя злостью: Григорий как будто стал безразличен, у него нашлось много плохих качеств — грубость, отсутствие артистизма, душевной тонкости. И уже Игорь Владимирович стал казаться Аллочке Синцовой образцом мужчины и человека...

...Зав испытательной лабораторией проектно-исследовательского автомобильного института Алла Кирилловна Синцова сидела в своем залитом солнцем кабинете, ей было нечем дышать, хотя балконная дверь и окна были раскрыты настежь. Осторожно, кончиками пальцев она потерла уголки глаз, достала из стола зеркальце, посмотрелась — это успокоило. Она давно научилась ценить свое лицо, с тех пор, когда еще студенткой стала замечать смущение, которое вызывала у мужчин, а потом стала ценить еще больше, когда поняла, что такие узкие, чуть скуластые лица старятся медленно. Вот ей тридцать два, а лицо без единой морщинки, никаких признаков увядания — как у двадцатилетней, хотя ревела полчаса.

Алла Кирилловна убрала зеркальце и придвинула к себе бумаги: нужно было написать заключение об испытании задней подвески грузовика высокой проходимости. Она еще раз пробежала глазами таблицы за-

меров, написала на чистом листе: «В результате испытаний выяснилось: 1)», — задумалась, устремив взгляд на теневую стену кабинета.

Тридцать два... «Бабий век — сорок лет», — а она все переживает давнее свидание и разговоры, будто ей двадцать два и все случилось только вчера. Господи, сколько же прошло в жизни всякого с тех пор — и хорошего и плохого, — а все кажется, что она совсем недавно была студенткой, будто вчера испытывала тревогу и сомнения перед замужеством. Правда, сомнения — это не то слово. Нет, конечно, она не сомневалась в Игоре Владимировиче, и нравился он ей, очень нравился, и самолюбию льстило (чего уж обманывать себя), что профессор Владимиров — кумир всех женщин в институте. Нет, не сомнения одолевали Аллочку Синцову перед замужеством — тревога непонятная все не давала покоя тогда, потому что не было той хмельной безоглядности, с которой Аллочка целовалась с Гришей Яковлевым в Приморском парке Победы. И женским, смутным чутьем понимала Аллочка Синцова, что разница в возрасте (двадцать лет!.. нет, девятнадцать) когда-нибудь скажется, потребует от нее жертвы, терпения. То, что в сорокадвухлетнем Игоре Владимировиче было достоинством, выгодно отличавшим его от юнцов и тешившим Аллочкино тщеславие, со временем грозило обернуться недостатком — запаса прочности могло не хватить. А она, как-никак, была без пяти минут инженером и знала цену расчетам... Вот что испытывала Аллочка тогда, перед замужеством...

И теперь Алла Кирилловна Синцова, размягченная слезами, с грустью, которая доставляла почти наслаждение, вспоминала молодость. Маленькое зеркальце показывало ей почти двадцатилетнее лицо (ну, двадцать пять от силы — и ни дня больше!), но где-то внутри — душой или умом — она чувствовала себя гораздо старше своих тридцати двух лет. В совместной жизни с му-

жем она почти не ощущала разницы в возрасте. Игорь Владимирович старел медленно и незаметно, Алла Кирилловна почти догнала его, вернее, до времени состарилась внутренне, вжилась в его возраст. Но что-то томило ее иногда — вот так, как сейчас, вызывало грусть, и не всегда эта грусть бывала светлой и примиряющей. И только теперь она смутно догадывалась, что томит ее и вызывает грусть тот, непройденный, другой путь, по которому она не захотела или испугалась пойти. А он был возможен, этот другой путь. И тогдашняя Аллочка Синцова с тревожной остротой чувствовала ту возможность: налево пойдешь, направо пойдешь... Она стояла тогда на развилке дорог, а на верстовом камне были влекущие, но пугающие неизвестностью письмена. Аллочка выбрала менее влекущую, но зато более надежную дорогу. А ведь могло быть иначе, могло... Ведь все зависело от нее, только от нее.

Она уже работала ассистентом на кафедре, когда профессор Владимиров сделал ей официальное предложение. Вышло это непринужденно, изящно, как и все, что он делал. Приехал к Алле домой со скромным букетом лиловых хризантем, несколькими пристойно-шутливыми словами покорил мать, знавшую Игоря Владимировича только по сдержанным Аллиным упоминаниям. И когда сели за стол, Владимиров, положив только кончики пальцев на хрусткую парадную скатерть, с каким-то оробелым, не свойственным ему выражением лица, но твердым голосом сказал матери:

— Я ведь свататься приехал, Василиса Александровна.

Мать молчала растерянно, хотя и ожидала чего-то подобного. Аллочка же вдруг почувствовала какую-то свою непричастность ко всему. Она смотрела на поблескивающую крахмальную скатерть, на серебряные чайные ложечки с тонкими витыми ручками и отчужденно думала, что хорошо, что Игорь Владимирович пришел

один: ведь ложечек всего три, и только три стула. Ей почему-то стало до боли мила их нищая комната с двумя узкими кроватями, круглым столом, за которым маленькая Аллочка готовила еще школьные уроки. При Игоре Владимировиче — таком подтянутом, с гладко зачесанными каштановыми волосами, с хорошо поставленным лекторским голосом — родная эта комнатка пронзала сердце той благоприличной бедностью, которая — как сдержанный вопль — горше всего. И что-то отчужденное, неприязненное почувствовала Аллочка в тот миг к своему жениху (уже жениху!)... Она сидела оцепеневшая, жалела себя, но потом, когда мать тихо сказала: «Дай вам бог счастья» — и достала откуда-то бутылку кагора, Аллочка вдруг почувствовала облегчение. «Все, теперь уже все», — с радостным страхом поняла она. Так и сидела она молча за столом, испытывая страх и радость, а потом пришли и грусть и усталость — прямо глаза закрывались, будто не спала несколько суток.

Но когда все уже было решено, хотя благопристойности ради и не было высказано с грубой прямотой (ах, мамочка, не зря же я твоя дочка!), и профессор, жених, обаятельнейший мужчина, тактичный человек, откланялся, сонливость и усталость Аллочкину как рукой сняло. Она вскочила, сунула ноги в туфельки на низком спокойном каблуке, накинула старое пальтишко, которое и надевала-то теперь только когда шла в овощную лавку за картошкой (почему именно старое? — наверное, сама того не сознавая, хотела выглядеть жалобной, беспомощной беженкой — вот ведь как!), и побежала на ночь глядя на Выборгскую сторону. Гренадерский мост, казалось, качался, гудел зловеще под ветром, с укоризной предостерегая: «Куда? Куда?!» Аллочка знала, «куда», но ни разу прямо не подумала об этом — обманывала, обманывала себя («Господи, ведь не заснуть сегодня, нужно воздухом подышать,

выходиться... день-то какой...»). И бежала, бежала в старом пальтишке просвистанными ветром, сырыми, промозглыми улицами, надышалась до озноба, промочила ноги — видела лужу, но обходить не стала, так и протопала по самой середине, с каким-то злорадством чувствуя, как холодная вода наливается в туфли. И у дома Григория — серого, неприветливого дома — она уже и вправду почувствовала себя усталой, продрогшей до слез, одинокой беженкой, гонимой злой недолей (ах, это мастерство искренних самовозвышающих перевоплощений — как и жить, и уважать себя без него!). И звонки ее в квартиру были пронзительными и длинными, как крики о помощи.

Она приникла к нему на пороге, лопоча что-то испуганно и невнятно. Григорий почти внес ее в комнату на руках, усадил на тахту и бормотал растерянно, шепотом: «Что? Что? Что?» Аллочка, закрыв глаза, только мотала головой. А с туфель стекала вода. Григорий разул ее. Все еще мотая головой, с закрытыми глазами, она незаметно отстегнула резинки и спустила чулки. Он снял их, вытер ей ноги полотенцем, потом, стоя возле тахты на коленях, держал ее и вправду застывшие стопы в горячих своих руках.

— Прости, прости, прости, — шептала Аллочка в горячечном каком-то испуге оттого, что все-таки надо объяснить и свое появление в этом виде и в этот час, и все остальное. А Григорий молчал, растерянно и жалостливо глядя на нее, и в этом уже была беспощадность. Но пьесу нужно было доигрывать. И Аллочка подала реплику.

— Он, — тихим, убитым голосом сказала она. — Я согласилась... потому что ты... тогда... — Говорить больше не хватило сил, да и не нужно было. Она просто открыла глаза и неподвижно вперила их в стену, где на красной бархатной ленте висели медали и знаки, выигранные Григорием на гонках.

Он снял с нее пальто, уложил. Аллочка покорно приникла к подушке, чуть пахнущей табачным дымом, теплая тяжесть кожанки, которой укрыл ее Григорий, была уютной.

Он вышел из комнаты, притворив дверь.

Она вдруг почувствовала облегчение, покой, — самое трудное позади. Даже любопытство появилось: как поведет себя Григорий?

Он вернулся со стаканом густого, отсвечивающего янтарем чая, молча подсел к ней на тахту. Аллочка приподнялась, взяла горячий стакан, а Григорий держал на ладонях темно-синее блюдце и смотрел куда-то мимо ее лица.

— Попей, тебе нужно согреться.

В его голосе была та участливость, которая разделяла непреодолимо. Григорий сказал это так, будто бросил тусклый пятак в трясущуюся ладонь нищего.

Болезненно острой была жгучесть стакана в ладони, холодно блестели медали на красной бархатной ленте; комната выглядела неприветливой, не приспособленной к присутствию еще одного человека кроме хозяина. И, взвинчивая себя неприязнью, Аллочка отхлебывала обжигающий крепкий чай и твердила, словно с каждым глотком укреплялась в своей правоте:

— Ты, ты виноват...

— Успокойся, пей... пожалуйста.

Лицо его было твердым, сосредоточенным, как перед стартом, и губы подобраны ровной и резкой чертой. И в Аллочке укреплялась облегчающая враждебность к этой комнате, к этому чаю — слишком горячему и слишком крепкому — и к этому его лицу, отрешенно участливому и беспощадному.

— Если бы ты... — Она чувствовала теперь искреннюю неприязнь к нему, и от этого крепло ощущение правоты. — Если бы ты был другой...

— Не надо, успокойся. — Он поставил блюдце на столик с чертежной доской, облокотился на сиденье тахты и подпер подбородок сплетенными ладонями. — Если бы мы были другими, то все было бы другим. — Он ободряюще улыбнулся, лицо сразу стало глуповатым и мягким, но зрачки темнели холодно и остро и были направлены мимо нее.

Она почувствовала облегчение, — все уже было сказано. Протянула ему стакан и положила голову на подушку. Он поднялся с колен, застегнул верхнюю пуговицу рубашки и вздохнул устало.

— Полежи немного. Я вызову такси.

За весь путь до ее дома они не проронили ни слова. Григорий сидел рядом, опустив голову. Она знала, что он очень плохо переносит езду, когда не сам сидит за рулем. Такси попалось старое, водитель был молчалив, и путь показался Аллочке таким же долгим, как и тот, что она проделала пешком. Возле ее парадной Григорий вышел, подал руку. Она молча неловко поцеловала его куда-то возле уха. Он ничего не сказал.

А через день в институте Аллочка узнала, что Григорий подал на увольнение. Это неожиданно обрадовало (ах, ничего так не страшно женщине, как равнодушие...). Она почувствовала себя прежней, уверенной, гордой, удачливой. Она словно бы поквиталась с Григорием за свой поздний визит, за ту неискреннюю искренность, которая теперь уже стала подлинным переживанием, казалось, на всю жизнь обрекавшим Григория на виновность перед ней, Аллочкой. Теперь ей легко было выразить сожаление, потому что Игорь Владимирович очень огорчился уходом Григория с работы. Правда, профессор не спрашивал о причине и не пытался удержать его, только уговорил перейти испытателем на карбюраторный завод к своему старинному приятелю Аванесову, а не возвращаться, как собирался Григорий, снова в гараж.

Эта забота профессора показалась Аллочке странной и даже чуть подозрительной. Она была уверена, что Игорь Владимирович знает, понимает ее отношение к Григорию (господи, всегда он чувствовал и знал все и никогда не выказывал этого, потому, верно, рядом с ним было легко и спокойно стареть душой, незаметно, будто от летнего дня — к неторопливым сумеркам, после которых белая ночь — не ночь — не день, — уютная безнадрывность отношений, вовсе не сон, но и чуточку не явь... Ну, что это я, ведь грех жаловаться, — дай бог любой), но почему-то — непонятно, почему — вроде даже сочувствует этому. И Аллочка вдруг испугалась, что Игорь Владимирович не так уж влюблен в нее. Она возревновала его к Григорию, хотя и понимала, что это глупо. И, словно уловив ее чувства, Игорь Владимирович завел разговор о Григории.

Вечером они заехали в универмаг, чтобы сделать кое-какие покупки. Аллочка не любила магазинной толчеи, да и неловкость чувствовала в том, что еще и замуж не вышла, а уже — по магазинам. Игорь Владимирович настоял — мягко, но решительно. И вот они ходили, вернее, пробирались по залам универмага, покупали ложки и вилки, скатерти, чашки — Игорь Владимирович за несколько лет, что жил бобылем после развода, почти ничем не обзавелся и теперь с азартом даже покупал разные разности, — видимо, это доставляло ему удовольствие. Постепенно Аллочке тоже передалось его настроение, и она выбирала какие-то цветочные вазы, бокалы, что-то еще (всего не упомнишь, но памятно то хмельное чувство: ах, как здорово безоглядно тратить деньги!), покупала такое, что совсем и не пригодилось в хозяйстве — так и завалялось ненужным хламом. Потом, усталые от возбуждения, радостно опустошенные, нагруженные свертками, они пробирались к выходу, выбирая малолюдные проходы, и каким-то путем зашли в ненужный им отдел спортто-

варов. Аллочка шагала, уже не глядя на прилавки и полки. Игорь Владимирович балагурил совсем по-мальчишески и смеялся, потом вдруг устремился к прилавку, положил на него два пакета, чтобы освободить хоть одну руку, и что-то попросил у продавщицы. Когда Аллочка подошла, продавщица уже выписывала чек, а на прилавке лежали большие мотоочки с двухцветными стеклами.

— Это немецкие! Гриша давно хотел такие, редко бывают. — Игорь Владимирович радостно улыбался.

Аллочка снова почувствовала ревность, но ответила на его улыбку.

— Гигантский, беспримерный подвиг! — весело сказал он на улице. — Мы — герои! Я, кажется, года два не был здесь. — Он рассмеялся. — И в «Кавказском», наверное, не был лет пять.

— Ну, куда с этими вьюками? Нас примут за носильщиков с вокзала и не пустят, — стараясь попасть в тон, отозвалась Аллочка.

— Чепуха! Любой официант сразу поймет, что мы — герои. Мы, действительно, заслужили пир. — Темные глаза Игоря Владимировича блестели. Аллочка поняла, что возражать ему бесполезно, и с удовольствием подчинилась.

У подвальной двери «Кавказского», к которой вели три ступеньки вниз, никого не было, но за стеклом висела табличка: «Свободных мест нет». Швейцар, весь в золотых галунах, заложив руки за спину, с плохо скрытым торжественным злорадством и в то же время пренебрежительно поглядел на Аллочку, но, переведя взгляд на Игоря Владимировича, сразу же отодвинул засов на двери.

Швейцару не пришлось жалеть о своей доброте.

Свободные столики в зале были. Игорь Владимирович заказывал быстро, не заглядывая в меню. Официант понимал его с полуслова.

После похода по универмагу гудели ноги. Аллочка тихонько полусняла туфельки под столом, и стало совсем хорошо сидеть в этом темноватом, прокуренном зале. А Игорь Владимирович, когда официант принял заказ и отошел, достал из кармана пиджака плоскую коробку с очками, вынул их и стал рассматривать. Аллочка в гардеробе и не заметила, что он прихватил эту коробку с собой.

Он вертел очки так и сяк, смотрел на лампу через двухцветные стекла, глаза блестели, и было видно, что эти мотоциклетные консервы очень нравятся ему самому. Аллочка снова почувствовала ревность, опустив голову, спрятала лицо.

— Ну, молодцы, как делают, а! Ты посмотри, видишь, прокладка мягкая, чтобы пластмасса не прилегала ко лбу и пыль не попадала. — Он приложил очки к лицу. За голубовато-желтыми стеклами глаза совсем потемнели, казалось, они посажены еще глубже, лицо от этого посуровело, стало чужим. Аллочка сказала:

— Не идут тебе, огрубляют, лицо слишком интеллигентное.

Игорь Владимирович отнял очки от лица и рассмеялся.

— Ты знаешь, это моя беда. В молодости часто сталкивался с отказами, с недоверием: видимо, думали, что человек с такой физиономией не способен ни на что. Но Грише будет в самый раз. — Он еще раз любовно осмотрел очки и уложил в коробку.

— Ты и сам, вижу, не прочь пощеголять в них. Может, придешь так на лекцию? — скрывая насмешку, сказала Алла; упоминание о Григории раздражало.

— Ты пойми, ему никто в жизни ничего не дарил. У него нет ни одной вещи с воспоминаниями, с семейной историей. У меня тоже нет... Это может понять только человек, как и он, выросший без отца с матерью. Ну, как бы это объяснить?.. Со временем все за-

рубцовывается, сиротство чувствуешь только в детстве, когда видишь, что у других есть мать, отец... «Мама купила сандалии... Папа сделал флажок для демонстрации на праздник...» — Игорь Владимирович говорил проникновенно и тихо, и Аллочку удивил неожиданный переход от веселости к этой теме.

— Тебе было трудно, да? Те годы были вообще... — Аллочка осеклась: при своем женихе первое время она инстинктивно избегала разговоров о времени, которое могло как-то подчеркнуть их разницу в возрасте, — чутьем понимала, что это может уязвить Игоря Владимировича. И сейчас она с опаской взглянула жениху в лицо. Игорь Владимирович был рассеянно задумчив.

— Да как тебе сказать, сейчас за давностью кажется, что было не так уж и трудно. Понимаешь, тогда всем жилось не очень сладко. Обездоленность чувствуешь острее на фоне общего достатка и сытости. И вообще, хотя, может, это мне теперь так видится, те, двадцатые годы были временем особенной открытости и отзывчивости людей; человек, предвкушающий счастье, становится добрее. Детдомам и колониям ничего не жалели, отдавали последнее, а я был везучий тогда, бедовый. — Он смолк, о чем-то размышляя.

Аллочку пугала отчужденность его лица, оно казалось таким же суровым, как только что за двухцветными стеклами мотоциклетных очков. От сознания того, что у Игоря Владимировича позади длинная и трудная жизнь, в которой было столько всего (и женщины — много, наверное! — красивые), ощущение внутреннего душевного уюта вдруг исчезло. Она уже научилась ценить это свое обычное состояние. В редкие минуты, когда оно изменяло, Аллочка становилась неуверенной, тугодумной, могла сказать что-нибудь невпопад. Она вся сжалась внутренне, чтобы превозмочь это, вернуть ту Аллочку, которая нравилась самой себе и другим.

— Грише было, конечно, труднее, — сказал он.

— Почему ты так думаешь? — вырвалось у нее.

— Ну, ты же представляешь, что значит блокада. И девятилетний мальчишка — один, совсем один... Для вас — тогдашних детей — война обернулась только страшными лишениями. Мы, взрослые, хоть понимали, что это такое, но это был и большой моральный стимул, он помогал перенести многое.

— Я из первых лет войны почти ничего не помню. Помню только, ехали куда-то в деревянном вагоне, пить хотелось, малыши плакали, я свинкой заболела потом. Вот когда пошла в школу в деревне — помню, и учительницу помню, и ребят. А потом вернулись в Ленинград, словом, все смутно как-то. — Почему-то ей хотелось перевести разговор на что-нибудь другое, подальше от Григория, но не получалось.

— Конечно, ты была поменьше и с матерью, которая отгораживала тебя от всех тягот, старалась отгородить. А он уже все понимал, а рядом не было никого, кто проявил бы хоть чуть личной заботы о нем, — все было только коллективным. А в детстве, знаешь, как необходимо чувствовать, пусть не ласку, но хотя бы какое-то внимание взрослого человека лично к тебе. А потом, понимаешь, когда с самого начала сознательной жизни ты все время на людях, пусть даже таких же по возрасту, — ты лишаешься тайны. — Игорь Владимирович внимательно и вопросительно взглянул на Аллочку, проверяя, понимает ли она, о чем он говорит.

Аллочка кивнула сдержанно, хотя и не очень разобралась в том, что это за тайна. Игорь Владимирович, сразу разгадав ее недоумение, стал разъяснять:

— Ты помнишь себя в детстве? Были же какие-то фантазии, страхи. Как бы это объяснить... Когда Гарьке было шесть, то я заметил, что у него какие-то странные взаимоотношения со старым шкафом, который стоял в передней. Стал присматриваться, вижу, он как-то уж очень почтительно обходит этот шкаф и даже озира-

ется испуганно, будто это что-то живое, а не старая деревяшка. Потом я засек его раз, когда он целился из ружья этому шкафу прямо в бок, и сказал ему вроде испуганно: «Убьешь». Он посмотрел на меня, как на тихого идиота, но сделал вид, что принимает мою шутку, и только позже я как-то так подъехал к нему, и он выболтал, что шкаф вовсе и не шкаф, а только притворяется, а на самом деле он, шкаф, — Бумба и ходит по ночам играть в его игрушки. Кто этот Бумба — зверь или человек, — я так и не добился от него. Вот видишь, а он в то время уже читать умел. — Игорь Владимирович опять задумался, наблюдая, как ловко расставляет официант закуски, открывает бутылку с минеральной водой.

— Я что-то тоже такое придумывала себе — тайны, страхи. Ты прав, пожалуй, — сказала Аллочка; снова появилось в ней всегдашнее ощущение внутреннего, душевного уюта, и она была довольна, что разговор ушел подальше от Григория Яковлева. Но не так-то легко было увести Игоря Владимировича от предмета начатого разговора. Он посмотрел на Аллочку и сказал:

— Вот видишь, и у тебя было такое. А ребенок, всю свою сознательную жизнь живущий в общежитии, не имеет никаких своих тайн и фантазий, никакой интимности, что ли. А это существенно. Это придает детской душе глубину, будит ее и заставляет ребенка мыслить. В коллективной жизни почти все мысли и душевные движения общие, там нет того, что философы называют рефлексией. Люди, выросшие в общежитии, душевно пробуждаются гораздо позже, чем домашние дети. Я и сам-то стал задумываться над какими-то внутренними вещами и чувствами, наверное, лет в двадцать — не раньше. Но, понимаешь, что удивительно, — такая душевная дремота помогает учиться. Очень легко усваивал всякие знания... Наверное, потому, что был как чистый лист бумаги. Вот и Гриша. Ты знаешь, это про-

сто поразительно, сколько он переварил технической литературы, и не только по нашему делу, а и в сопредельных областях. Я сначала, когда только познакомился с ним, никак не мог поверить, что он ничего не закончил, — думал, что дурачит меня. — Игорь Владимирович помолчал, испытующе глядя на нее, и спросил: — Ты не находишь, что он здорово изменился за то время, что проработал у нас?

«Вот оно», — внутренне напрягаясь, подумала Аллочка, чувствовала ведь, что неспроста затеял этот разговор Игорь Владимирович (ах, пора бы уж запомнить раз навсегда, что ничего у него никогда не бывает просто так), и понимала, что ее ответу он придает большое значение. Игорь Владимирович все смотрел испытующе, а она раздумывала, подыскивала — что бы такое сказать нейтральное. Но вновь подступило раздражение, память о давешнем визите к Григорию, и, уже не раздумывая, она сказала:

— Ни в чем он, по-моему, не изменился, каким был диким и упрямым, таким и остался. — Ей не удалось сдержать досадливые интонации в голосе. Игорь Владимирович удивленно приподнял бровь.

— Ты и в самом деле так считаешь? — чуть приглушенно спросил он.

— А почему я должна думать по-другому? — Аллочка взяла тарелку и, положив себе гурийской капусты в красном маринаде, резко поставила тарелку на стол.

— Ну, я думал, что ты должна относиться к нему лучше уже хотя бы потому, что нравишься ему, — с тонкой, едва уловимой улыбкой ответил Игорь Владимирович. — Отношение женщины почти всегда зависит от этого.

— Вовсе не обязательно, — улыбнулась Аллочка в ответ. — И потом, не замечала, что он оказывает мне какое-то особое внимание.

— Ну уж, так и не замечала? — Игорь Владимирович налил ей минеральной воды, тоже положил себе капусты. — Ладно, давай есть.

Несколько минут прошло в молчании. Они ели. Аллочке почему-то казалось, что стоит глухая вязкая тишина. На самом же деле этот накуренный, душноватый подвальный зал был наполнен гомоном голосов, звяканьем посуды, скрипом сдвигаемых стульев, — все это слилось в ровный, почти гармонизированный шум, словно тутти оркестра каких-то неведомых глуховатых инструментов. Она несколько раз коротко посмотрела на своего жениха. Игорь Владимирович ел, лицо выражало обычную доброжелательную непроницаемость — красивое удлиненное лицо интеллигентного и нестарого человека (господи, ну какой же он старый!) с темными, глубоко посаженными умными глазами. И в каштановых, гладко зачесанных волосах почти не видно было седины. Странно, но Аллочке хотелось, чтобы начатый разговор продолжался: какое-то любопытство, правда с оттенком опасливости, одолевало ее.

— Положи мне, пожалуйста, сациви, — попросила она, протянув тарелку. Игорь Владимирович ловко подхватил с блюда, стоявшего возле него, самый красивый кусочек, положил ей и полил соусом. Его тонкие белые руки не сделали ни одного лишнего или неловкого движения. Аллочка поблагодарила, а сама мгновенно вспомнила темные руки Григория, с грубыми даже на вид подушечками пальцев; и как он пилил тупым казенным ножом жилистую семгу у себя на тарелке — тогда, в ресторане Приморского парка Победы.

— Нет, ты серьезно не замечала, что Гриша влюблен в тебя? — неожиданно спросил Игорь Владимирович. Лицо ничего не выражало, ни заинтересованности, ни удивления, только в глубине глаз да в углах рта таилась едва уловимая усмешка.

Аллочка заставила себя улыбнуться (господи, ну когда это кончится!) и сказала:

— Ты не находишь, что это слишком нескромный вопрос?

— Ну все интересные вопросы в какой-то мере нескромны. Может быть, все-таки выпьем чего-нибудь? — Все та же едва уловимая усмешка таилась в глазах жениха.

— Нет, спасибо, я так устала от этих покупок, что просто развалюсь на куски, если выпью спиртного. — Аллочка лукаво улыбнулась. — И потом, боюсь, окосею и выболтаю тебе все свои тайны. А ты ведь ревнив, как мавр, еще, чего доброго, возьмешь и зарежешь столовым ножом.

— Ужасно ревнив, — он шутливо нахмурил брови так, что они смежились на переносице, улыбнулся, но в глазах и голосе Аллочка уловила грусть. А ей самой этот разговор вдруг перестал быть в тягость, она нашла верный тон и теперь могла даже с удовольствием продолжать.

— Это хорошо, — сказала она. — Мне нравится, и я постараюсь, чтобы недостатка в поводах не было, а то ведь тебе будет скучно.

Игорь Владимирович не ответил, склонился к тарелке.

Теперь уже Аллочка слышала этот слитный гармонизированный шум, наполнявший подвальный зал, а из-за занавешенных окон доносилось биение пульса большого проспекта: приглушенный шелест подошв по асфальту, который был на уровне окон, дребезжащий шум троллейбусов, скрип тормозов у близкого перекрестка, шорох шин, короткие сигналы автомобилей — Невский жил своей обычной вечерней жизнью, и это сдержанное биение мощной городской артерии за стеной делало низкий ресторанный зальчик особенно уютным, и что-то накатило такое на Аллочку приятно об-

легчающее, принесло ощущение спокойной прочности будущего, какое иногда дает хорошая музыка. (Ах, наверное, это и есть счастье!) Она чувствовала, что в ней не осталось уже ни одной мысли и ни одного желания.

— Ладно, я согласен, — вдруг сказал Игорь Владимирович. — Согласен быть мрачным ревнивцем.— Улыбнулся, потом как-то сразу согнал улыбку с лица. — Но знаешь, мне бы очень хотелось, чтобы ты относилась к Грише хорошо. Понимаешь, иногда необходимо проявить снисходительность... Нет, не то, пожалуй. — Он на секунду задумался и потом заговорил с несвойственной ему торопливостью, сбивчиво: — Я, знаешь ли, чувствую себя в какой-то мере ответственным за него и надеюсь, что наши отношения не прекратятся с его увольнением. Это нелегко объяснить, Аллочка, но я сразу, со дня знакомства полюбил его. — Он нервно сплетал и расплетал пальцы, лицо погрустнело, видно, ему было трудно и не очень хотелось говорить, но он все-таки заставлял себя. — А потом, он талантлив, редкостно талантлив и к этому еще работяга. Он на моих глазах проделал такой путь, что другому жизни не хватит, — это меньше чем за два года... Мне ничего, в сущности, не удалось сделать — только копил разные сведения. Ни одной живой машины. Тут, конечно, причиной разные обстоятельства, не всегда зависящие от меня. Но теперь уж поздно... Наверное, поздно. И я так надеюсь, что он, Гриша, сделает то, на что меня не хватило. — Он как-то даже заискивающе посмотрел. Такого Игоря Владимировича Аллочка еще не знала.

— Да совсем неплохо я к нему отношусь, — смущенно сказала она, отвернувшись.

— Я понимаю, понимаю, — снова заторопился Игорь Владимирович. — Но хочется, чтобы ты знала... Ну, как бы это сказать? Он сейчас вроде бы и взрослый человек. Он может разобраться в сложном техническом вопросе, принять вполне зрелое конструкторское реше-

ние, умеет добиваться цели, которую поставил; по специальным знаниям он выше среднего инженера. И в то же время он — подросток, понимаешь, мальчишка, который не понимает, что творится у него в душе, отчего ему вдруг тоскливо... Помнишь июльские гонки, как он тогда ехал?

Аллочка молча кивнула. Те гонки она помнила, помнила и то, что было после них, и теперь была уверена, что Игорь Владимирович ничего не знает об этом, не догадывается. А он продолжал:

— Ну, разве это поступок взрослого человека? Это же типичный мальчишка, которому до смерти хочется показать, что он — взрослый. И, знаешь, встреча с тобой для него была очень важным событием. Я ведь его успел изучить. У него не было даже тщеславия раньше, не было даже интереса к жизни, ко всему тому, что выходило за рамки его понимания. А тут он сразу переменился, стал думать, душа пробудилась. Он и ушел-то из-за тебя. Никогда не прощу себе, что сказал ему о наших отношениях эдак небрежно, с шуточками... На свадьбу приглашал. Надо было поговорить с парнем серьезно. А потом было уже поздно, замкнулся он. Насилу уговорил пойти работать к Аванесову. Там все-таки за ним глаз будет. Позже, я надеюсь, и отношения восстановятся. Учиться-то не бросит — упорный, да и честолюбие уже появилось... Словом, для меня очень важно, чтобы этот мальчишка стал серьезным конструктором, а для этого нужно стать душевно богатым, и если мы с тобой не поможем, то ему будет очень трудно. — Игорь Владимирович еще раз виновато посмотрел на Аллочку. — Ты уж не сердись, что завел этот нудный разговор, но меня что-то гложет с тех пор, как подписал его заявление.

Аллочка минуту молчала, благо пришел официант, сменил тарелки, ловко снял с шампуров шашлыки и удалился с легким поклоном. Аллочке стало ясно, что

Игорь Владимирович ни о чем не догадывался, но не это сейчас заставило ее призадуматься. Что-то новое открылось ей в Игоре Владимировиче. Раньше он казался ей добрым, мягким, но чуть холодноватым человеком, и вот вдруг открылась эта боль за других. Но даже не она удивила Аллочку, а нечто другое, чему не сразу нашлось название.

Она думала всю ночь после ресторанного ужина, удивляясь, что не хочется спать, несмотря на усталость, и совсем не томясь бессонницей. Эта открытость заботам о других, эта способность соучастия в чужой судьбе была непонятна и привлекательна. Аллочка хорошо знала себя и понимала, что она не способна на такое. Не способен был и Григорий Яковлев — в этом она была почти уверена. Она старалась понять своего жениха, но на самом деле мысли ее были о себе. Она думала, что же мешает ей быть такой, как Игорь Владимирович? Вспоминая школьные годы, все эти девчоночьи дружбы, Аллочка ясно понимала, что никогда не испытывала такого проникновения в другое «я», никогда не ощущала потребности в самоотречении. Она дружила и поддерживала отношения до тех пор, пока нуждалась в них, и никогда не принимала в расчет чужие чувства.

И еще Аллочка ночью с какой-то беспощадностью поняла, что в истоке ее отношения к Игорю Владимировичу было не только искреннее чувство. Нет, не то чтобы это был банальный голый расчет, а ведь и Григорий нравился. (Ах, господи, ну это же совсем иначе!.. Иначе ли?) Но чего-то не хватало в Григории. Как раз того, что есть в Игоре Владимировиче... У Аллочки недостало смелости додумать эту мысль до конца. Она просто решила, что ей повезло. Игорь Владимирович — редкий человек, и нужно быть достойной его. И стало спокойно лежать в ночи с открытыми глазами, и представлять себе будущую жизнь, и с легким приятным

сожалением думать об этой тесной комнате, с которой вот уже скоро придется расстаться: Игорь Владимирович сам предложил, чтобы мать жила вместе с ними, а значит, надо было менять его квартиру и эту комнату, чтобы съехаться, да и жить попросторнее... Так и пролежала Аллочка-невеста всю ночь с думами о приятном будущем, отгоняя страшноватую мысль о себе самой, мысль, которая — она понимала — уже стала знанием...

...Зав испытательной лабораторией Алла Кирилловна Синцова сидела за столом в своем кабинете, но не работалось ей сегодня, мысли вились беспорядочно, перескакивали с одного на другое. Хотела спуститься вниз, посмотреть, как механики гоняют шасси с новыми подвесками. Передумала, вспомнила, что нужно зайти в новую пристройку, где монтировали вибростенд, который с нетерпением ждали все. Стенд этот избавлял испытателей от тяжелой и долгой работы, он управлялся компьютером, программа моделировала условия трудных дорог: ухабы, частые выбоины, булыжные мостовые, поперечные лежневки, «гребенки», — за сорок восемь часов на вибростенде можно было «проехать» пятьдесят тысяч километров тяжелых дорог, на что обычно шофер-испытатель тратил много утомительных дней. Но на монтаж стенда Алла Кирилловна тоже не пошла — не хотелось вставать с привычного кресла. И еще больше не хотелось встречаться с людьми, отвечать улыбкой на улыбку, отшучиваться или говорить серьезно.

В институте Алла Кирилловна чувствовала себя уверенно. Лаборатория была одной из лучших, все работы выполнялись в срок, и вряд ли кто-нибудь думал, что она на особом положении как директорская жена. Но у Аллы Кирилловны уже выработалась привычка кон-

тролировать себя так, чтобы никому не дать повода к подобным мыслям. На людях она разговаривала с мужем сдержанно и коротко. Это давалось тем более легко, что в последние годы их отношения утратили трезвую сердечность, которая установилась сначала, она куда-то исчезла, испарилась, как вино из плохо закрытой бутылки, оставив после себя почти неощутимый осадок сожаления. И теперь Аллу Кирилловну и Игоря Владимировича соединяла, пожалуй, только работа, привычная вежливая заботливость друг о друге да общий быт, который, впрочем, был совсем не обременителен для Аллы Кирилловны. Жизнь шла, как надежно отлаженная машина, и лишь изредка двигатель давал короткие, едва уловимые перебои. В первые годы семейной жизни они часто принимали гостей, вечерами собирались институтские преподаватели, приходил шумный, печально-веселый Аванесов с маленькой застенчивой женой, захаживал и Григорий.

Теперь в просторной квартире было тихо, только изредка надсадно кашляла мать, часто болевшая в последние годы. Алла Кирилловна и не заметила, когда установилась эта уже привычная тишина. Просто Аванесова перевели в Москву, в министерство, связи с преподавателями нарушились, когда Игорь Владимирович принял проектно-исследовательский институт. Да и не институт тогда это был, а просто старая ремонтная мастерская, в которую свезли те допотопные приборы, которые были у Игоря Владимировича в факультетской лаборатории. Институт рос медленно и трудно, Алла Кирилловна первый год сама была и толкачом, и стройконтролером, спорила с подрядчиками, добивалась у проектировщиков изменений планировок, потому что за время строительства корпусов кое-что из запланированного оборудования перестали уже выпускать, а новое требовало иных помещений, — суматошное было время, нервное, но вспоминалось с теплотой. Потому

что на ее глазах строились эти тяжеловатые, силикатного кирпича здания, на ее глазах в еще не оштукатуренных лабораториях бетонировали фундаменты и устанавливали стенды и приборы, стеклили огромные окна, настилали линолеум и красили двери. Этот проектно-исследовательский институт был как бы частью ее жизни: для того чтобы он предстал в теперешнем виде, пришлось потратить несколько лет, может быть, лучших лет Аллы Кирилловны, и не только ее.

Правда, было их тогда совсем немного, всего четверо младших научных сотрудников и директор. И, конечно, Игорь Владимирович потрудился больше всех... Может быть, в те дни Алла Кирилловна и была по-настоящему влюблена в своего мужа. Игорю Владимировичу тогда исполнилось сорок пять, но ей казалось, что он стал лишь моложе. Сухощавый, стремительный, с непокрытой головой, он появлялся в разных концах обширной стройплощадки в своем сером коротком плаще, подчеркивавшем стройную фигуру, шутил с каменщиками и монтажниками, что-то подолгу рассказывал прорабам, слушавшим внимательно и завороженно. И ему удалось невозможное: к зиме строители полностью сдали первый этаж инженерного корпуса, так что инженеры и художники-конструкторы могли начать работу.

И они появились. В городе, где было совсем немного специалистов по автомобилестроению, Игорь Владимирович умел находить нужных людей. И, конечно, одним из первых был приглашен Григорий Яковлев, работавший тогда инженером-испытателем на карбюраторном заводе. Что-то внутри сопротивлялось, когда Алла Кирилловна узнала о намерении мужа, но вслух возражать не стала, да и понимала: не следует.

Потом Игорь Владимирович сказал, что Григорий отказался перейти в институт, и Алла Кирилловна ис-

пытала облегчение — почему-то ее пугала перспектива работать вместе с ним, видеться каждый день. Нет, не то чтобы она боялась этого постоянного общения. Григорий изредка бывал у них дома вечерами, и Алла Кирилловна, да и Игорь Владимирович всегда радовались его приходу, как, впрочем, радуются супруги присутствию третьего, когда им уже пустовато вдвоем. Но дома, рядом с мужем, она чувствовала себя защищенной от давних воспоминаний, и ей даже казалось, что она, как и муж, старше Григория, и просто он их воспитанник, — это давало ощущение превосходства, переводило отношения в удобное, благопристойное русло. На работе все могло сложиться иначе. Алла Кирилловна тогда недооценила настойчивость своего мужа. Игорь Владимирович через полгода все-таки уговорил Григория перейти в институт. Ах, господи, сколько раз она недооценивала людей и переоценивала себя, из этих ошибок, казалось, и состоит жизнь, такая короткая (бабий век — сорок лет), и теперь ничего не осталось, кроме работы и воспоминаний... Нет, к черту воспоминания, от них только раскисаешь...

Алла Кирилловна заставила себя сосредоточиться и взялась за бумаги.

4

День не сложился, бестолковый и непродуктивный. Такие у Игоря Владимировича случались нечасто, но усталость от них была особенно заметной, с оттенком какой-то гнетущей беспредметной раздражительности. Он догадывался, почему. Надвигалась старость. Эта догадка в последние годы возникала все чаще, беспокоила, понуждая вслушиваться в себя, и в то же время стала уже привычной, своей, как нетяжелый давний гастрит, дававший знать о себе после острой или слишком обильной еды. Вот теперь и предощущение старости, как застарелая хворь, стало частью его самого, но

привыкнуть к нему было труднее, чем к больному желудку. И если Игорь Владимирович никогда не жалел о несъеденном, то несделанное, когда он думал об этом, давило глухой бессильной тоской, чувством беспомощности перед итогом, который уже нельзя изменить. Это утаскивало куда-то в туман, не давало сосредоточиться. Игорь Владимирович уже несколько минут никак не мог вникнуть в то, что тихо, но внятно говорил его заместитель Сергеев. Второй зам — Никандров — все время перебирал бумаги, и это отвлекало.

День уже померк, и свет в кабинете стал ровнее, и мягче стали тени, отбрасываемые креслами и столом. Тихий ровный голос Сергеева успокаивал, но, чтобы добраться до смысла слов через свое гнетущее раздражение, через нудящую, как желудочная боль, глухую тоску, понадобилось усилие.

А дело было важным и, пожалуй, щекотливым, оно имело отношение и к тематическому плану, и к оснащению опытных мастерских, которые все еще были слабым местом института. Подвернулась хоздоговорная тема: крупный завод хотел наладить производство радиаторов охлаждения из легких сплавов, чтобы они заменили латунные. Работа и сама по себе была нужной, интересной, сулила большой экономический эффект, но, кроме того, договор этот открывал возможность приобрести для мастерских новое оборудование — гидравлические прессы, установку для сварки в инертных газах и еще кое-что, о чем давно мечтали и конструкторы в отделах, и механики в мастерских. Сложность была в том, что завод планировал освоение производства новых радиаторов чуть ли не на следующую пятилетку и мог ждать разработку достаточно долго, поэтому институт был обязан заказывать детали конструируемых радиаторов на производстве подходящего профиля. Институт же был заинтересован в более сжатых сроках: тогда, ссылаясь на эти сроки, он мог обосновать

необходимость изготовления деталей радиатора у себя в мастерских, увеличив смету на стоимость оборудования. И вот нужно было договориться с руководством завода-заказчика о назначении подходящих сроков.

Сергеев был умница, он уже списался с комбинатом легких сплавов и получил ответное письмо; комбинат мог взять подряд на изготовление серии секций не раньше чем через год. Это письмо могло сыграть роль в переговорах с заказчиком. Игорь Владимирович с симпатией посмотрел на Сергеева. Невысокий, хорошо сложенный человек лет пятидесяти, с аккуратно зачесанными висками, но лысый, в своей обычной темно-серой тройке, в свежей рубашке с неброским галстуком, тот сидел в непринужденной позе, но не развалясь, хотя кресло было глубокое и слишком мягкое.

— Через год примут заказ, еще год будут делать, а нам, возможно, пять-шесть типов двух размеров понадобятся, — медленно, чтобы окончательно сосредоточиться, сказал Игорь Владимирович. Вообще-то он никогда не повторял того, что понятней понятного, но сейчас это было необходимо. — Ну что ж, аргумент для нашего заказчика, кажется, убедительный, подготовьте им соответствующее представление, — закончил он, еще раз с удовольствием взглянув на Сергеева.

И тут же мелькнула чуть самодовольная, но успокаивающая мысль, что он, Игорь Владимирович, не ошибся тогда, пять лет назад, переманив своего бывшего аспиранта, работавшего в сельскохозяйственном институте скромным преподавателем на кафедре тракторов и автомобилей, и добившись его назначения своим замом. Сергеев, правда, звезд с неба не хватал, но не пропускал новой литературы, был знающим специалистом, и организатор из него вышел превосходный. Негромким своим голосом, неизменной вежливой ровностью он умудрялся гасить скандалы и споры между старыми профессорами, начальниками соперничающих

отделов и лабораторий, а многие из них были сварливы и капризны, как дети. И никто, пожалуй, лучше Сергеева не смог бы договориться с предприятиями-заказчиками или с министерством о наивыгоднейших для института условиях, хотя не был Сергеев ни ловкачом, ни делягой, — просто спокойная логика его мышления убедительно действовала и на членов министерской коллегии, и на директоров заводов. Словом, с приходом Сергеева в институт Игорю Владимировичу стало полегче, и он мог уделять конструкторской работе больше времени, хотя где-то в самой сокровенной глубине души ощущал, еще боясь признаться себе в этом, что уже вряд ли сможет создать что-нибудь по-настоящему оригинальное: силы теперь не те, да и отставать начал, — эта административная текучка съедала время, а нового в мировом автостроении все прибавлялось и прибавлялось, и так просто, скорым просмотром реферативных бюллетеней и журналов осмыслить это новое не удавалось. И, еще неосознанно, Игорь Владимирович стал бояться риска. Казалось, по-прежнему мыслил он остро и резко и умел в чужих работах сразу увидеть оригинальность и новизну, сам же мало-помалу стал тяготеть к проверенным решениям, солидным, добротным, но лишенным полета, дерзости. И все больше его тянуло к чистым исследованиям, к систематизации наблюдений. Он несколько лет занимался аэродинамикой автомобиля, и вот уже скоро должна была выйти большая книга — итог его исследований...

Игорь Владимирович еще не разобрался во всем этом, еще не чувствовал изменений в себе, потому что тело было послушным, крепким, но это полусознание-полуощущение близящейся старости уже было с ним. Может быть, поэтому он считал работу группы Гриши Яковлева почти что своей. Их непонимание, то, что они считают его чуть ли не противником, уязвляло душу. Может быть, только Алла, жена, понимает, что ника-

кой он не противник, что он хочет как лучше. Она же должна знать, что в серьезных делах он всегда старается действовать наверняка. Хотя — понимала ли она его когда-нибудь до конца? Игорь Владимирович не был уверен в этом...

Сергеев аккуратно складывал бумаги в коричневый бювар, выравнивал края листков. Второй заместитель Игоря Владимировича, Никандров, развалясь в кресле, курил, лацкан его пиджака был припорошен пеплом, одутловатое лицо выражало уверенность недалекого человека. У Никандрова не было ничего, кроме биографии. Еще мальчишкой он участвовал в строительстве АМО, был напористым комсомольским вожаком, бригадиром ударной бригады, собиравшей первые советские автомобили, его наградили, направили на рабфак, потом — в институт. Никандров был одним из первых инженеров-автомобилистов, получивших образование при Советской власти. Его назначили начальником сборочного цеха на новый горьковский автозавод. Он не уходил с завода сутками, цех выполнял и перевыполнял план, за этот труд Никандров получил свой второй орден, о нем писали в газетах. В сорок первом году Никандров работал уже в наркомате.

В первые дни войны он ушел добровольцем. Война не потребовала от Никандрова душевной перестройки, потому что его ведущими чертами были энтузиазм и напор, он привык к штурмовому темпу первых пятилеток, когда работу нужно было выполнять «во что бы то ни стало», и фронт для него, в сущности, был такой же работой, только иными средствами, в иных условиях. Воевал Никандров хорошо, был ранен, снова награжден. После войны его направили главным инженером на большой завод, но что-то уже изменилось в заводской жизни — одного напора и желания сделать свое дело как можно лучше было уже недостаточно, не хватало знаний, гибкости, широты. Отсутствие всего

этого Никандров пытался возместить громкой фразой, прямолинейной требовательностью к подчиненным, но дело не шло. Его понизили в должности, перевели в КБ, и здесь он пробыл недолго, потому что не справлялся с работой. Но в автомобильной промышленности Никандров был человеком известным, многие его однокашники и сверстники занимали высокие посты в министерстве, руководили заводами. И его перебрасывали с одной должности на другую, — так и прошло двадцать послевоенных лет. Когда создавался новый отраслевой институт, Игоря Владимировича уговорили в министерстве взять Никандрова своим заместителем, как человека самоотверженной работоспособности, особенно полезного в начальный, организационный период.

И действительно, Никандров своим напором и грубоватой требовательностью очень помогал в первые годы, когда институтский комплекс еще строился. Он взял на себя всю хозяйственную работу, которую Игорь Владимирович не любил и, не без оснований, считал неблагодарной. А Никандров, кажется, нашел себя. Игорь Владимирович вначале раздражался прямолинейностью зама, но за несколько лет свыкся с ним и даже считал полезным — все еще срабатывали старые знакомства Никандрова, когда в министерстве нужно было выбить новые фонды или добиться еще одной единицы в штатном расписании.

Расширить свои познания Никандров уже не пытался, да, пожалуй, и не был способен на это, но на научно-технических советах иногда выступал, вызывая своими суждениями тихое замешательство среди пожилых профессоров и насмешливые взгляды молодежи. И в первые годы эти речи Никандрова только удручали Игоря Владимировича, но потом стали злить, и, бывало, в заключительном слове он с мстительным чувством начинал логически развивать высказывания Никандрова, доводя их до стройного, одетого в звонкую

терминологию и поэтому ошеломительного абсурда. И сам был готов расхохотаться, видя, как облегченно вздыхают маститые ученые и настороженным блеском начинают светиться глаза молодых. Игорь Владимирович не смог бы объяснить словами, для чего он так поступает, но интуитивно чувствовал, что это полезно. Может быть, ему казалось, что, обнажая невежество, безупречной словесной оболочкой придавая ему видимость логической неуязвимости, он воспитывает у своих людей отвращение к пустой, но звонкой общей фразе, к попытке подменить мышление наукообразной болтовней. И это давало свои плоды: почти всегда выступления на советах были предельно насыщены, продуманы и немногословны. Впрочем, эта атмосфера недоверия к отвлеченному умствованию имела и свою оборотную сторону: никто в институте не мог вылущить то рациональное зерно, которое было в несколько абстрактных и чересчур эмоциональных речах Жореса Синичкина.

Сейчас, на дирекции, Игорь Владимирович почти не слушал того, что говорил Никандров. Он уже привык просеивать слова своего второго заместителя, останавливая внимание только на конкретном. Игорь Владимирович думал о том, что на этот раз ему самому придется ехать в Москву с наметкой тематического плана, чтобы заодно позондировать почву (осторожно, конечно, не раскрывая карт), нельзя ли включить в план работу группы Яковлева.

Привычно сохраняя на лице выражение внимания, Игорь Владимирович изредка взглядывал на Никандрова, а сам перебирал в памяти фамилии министерских специалистов, прикидывая, кто из них поддержит его, а кто будет противником. Никандров что-то говорил о фундаменте вибростенда, о системе вентиляции помещения блоков электронной машины, как всегда это было что-то относящееся к хозяйству, к договоренно-

сти со специализированной конторой, ведущей монтаж вибростенда. Игорь Владимирович не слушал, слова Никандрова были лишь фоном для его размышлений, и в то же время он все-таки контролировал разговор, и поэтому, когда Никандров произнес: «...микроавтомобильчики для детского автодрома», — Игорь Владимирович сразу встрепенулся.

— Так, — сказал он. — Это любопытно. А вы не поинтересовались, где Дворец пионеров собирается изготовить эти автомобили и сколько штук? — Игорь Владимирович пристально взглянул на своего заместителя.

— Нет, — растерянно ответил Никандров и нахмурился. Нижние веки у него были сморщенные, отвисшие, и поэтому, нахмурившись, он стал похож на старого барбоса. Игорю Владимировичу почему-то стало жаль его, но тем не менее он жестко сказал:

— Когда вам что-нибудь предлагают, то прежде всего старайтесь собрать побольше информации, самое легкое — это отказать, как вы сделали. Пожалуйста, свяжитесь с директрисой Дворца и разузнайте все: где, сколько, каковы их финансовые возможности?

— Это ведь почти игрушка, я поэтому и сказал сразу, что институт этим заниматься не будет, — с нотками упрямства в голосе, но тихо ответил Никандров.

— Но кто-то же должен помочь детям. И дело хорошее — приучить их к технике. А другой конторы, которая могла бы сделать эту работу, в городе нет. Так что не ждите, пока обком партии вмешается, — тогда все равно не откажемся. Словом, разузнайте все, — еще жестче сказал Игорь Владимирович.

— Хорошо, — недовольно ответил Никандров. А у Игоря Владимировича вдруг поднялось настроение, и дальше он вел заседание дирекции в своей обычной манере, стремительно и весело. И когда все разошлись, он распахнул несколько створок стеклянной стены и

стал шагать вдоль нее взад и вперед, с удовольствием ощущая свежесть вечернего воздуха, колеблющего желтый шелк занавеси.

Эта просьба городского Дворца пионеров спроектировать автомобильчики для детского автодрома открывала кое-какие перспективы. Вряд ли министерство будет возражать против такого дела, пусть даже и платить им нечем за проект, этим пионерским организациям, — Игорь Владимирович прикидывал, не удастся ли сразу расширить работу. Может быть, не только детский автомобиль, но и коляска для инвалидов, а там — чем черт не шутит? — и массовый микроавтомобиль. Значит, надо создавать группу, а она — вот она, готова... Нет, определенно, в этом автомобильчике что-то было. Игорь Владимирович уже предчувствовал, понимал, что есть возможность каким-то образом (да, непросто, совсем непросто будет) связать проект детского автомобильчика с работой Григория Яковлева. «Рановато меня в предатели записывать», — весело подумал он и тут же снова почувствовал обиду, вспомнил утренний разговор, набычившегося Григория, жестяной голос жены...

Игорь Владимирович сел за письменный стол, настроение снова испортилось. Какие у них основания не верить ему, особенно у Григория? Да, он, Игорь Владимирович Владимиров, боится поражения, он хочет увидеть этот автомобиль живым,— может быть, последний автомобиль в своей жизни. Он считает этот автомобиль своим, — есть у него такое право. И если бы не он, Владимиров, то не был бы Гриша Яковлев инженером-конструктором (ведь так, действительно, если только быть объективным), работал бы себе на заводе, ну, стал бы начальником цеха — поток, автоматические линии... Карбюратор — не машина, только деталь. Кто увидел в том гаражном слесаре настоящего конструктора? Кто перетащил того инженера, уже погрязшего

в заводской текучке, в институт? Он даже идти не хотел (понятно, конечно, — он до сих пор, кажется, любит ее...), один труд переломить его упрямство чего стоил!

Игорь Владимирович начал волноваться, и сразу же больной желудок напомнил о себе легкой болью под ложечкой. Он выдвинул ящик стола, достал пузырек и рюмку, накапал желудочных капель, долил водой из графина и, морщась, выпил. Пожалел, что до конца работы остался всего какой-нибудь час. Он очень не любил показывать свое недомогание жене, а она сразу догадывалась по лицу, что у него болел желудок. Большой привычный кабинет казался сейчас неуютным. Он снова сел за стол, подперся рукой.

...Да, уговорить Григория уйти с завода было непросто. Еще только был издан приказ об организации отраслевого института, и лишь неофициально сказали Игорю Владимировичу, что его прочат директором, а он уже позвонил Грише и предложил снова работать вместе.

Голос Григория в телефонной трубке смешивался с шумами цеха: воем станков, дребезжанием листовых заготовок.

— Не знаю, — неохотно ответил Яковлев, выслушав короткое предложение Игоря Владимировича, и снова в трубке был лишь заводской шум.

— Ну, это не ответ, и вообще — не телефонный разговор. Надо встретиться и поговорить.

— Привык я уже здесь, — глухо сказал Григорий.

Игорь Владимирович представил себе, как он стоит в стеклянной выгородке мастера посреди монтажного участка, где машины оснащают опытными карбюраторами, стоит, упрямо склонив голову, и сжимает губы в жесткую прямую черту, и вдруг понял, что он соскучился по Григорию, которого не видел почти полгода.

— И пропал ты куда-то, глаз не кажешь, — сказал Игорь Владимирович, шутливой интонацией пытаясь скрыть внезапно нахлынувшую досаду. — Заедь к нам сегодня после работы.

Григорий ответил что-то неразборчивое, но Игорь Владимирович переспрашивать не стал, сказал коротко:

— Ждем, — и повесил трубку.

Алла собиралась к портнихе, и он не сказал ей, что придет Григорий. Хотелось побеседовать с ним без жены.

Игорь Владимирович знал, что разговор будет трудный, но, увидев сумрачное, усталое лицо Григория, раздумал уговаривать, только сказал:

— Ты знаешь, что я никогда не указывал тебе, как жить, но на этот раз не отступлюсь. Тебе конструктором быть на роду написано. А на заводе, конечно, комфортнее: смену отработал, ушел домой — и спокоен. Сейчас не давлю на тебя, потому что еще нет института, но через полгода вернемся к этому разговору. Давай-ка выпьем. — Игорь Владимирович достал початую бутылку коньяка, принес из холодильника сыр. Он настроился на тихую вечернюю беседу, хотел рассказать, какие надежды связывает с этим новым институтом, но Григорий слушал с угрюмой рассеянностью, а после второй рюмки сказал:

— Вы уж извините, устал сегодня очень. Вот сразу развезло, лучше я домой пойду. Алле привет, пусть простит, что не дождался. — Он поднялся, равнодушным взглядом обвел комнату. Вид у него действительно был усталый. Игорь Владимирович спросил озабоченно:

— Ты не болен ли?

— Да нет. Просто второй испытатель уволился, и я три дня по две смены вкалывал, пока нового не назначили. Из цеховых-то инженеров никто не хочет идти, потому что зарплата меньше, а тут как раз срочная сдача. — Григорий виновато улыбнулся.

— Ну ладно, иди. Только не пропадай опять надолго.

В передней Игорь Владимирович не удержался, хлопнул его по плечу.

— Будешь все-таки у меня конструктором, никуда тебе не деться.

Григорий не ответил.

Игорь Владимирович сдержал обещание, возобновил этот разговор, когда строители закончили первый этаж инженерного корпуса института.

В январе вдруг наступила оттепель, выпавший до этого плотный снег за одну ночь осел и стал ноздреватым, деревья стояли черные, с мокрыми голыми ветвями, и весной пахло в воздухе. Лыжную прогулку, на которую вместе с женой уже давно собирался Игорь Владимирович, пришлось отложить, и воскресенье выдалось свободное. Он собрался к Григорию, бросил на сиденье рядом с собой старый, до белизны потершийся на швах портфель, в котором хранил незаконченные разработки, и поехал на Выборгскую сторону.

Движение в воскресный день было небольшое, но по узкому, покрытому скользкой брусчаткой проспекту Карла Маркса машины ползли медленно, лобовое стекло часто закидывало грязевой пылью из-под колес передней машины. Игорь Владимирович не нервничал, не пытался обгонять, ехал в общей колонне машин, изредка поглядывал на пузатый портфель на сиденье. В этом старом портфеле были не просто незаконченные, не увидевшие жизни проекты — в портфеле была вся конструкторская биография Игоря Владимировича. Здесь была его тайная боль, еще неугасшая надежда и, как он думал, оправдание. Ему очень не хотелось открывать этот портфель для Григория, хотя, может быть, именно Григорий был одним из немногих, кому Игорь Владимирович все-таки согласился бы открыть этот портфель и кто мог понять то, о чем мечтал кон-

структор Владимиров всю свою теперь уже долгую жизнь.

...Их было трое, веселых, наполненных жаждой жизни и работы молодых инженеров. Шел тысяча девятьсот тридцать девятый год. Молодая промышленность страны набирала силу, по дорогам уже колесили десятки тысяч автомобилей отечественной конструкции, уже семь лет работал построенный в неслыханно короткий срок горьковский автозавод, работал ЗИС. Страна уже опережала по выпуску грузовых автомашин Англию, Францию и Германию, в городах стали привычными силуэты «эмок» и «ЗИС-101», вот-вот на Московском автосборочном заводе должен был начаться выпуск первых советских малолитражек «КИМ-10». Автомобиль стал символом индустриализации, автомобильная промышленность — мерилом промышленной культуры. Но трех молодых инженеров томила неудовлетворенность, им не нравилась новая малолитражка, в общих чертах повторявшая уже устаревшую модель Форда, они понимали, что нужна другая конструкция, новая, устремленная в будущее, в завтрашний день автомобильной техники, и чтобы эта конструкция была своя до последнего винтика. Их не слушали, иногда называли фантазерами. Слишком велик был авторитет заграничных автомобильных фирм, равнение на их модели считалось нормой. И, пожалуй, в этом равнении был смысл — текущий момент требовал скорейшего развертывания массового производства машин. «Догнать и перегнать» — таков был лозунг времени.

Но, чтобы осуществить этот лозунг не только количественно, нужны были новые конструкции автомобилей. И три молодых инженера засели за книги, они занимались языками, чтобы быть в курсе всей специальной литературы. Они решили начать все сначала, изучить всю историю автомобиля и понять его эволюцию, увидеть причины изменений конструкции, и еще, — это,

может быть, самое главное, — они решили отказаться от проектирования большого «классного» легкового автомобиля. Им, молодым инженерам молодой страны, казались нелепостью дорогие огромные «линкольны», «кадиллаки», «мерседесы», рассчитанные на то, чтобы тешить тщеславие своих владельцев. Эти дредноуты на колесах, с хрустальными вазами для цветов и серебряными пепельницами в салонах, весили по нескольку тонн, были прожорливы и непристойно роскошны. Отчасти, наверное, из протеста против этих кричаще самодовольных автомобилей, воплощающих, как им казалось, буржуазную техническую мысль, у молодых инженеров родилось стремление к функциональности и рационализму, которые были присущи экономике и технике нового общества. А они ощущали себя техническими полпредами этого нового общества. Они много читали не только по своей узкой специальности. Им были близки и понятны идеи зодчих-конструктивистов: братьев Весниных, Левинсона, Митурича. Эти мастера утвердили новые для того времени формы зданий — лаконичные, функционально оправданные. И трое молодых инженеров-автомобилистов мечтали о том, что их машина станет автомобилем будущего. Они изучили сотни, а может быть, и тысячи схем, чертежей и фотографий легковых автомобилей, существующих или когда-либо существовавших в мире. На графиках они строили кривые изменения параметров — веса, мощности двигателя, колесной базы, длины, ширины, аэродинамических качеств. Они накладывали силуэты автомобилей один на другой, выясняли, как меняются соотношения основных параметров, и продолжения кривых на графиках постепенно обрисовывали автомобиль будущего, их автомобиль.

За рядами цифр молодые инженеры уже видели его простые и благородные формы, небывалые по тем временам технические характеристики и, главное, практич-

ность и дешевизну конструкции, делавшие этот будущий автомобиль массовым, доступным. И вот настал день, когда трое молодых инженеров представили на суд специалистов ярко-голубую модель своего автомобиля в одну пятую величины, чертежи агрегатов и эскизы общих планов. Не всем понравился этот проект, потому что многое в нем было непривычным, спорило с установившимися канонами, но метод перспективного проектирования был признан всеми. Молодым инженерам предложили продолжать свою работу, им выделяли средства на исследования и разработку. Им уже грезилось в будущем свое конструкторское бюро. Это было весной тысяча девятьсот сорок первого года. А в сентябре уже побывавший в боях лейтенант Владимиров трясся на передке семидесятишестимиллиметровки, которую еле тащили по раскисшему от серых дождей проселку смертельно усталые лошади, и угрюмо мечтал всего лишь об исправной «полуторке», чтобы перевезти снаряды, брошенные на старой позиции. В батарее оставалось две пары лошадей на шесть орудий, расчеты потеряли половину состава, лейтенант Владимиров был единственным живым офицером. Он не спал уже несколько суток, и от этого кололо под веками, будто глаза засыпало песком. Лейтенант уже не понимал, спит он или бодрствует,— ему грезилась полуторка «ГАЗ-АА», и не было в тот миг для него автомобиля прекраснее и нужнее, чем этот невзрачный грузовичок...

Директор научно-исследовательского и проектного института Игорь Владимирович Владимиров ехал на своем «Москвиче» по неширокому, со скользким диабазом проспекту в медленно идущей колонне автомобилей, и старый, до белизны потертый на швах портфель лежал рядом с ним на сиденье машины.

...Воевать ему пришлось совсем мало. В ноябре сорок второго лейтенант Владимиров был отозван с фронта в Москву для участия в проектировании послевоен-

ной модели легкового автомобиля. Двадцать третьего ноября лейтенант Владимиров, прячась от ветра за деревянной кабиной, сидел в кузове резво бегущего по схваченной первым морозом дороге «ЗИС-5». Подняв воротник шинели и втянув голову в плечи, лейтенант смотрел на дымное вечернее марево: уже глухо, отдаленно стонали орудия, вспышки ракет выделялись на тусклом закате,— «ЗИС-5» все дальше увозил лейтенанта от Сталинграда, где, охваченная со всех сторон нашими войсками, под наведенными на нее тысячами орудийных стволов, агонизировала шестая армия фельдмаршала Паулюса, вернее — то, что было совсем недавно шестой немецкой армией. Лейтенант за полчаса езды в кузове насквозь продрог, но ему хотелось петь. Раз — в Москву, делать новую легковую машину, значит, победа близка! Лейтенант предвкушал встречу с товарищами; снова соберется их дружная троица, и они будут делать свой автомобиль...

Проспект был утомительный, длинный, как жизнь, в которой были потери и радости, стремления и решимость, надежды и неудачи; неизвестно, чего было больше.

...В Москве его поджидала весть о гибели друзей. Тех двух, с которыми он начинал, задумывал, уже не было. И альбом чертежей, расчетов и эскизов остался в осажденном городе. И вовсе не для того, чтобы заниматься малолитражкой — «массовым перспективным автомобилем», — отозвали лейтенанта Владимирова из-под самого Сталинграда. Задание было исчерпывающе четким: разработка модели легкового автомобиля высшего класса. Он ознакомился с наметкой технического задания, — не о таком автомобиле мечтали до войны трое молодых инженеров, просиживая вечера и выходные над схемами и расчетами. Владимирова удручала предстоящая работа, он ясно видел, что за основу пока принята отсталая довоенная модель. Де-

лать это в то время, когда идет война, когда весь переполнен горечью гибели товарищей...

Война... Она перевернула не только судьбы людей. Один год войны изменил и его, Владимирова, и не только человечески: война дала инженерную зрелость. Артиллерийский лейтенант ясно понял значение перспективного проектирования любой техники, понял, чем могут обернуться техническая робость и отставание. Это было уже не просто знание, это была невозможность существовать по-другому. Гибель товарищей переживалась как плата, знание стоило дорого — двое из троих... Своими сомнениями по поводу технического задания Владимиров поделился с одним из ведущих конструкторов будущего проекта. Разговор был доверительным и неофициальным, и пожилой конструктор, по учебнику которого Владимиров учился в институте, полунамеками объяснил, что не от конструкторов зависел выбор модели, взятой за основу, и что задание не обсуждается, оно равносильно военному приказу. После этого разговора лейтенант Владимиров попросился снова на фронт, сославшись на то, что у него нет опыта проектирования больших автомобилей, да и вообще нет опыта. Его вызвали в партком, сказали, что не для этого его отозвали с фронта и не на опыт его рассчитывают. Он занимался аэродинамикой автомобиля, и вот эти его знания пригодятся. Проектирование этого автомобиля — важное правительственное задание, и раз уж нашли нужным привлечь его к этому, то не ему, Владимирову, решать, где от него будет больше пользы. Понадобится — пошлют и на фронт, а может, и еще куда-нибудь...

...За перекрестком Сердобольской улицы проспект стал свободнее, но Игорь Владимирович не прибавил скорости, спешить не хотелось. Он будто ехал на своем отлаженном «Москвиче» сквозь жизнь, снова — через годы, от памятных довоенных дней, наполненных дерз-

кими надеждами, до сегодняшней усталой неспешности. Вся его жизнь была связана с автомобилями, он любил их всегда, даже когда они раздражали и злили своими несовершенствами, он любил их и надеялся, что сделает такой автомобиль, который будет лишен недостатков. Надежды не сбылись — так сложилась судьба. Правда, не только судьбу нужно было винить в этом. Разве он, конструктор Владимиров, всегда был последователен, всегда стоял на своем? Почему он ушел из КБ в вуз? Ушел при первой возможности, как только сняли ленинградскую блокаду. Неужели ему тогда казалось, что в кустарной институтской лаборатории он сможет сделать то, чего почти безуспешно добивались хорошо оснащенные мировые центры? Сделать в одиночку? Неужели он был тогда так глупо самоуверен и наивен?.. Одному создать автомобиль, маленький автомобиль, который не устаревал бы в производстве и эксплуатации хотя бы пятнадцать лет (хотя бы!)? Не обманывал ли он себя? Неужели этой своей технической идеей он защищался, как щитом, от пугающего сознания, что просто хочет жить, жить удобно и бесхлопотно, раз уж остался в живых? Ведь так хотелось домашнего тепла, прочности, тянуло к семье, надоела угрюмая жизнь в московском общежитии! Что ж, значит — правда, не обстоятельства виноваты в том, что от его жизни остался только этот старый неприглядный портфель. А может быть, все-таки не один портфель, а еще какое-то знание, которое он передал другим? Разве Алла, Валя Сулин, и, конечно, Гриша Яковлев, и многие другие — не его ученики? Разве в том, что они делают или пытаются сделать в Москве, Ульяновске, Горьком, Запорожье, Ленинграде, нет хотя бы частицы его труда, его мыслей?

Игорь Владимирович ехал по Выборгской стороне. Он не задавал себе все эти вопросы — просто они всегда были в нем, как болезнь желудка, которая не ухо-

дила никуда даже тогда, когда боли не было. Просто он сам, доктор технических наук Игорь Владимирович Владимиров, и был этими вопросами, уже близкой старостью, душевными и телесными болями.

Если не считать беспризорного детства, он прожил жизнь с комфортом. Нет, никогда он не стремился обладать вещами, хотя умел отбирать их со вкусом... Нет, не вещи, — больше всего ценил он, может быть безотчетно, душевный комфорт, дававшийся чувством победительности. Он был хорошим преподавателем, почти блестящим лектором, может быть — даже философом автомобильного конструирования. И, наверное, поэтому ему казалось, что он может быть и конструктором. Это вечное чувство удачливости, победительности помогало самообману. Беспризорник двадцатых годов, он, один из немногих своих сверстников-сирот, стал интеллигентом, инженером-конструктором. В конце тридцатых он, опять же один из немногих конструкторов, увидел новые пути проектирования автомобилей. Но, верно, этого было бы мало, чтобы ощутить победительность, удачливость, которые и давали душевный комфорт,— важно было то, что этот новый путь был в конце концов признан как достижение его (и его товарищей, конечно). Вот это — *признание* — и вело его, влекло по жизни. Он всегда, даже тогда, когда не думал об этом, стремился быть признанным, признанным как можно быстрее — немедленно. И потому интуитивно занимался только тем, что могло принести признание. Потом, с годами, пришло и умение ждать, терпеть, но умение это было уже бесполезным — ждать оказалось, в сущности, нечего. А тогда, в молодые свои годы, он был нетерпелив. Он женился на красавице, не разобравшись, даже не подумав, что она за человек. Правда, за это пришлось расплачиваться потом (платить, конечно, приходилось за все), и, может быть, теперешние вопросы, которые Игорь Владимирович хоть и не задавал, но ощущал

в себе, тоже были платой... Он любил сына и с детства будил в нем честолюбие, стремление быть всегда первым, и вырастил, как ему казалось, черствого, самовлюбленного эгоиста — это тоже было расплатой.

Далее Алла, даже эта поздняя удачливая любовь оборачивалась расплатой: за нее он заплатил недоверием Григория. Это было горше всего, потому что Григорий был дороже сына. Григорий был им самим, Игорем Владимировичем Владимировым — таким, каким он хотел стать, но не стал, — это понимание тоже было расплатой... Он жил долгие годы, жил хорошо, во всяком случае, так ему казалось, потому что шел от удачи к удаче, и уважение и признание людей сопутствовали ему, и он думал, что живет правильно, но в один слякотный день январской ростепели, оказавшись на тусклом узком проспекте в сонном медленном движении машин один со старым, набитым бумагами портфелем, вдруг понял, что весь он и есть этот старый портфель, и если эти бумаги не пригодятся другим — значит он прожил напрасно...

Игорю Владимировичу очень не хотелось открывать портфель Григорию, потому что содержимое портфеля свидетельствовало больше о поражениях и слабости (его слабости), чем о победах, эти бумаги — графики, чертежи, эскизы — были печальной повестью о несделанном. Но Игорь Владимирович знал, что все равно откроет портфель своему любимому ученику (тут уж не до самолюбия), потому что он, только он, может продолжить работу — если захочет. А если не захочет? Если Григорий не захочет, тогда это будет значить, что он, Игорь Владимиров... Тогда, значит, просто не было никакого Игоря Владимирова, такого, каким он себя считал. Был лишь обман, растянутый на сорок шесть лет...

...Владимиров сидел в своем просторном кабинете, откинувшись на спинку рабочего кресла, и держался руками за край письменного стола, будто все еще медленно ехал на отлаженном «Москвиче» по тусклому проспекту в том, пятилетней давности, оттепельном январе, когда впервые шевельнулась в нем та полумысль-полуощущение приближающейся старости.

Боль в желудке утихла, но Игорь Владимирович не изменил позы. Еще оставалось полчаса до конца рабочего дня, ему не работалось, и он просто сидел за столом. Директор отраслевого научно-исследовательского и проектного института занимался странным делом: не обвиняя себя, он все-таки искал самооправданий.

...Он открыл свой портфель для Григория, потому что никакие другие уговоры не действовали, а ему, Владимирову, было очень нужно, чтобы его ученик согласился перейти в институт. Он развернул перед этим парнем, которого любил и в которого верил, пожелтевшие от времени чертежи и выцветшие записи — историю своих поражений, печальный итог своей жизни. Он приготовился к тому, чтобы ответить на все вопросы Григория, ответить, не щадя себя, — может, впервые он был готов быть беспощадным к себе ради дела, своего дела. Ему даже хотелось этой беспощадности, хотелось выговориться, чтобы ощутить потом освобождение от груза горьких чувств, признаться в которых самому никогда не хватало прямоты. Но Григорий понял все и без слов. Он долго рассматривал чертежи, эскизы и листал альбом с графиками. А Игорь Владимирович сидел на диване и, томясь тишиной тесной холостяцкой комнаты, испытывал облегчение и одновременно сожалел о том, что ничего не пришлось объяснять. Может быть, глядя на склоненное над чертежами, освещенное настольной лампой лицо Григория,

Игорь Владимирович все-таки хотел, чтобы вопросы были заданы, хотел по этим эскизам и чертежам снова пройти свой путь, потому что еще была в нем надежда, мысленно повторив этот путь, найти оправдание. Но Григорий не задавал вопросов. Ученик не хотел объяснений учителя, не хотел его оправданий — если вообще возможны оправдания учителя перед учеником, старшего перед младшим. Григорий не дал такой возможности Игорю Владимировичу, он только спросил:

— Какой это год?

— Сорок первый, — ответил Игорь Владимирович. И в том, что он назвал не тридцать девятый и не сороковой, а именно сорок первый — год начала войны, уже содержалась попытка оправдаться. Понял ли это Григорий, не думал ли он в тот момент о чем-либо еще, кроме чертежей, лежавших перед ним, — Игорь Владимирович не знал. Но он добился своего: Григорий согласился перейти в институт. И это было только первым этапом плана, плана неосознанного, но осуществляемого Игорем Владимировичем с безотчетной последовательностью.

Он определил Григория в испытательный отдел, чтобы начинающий конструктор своими руками испытал как можно больше автомобилей — аналогов будущей конструкции, чтобы их достоинства и недостатки были не только изучены, поняты умом, но и стали бы для Григория переживанием. Чтобы всем существом его овладело стремление к мыслимому совершенству маленького автомобиля.

Постепенно ставил Игорь Владимирович перед ним исследовательские задачи по общей компоновке автомобиля, исподволь подводя к главной работе. Когда через два с половиной года Григорий защитил диссертацию, Игорь Владимирович решил, что предварительная работа закончена. Он подготовил конструктора,

такого, каким сам хотел быть когда-то. Теперь оставалось только перевести Григория в отдел, дать ему группу и возможность работать, но это и было самым трудным. Тематический план института составлялся жестко, включить в него проектирование автомобиля, да еще не записанного в «Перспективный типаж автомобилей» — особый государственный документ, определяющий конструирование и выпуск автомобилей в стране,— было просто невозможно. Поэтому Игорь Владимирович выжидал, он не хотел рисковать, не хотел больше поражений. Судьба конструктора Яковлева не должна быть похожей на судьбу конструктора Владимирова.

Но Григорий Яковлев начал сам, он работал вечерами (странно, как совпадают судьбы), он увлек своей идеей (уже своей!) Сулина и Аллу. Игорь Владимирович сначала обрадовался, когда узнал обо всем от жены, но потом пришли опасения — как бы эта торопливость, это нетерпение не обернулись неудачей. Он боялся полного совпадения судеб. И он знал, что эта самодеятельная работа, раз началась, рано или поздно потребует выхода. Как только первые расчеты и первые контуры появятся на бумаге, в сознании конструктора возникнет и с каждым днем будет становиться отчетливее облик будущего автомобиля. Конструкторский замысел, как дитя, — для того, чтобы расти и развиваться, нуждается в движении и воздухе. Игорь Владимирович боялся, что при этой самодеятельной, «подпольной» работе воздуха может не хватить, и тогда угаснет страсть, без которой невозможно ни одно новое дело, и новый автомобиль умрет, еще не появившись на свет. Но не мог директор института Владимиров сразу обособить эту группу, выделить средства на проектирование. Такой проект требовал много денег, привлечения десятков разных специалистов, а значит, работа должна быть санкционирована на уровне министерства. Путь к этому был труден, очень труден...

Конечно, была у директора института возможность организовать работу по проектированию маленького автомобиля и без санкции министерства. Игорь Владимирович мог, например, предложить разным отделам и лабораториям проектирование агрегатов будущего автомобиля, двигателя и даже кузова в виде исследовательских работ, а корректирование всей разработки поручить Яковлеву. Собственно, в идеале работа главного конструктора автомобиля и должна сводиться к подобной корректировке. Но Игорь Владимирович не хотел никаких компромиссных решений. Он знал, что при таком «рассеянном» методе проектирования работа затянется, может быть, на долгие годы, и кроме того, в результате работы все равно не появится новый автомобиль, — та кипа чертежей, которые выдадут разные отделы института, не будет единым проектом, как их ни корректируй в процессе разработки. Эти чертежи нельзя будет передать в опытные мастерские: хотя, возможно, любой отдельный агрегат и выйдет добротным и современным, но автомобиля из них не получится, потому что автомобиль — это не просто соединение отдельных, пусть даже самых совершенных, агрегатов. Автомобиль — как живой организм, который состоит из тысяч разных клеточек: каждая из них нежизнеспособна в отдельности, но все вместе эти клетки образуют совершенное и нерасторжимое единство — например, лошадь, — единство, которое может приспосабливаться к самым жестким условиям, выносить перегрузки и, самое главное, точно соответствовать своей функции. Современный металлический конь человека — тоже нерасторжимое единство своих частей, и главное в этих частях — не просто их совершенство, а способность к взаимодействию и взаимодополнению.

Все это Игорь Владимирович не просто предвидел, это было знанием, вошедшим в кровь. А этот автомобиль он хотел увидеть живым и удачливым, именно

удачливым, потому что автомобили, как люди, имеют свою судьбу. И он не хотел никаких полулегальных проектов,— только энтузиазм и вера конструктора рождают удачные и по-настоящему новые автомобили. У него были такие конструкторы, он вырастил их сам, и у этих конструкторов были идеи, и вера, и страсть. Теперь нужно было дать им возможность работать в полную силу, дать самостоятельность. Только это и требовалось от него, Игоря Владимировича Владимирова, директора института...

Он взглянул на часы и встал из-за стола. Рабочий день кончился. И настроение у Игоря Владимировича, кажется, выровнялось, и боль отпустила.

Он вышел в приемную. Секретарша Ксения Ивановна уже зачехлила пишущую машинку, подкрасила губы и теперь собирала объемистую сумку; увлекшись своим занятием, она не заметила директора. Игорь Владимирович секунду наблюдал мелкие суетливые движения пожилой, но все еще молодящейся женщины. Мелькнула мысль, что Ксения Ивановна — расторопный, ничего не упускающий секретарь, а вот за простым делом суетится, как на пожаре. Игорь Владимирович попрощался. Ксения Ивановна испуганно вскинула глаза, узнала и успокоилась.

— Всего доброго, Игорь Владимирович. Вот закопалась, ключей от дома не найду, на обед ходила — еще были.

— Ну, раз были, то найдутся, — ответил Игорь Владимирович и направился к двери.

— Вот же они!.. На утро ничего срочного нет? — спросила вдогонку секретарша.

— А что, вы хотели с утра задержаться? — обернулся Игорь Владимирович.— Если нужно, пожалуйста.

— Нет, нет, это я так, на всякий случай.

— Ну, тогда утром и посмотрим. До свиданья, — Игорь Владимирович вышел в коридор. Вообще-то ут-

ром ему нужно было связаться с Москвой, разыскать в министерстве Аванесова, но он намеренно не сказал об этом Ксении Ивановне, потому что давно взял себе за правило никогда не отдавать даже самых мелких распоряжений на ходу, тем более таких, исполнение которых не требуется немедленно. Сказал бы он о звонке в Москву, и, может быть, висело бы это над Ксенией весь вечер. Человек, считал Игорь Владимирович, должен оставлять работу на работе, если, конечно, способен на это. Он даже завидовал иногда тем, у кого так получалось. Игорю Владимировичу никогда не удавалось полностью отключиться от мыслей о работе, да и не было, пожалуй, в его жизни ничего более значимого. Может быть, поэтому жизнь казалась сплошной работой, но печалило иное: работа эта не имела осязаемых результатов. Не мог конструктор Владимиров назвать ни одной марки своей машины. Во многих проектах была доля его участия, но участия косвенного, не дававшего ощущения полноты самоосуществления и удовлетворенности.

Он шел коридором своего института, перебрасывался замечаниями — иногда деловыми, иногда шутливыми — с сотрудниками, шел прямой, по-юношески подтянутый, на сухощавом лице появлялась и исчезала улыбка, живо блестели глаза. И не было это лицедейством. Директор института, доктор технических наук, профессор Игорь Владимирович Владимиров и по внутренней сущности соответствовал своему внешнему виду, у него хватало ума, чтобы уверенность в себе не превратилась в самодовольство, сухощавость и стройность тела — в смешное бодрячество, склонность к шутке — в нарочитое остроумничание, — он всегда оставался самим собой. Но всегда Игорь Владимирович не хотел быть тем, кем он был. Он хотел быть другим. Может быть, таким, как Гриша Яковлев. Этого в жизни не получалось, он просто был вынужден оставать-

ся самим собой, потому что на иное не хватило... Чего не хватило? Не все ли равно чего — души, сил, смелости. Теперь этот вопрос уже не имел значения — чего-то не хватило, и все... Он шел по коридору широким упругим шагом и улыбался сослуживцам искренней открытой улыбкой, но неудовлетворенность собой, своей жизнью, которая близилась к итогу, не покидала его ни на миг даже тогда, когда он не думал об этом.

На площадке перед подъездом института машины выстроились в две аккуратные шеренги. Игорь Владимирович по обыкновению обогнул этот строй слева, прошел вдоль ряда четко выровненных бамперов. Его «Москвич» стоял на привычном месте — крайнем справа в первом ряду. Так повелось с самого основания института. Он, директор, был и самым старым сотрудником. Он ставил здесь машину, когда еще не было ни подъезда, ни асфальта, покрывавшего площадку для стоянки. Он с первого дня ставил автомобиль на это место, почти вплотную к стене бокового крыла инженерного корпуса, а пришедшие в институт после него пристраивали свои автомобили слева от директорского. Сейчас на площадке стояло около сотни автомашин и десяток мотоциклов и мотороллеров.

Игорь Владимирович отомкнул дверцу, сел в кабину и сунул ключ в замок зажигания. Жена не заставила ждать: мягко щелкнула дверца, и Алла села на сиденье рядом с ним. Игорь Владимирович почувствовал привычный, едва уловимый запах ее духов, сказал:

— Ну, устала? — Повернул голову, взглянул на жену и сразу понял, что она не в настроении. В последние годы это случалось все чаще — Аллу охватывала молчаливая угрюмость, иногда неожиданно разрешавшаяся вспышкой раздражения. Игорь Владимирович сначала пугался, но постепенно привык, решил, что это возрастное: все-таки Алле не двадцать. Он про-

сто в эти моменты старался быть особенно внимательным к жене.

— Немного устала. Что-то суетливый день получился, — Алла откинулась на спинку сиденья, прикрыла глаза.

— Ты обедала? — Игорь Владимирович повернул ключ в замке зажигания, двигатель завелся с полуоборота стартера.

— Нет, не хотелось. А потом, в нашей столовой и есть нечего — все биточки да щи, как заладили, так целый месяц почти. Ни молочного супа, ни рыбы.

— Да? Я как-то не обратил внимания. Наверное, так снабжают, но завтра скажу Никандрову. Он из них душу вынет, — Игорь Владимирович тронул машину с места, плавно вырулил на проезжую часть. — Так что, может, заедем куда-нибудь, чего-нибудь съешь вкусное? — Он коротко взглянул на жену. Алла не открыла глаза.

— Нет, пожалуй, домой. В морозильнике утка уже неделю лежит, надо же ее когда-то приготовить. И вообще никуда неохота, — последние слова ее звучали раздраженно.

Игорь Владимирович счел за лучшее промолчать. Институт находился далеко за городом, и он надеялся, что за время езды жена успокоится. Машина шла по ровной дороге плавно, почти бесшумно. Игорь Владимирович смотрел вперед, где за поворотом должен был показаться перекресток подъездной институтской дороги и магистрального пригородного шоссе, и думал о том, что в этом году жену нужно обязательно послать в санаторий, куда-нибудь на море. Последние три года они вообще проводили отпуск как-то нелепо, без настоящего отдыха: то плутали на машине по разбитым проселкам области, выискивая достопримечательности деревянной архитектуры, то колесили по Прибалтике, нигде не задерживаясь больше чем на два-три дня, —

было интересно, но уставали сильно и часто питались кое-как. И вот сейчас Игорь Владимирович решил, что Алле полезно провести месяц где-нибудь на черноморском побережье, в санатории, и, пожалуй, одной, без него. Они прожили вместе почти десять лет и за это время ни разу не расставались, если не считать коротких поездок Игоря Владимировича в Москву, которые случались по нескольку раз в год, но всего на два-три дня.

«Да, наверное, настал тот момент, когда нужно хоть ненадолго разлучиться, отдохнуть друг от друга», — думал Игорь Владимирович, поворачивая на шоссе.

До городской окраины они ехали молча. У Средней Рогатки, когда показался бетонный серый остов недостроенного дома, строгим параллелепипедом возвышающийся справа по ходу машины, он спросил:

— В лавку не надо?

— Да нет, дома все есть, — усталым, безразличным голосом ответила Алла, потом, помолчав, добавила: — В холодильнике бутылка сухого...

— Что, тебе выпить хочется? — оживился Игорь Владимирович.

— Сегодня выпила бы... Что-то нужно.

— Ну, давай купим шампанского. Ты же любишь, — с готовностью отозвался он.

— А-а, не все ли равно, обойдусь тем, что есть, — Алла говорила по-прежнему устало, но раздраженные нотки в голосе исчезли, и Игорь Владимирович рискнул спросить:

— Все-таки что-нибудь случилось?

— Да, знаешь, ничего особенного, но все вместе взятое... Осциллограф испортился, потом ноль-четырнадцатый не давал курсовой устойчивости — так и не поняли, в чем там дело, завтра мост поменяют, и вообще с утра все куда-то вкось пошло. — Жена говорила спокойно, даже обычная смешливость послышалась в ее

голосе Игорю Владимировичу, и немного ослабло напряжение, которое он испытывал, чувствуя плохое настроение Аллы.

Московский проспект был наполнен светло-серым мягким светом, пронзительно вспыхивали красные огоньки стоп-сигналов, еще не зажглись витрины, поток автомобилей уже поредел, и вести машину было легко и спокойно.

— Я в этом году не заметил даже, как белые ночи кончились, — сказал Игорь Владимирович и затормозил у перекрестка. Вдруг нахлынула грусть. Вот и еще одно лето почти прожито. Как незаметно и стремительно проходят дни, месяцы. Повседневные заботы превращают все в один неразличимый поток, и только порой мимоходом замечаешь, что прожит еще год. Вот так, на перекрестке, в ожидании зеленого сигнала светофора, мысленным взором на миг обратившись назад, ощущаешь время. Где-то там, в уже смутной дали, затерялись первые шаги, и весь путь уже неясен, и прежние цели, достигнуты они или нет, утратили смысл. И ясно только одно: нужно двигаться дальше.

Загорелся зеленый сигнал. Игорь Владимирович тронул машину с места.

— У тебя что, опять желудок болел? — вдруг спросила Алла.

— Да нет, ничего, — спокойно ответил Игорь Владимирович и спросил: — Чего это тебе показалось?

— Не знаю, лицо серое.

Игорь Владимирович чувствовал на себе пристальный взгляд жены. Он снял правую руку с руля и погладил Аллу по колену.

— Нет, в самом деле ничего, просто тоже устал сегодня. Дирекция долгая была, а до этого Потапов пришел и сидел битый час, все рассказывал, как бы он облагодетельствовал человечество, если бы все приняли его скоростной метод зарядки аккумуляторов. Честное

слово, целый час — все одно и то же, как будто плутает в трех соснах... Нет, пора ему на пенсию. Слушал и думал: неужели и я лет через десять буду в таком маразме? Да, скажу тебе, невеселое это зрелище. — Игорь Владимирович улыбнулся, мельком взглянул на жену и снова стал смотреть вперед, в серую даль широкого проспекта, где размыто и тускло пульсировала неоновая эмблема «Электросилы».

— Думаю, тебе это не грозит ни через десять, ни через двадцать лет, — сказала Алла.

— Ты уверена в этом? — Он сам услышал, что вопрос его звучит с какой-то заискивающей надеждой, будто от уверенности жены действительно что-то зависело, и не смог удержаться от недовольной гримасы.

— Просто я хорошо знаю тебя.

«Алла, кажется, ничего не заметила», — подумал он с облегчением. И сказал шутливо:

— Ну конечно, твой муж не может дойти до такого состояния.

— Не в этом дело, — серьезно возразила Алла. — Для того чтобы впасть в старческий маразм, нужно быть человеком достаточно самопоглощенным. У кого это есть, тот и заклинивается в старости на себе. Почему у женщин это состояние и встречается реже — они ведь всегда больше направлены вовне, среди них меньше самоуверенных людей. А ты ведь, Игушка, у меня не очень уверенный в себе.

Игорь Владимирович постарался весело улыбнуться — слова жены показались обидными. «Наверное, правда», — подумал он и попытался отшутиться:

— Где же были твои глаза десять лет назад?

— Тогда все выглядело иначе, — без улыбки ответила Алла.

— Лучше или хуже? — Игорь Владимирович сквозь легкую обиду вдруг почувствовал, что этот неожиданный разговор очень интересен и важен для него. Ка-

жется, за все годы они с женой не говорили друг о друге так откровенно... (Ах, эта всегдашняя тактичность хорошо воспитанных людей! Хорошо ли?)

— Ни то и ни другое — это не те категории. — Алла положила руку ему на плечо. — Тебе когда-нибудь приходилось рисковать — по-крупному?

— Да, — ответил Игорь Владимирович, выдержал паузу и добавил не без чувства удовлетворения: — Когда женился на тебе.

— М-м-м, в самом деле? — Теплая ладонь жены погладила шею, взъерошила Игорю Владимировичу волосы на затылке. — Я не видела в этом никакого риска.

— Ты и не могла видеть, потому что ничем не рисковала.

Они попали под зеленую волну светофоров на проспекте, и машина уже взбежала на мост. Игорь Владимирович включил правый указатель поворота.

— Ой, ты по Фонтанке! Так хотелось через Исаакиевскую — год, наверное, там не была.

— Чего ж ты поздно сказала? Теперь по Гороховой только вывернем. Годится? — Игорь Владимирович сейчас испытывал нежность к жене, но ему было грустно.

Пальцы ее снова прошлись по шее и затылку в легком прикосновении, теплые, трепетные пальцы жены.

— А ты уверен, что не рисковала? Ты мог ведь и разлюбить, — интонация Аллы была вкрадчивой и чуть озорной.

— А ты не могла? — Он услышал, что голос хрипит, и понял, что волнуется, машинально остановил автомобиль у перекрестка улицы Дзержинского, снял руки с руля и посмотрел на жену. Она сидела вплотную к нему, откинув голову и закрыв глаза, левая рука лежала на его плече, рассеянная улыбка молодила худощавое яркое лицо. Не открывая глаз, Алла сказала так же тихо и вкрадчиво:

— Ты, Игушка, совсем не знаешь женщин. Да и мужчин — тоже.

— Ну, где мне, — Игорь Владимирович предпочел иронию, хотя чувствовал себя уязвленным.

— Поехали — зеленый, — сказала Алла, и он удивился тому, что она почувствовала перемену сигнала светофора, хотя как будто не открывала глаз.

Игорь Владимирович включил скорость, но чуть резче, чем нужно, и шестерни в коробке заскрежетали так, что заныли зубы. Он сморщился, нервно дернул руль на повороте.

— Ну прости, я не хотела тебя обидеть, — жена сжала его плечо.

Он медленно повел машину по узкой улице, сделал тихий протяжный вдох и потом — выдох.

— Ты видела когда-нибудь, чтобы я обижался? Тем более на тебя, — Игорь Владимирович старался, чтобы голос звучал весело и спокойно. — Но, знаешь, то, что ты говоришь, интересно, хотя и требует доказательств. Я-то, по простоте душевной, считал, что разбираюсь в людях, но сомнения были, — кто же обходится без них!

— Ну, возможно, я не совсем верно сказала.

В голосе жены Игорь Владимирович услышал извиняющиеся нотки и обрадовался.

— Ладно тебе дипломатию разводить. Если ты мне не скажешь правду, то кто ж скажет? — Игорь Владимирович аккуратно объехал стоящий троллейбус; он мог позволить себе теперь этот ободряющий тон.

Прямая улица несла машину к Адмиралтейству, желтизной стен и золотом шпиля замыкавшему перспективу; по узким тротуарам в медленных сумерках шагали люди, движение их еще не утратило деловой стремительности, они еще жили ритмом работы, хотя рабочий день был уже позади.

— Свернем по Гоголя, — попросила Алла.

— Хорошо, — с готовностью согласился Игорь Владимирович. — Ты собиралась закончить свою мысль.

— Да ну, какая там мысль.

— Нет, это интересно, — возразил Игорь Владимирович.

— Ну... — Алла переменила позу, чуть отодвинулась, но не сняла руки с его плеча. — Понимаешь, ты всегда пользовался успехом, тебе незачем было думать о людях. Это потерпевший поражение постоянно думает о них. По-моему, неудачники знают людей лучше, чем счастливцы. Потерпевший поражение вынужден изучать его причины. А ты, Игушка, принципиальный победитель. — Она сняла руку с его плеча, Игорь Владимирович боковым зрением увидел, как жена поправляет прическу. Он любил это изящное движение ее узкой руки.

Игорь Владимирович с ходу повернул на широкую улицу Гоголя, заметил впереди, на перекрестке Исаакиевской площади, красный сигнал светофора и пустил машину накатом.

— Может быть, ты права. Но тут есть противоречие. С одной стороны, я — принципиальный, как ты изволила выразиться, победитель, с другой — человек неуверенный. Как это может совмещаться? — сказал он, мельком взглянув на жену.

— Ну, не знаю, как это совмещается. Может, просто одно зависит от другого. Ты ведь боишься и не любишь проигрывать. А там, где боязнь, там и неуверенность.

— Теперь куда прикажешь? — спросил Игорь Владимирович, потому что выехали на площадь.

— Обогнем собор и поедем по набережной, — ответила она.

— Пожалуйста, желание любимой жены — закон. — Игорь Владимирович с подчеркнутой лихостью свернул за собором направо и добавил: — А все-таки что-то не

сходится в твоих выкладках. Хотя во многом ты права. Я действительно не люблю проигрывать и стараюсь этого не делать, особенно в последние годы. Понимаешь, у меня уже не остается времени на исправление ошибок, поэтому я не хочу их делать.

На набережной было светлее. Медный всадник простер свою ладонь под алюминиево-серым небом; белесой казалась Нева; бледно желтели стены Адмиралтейства, а впереди, словно висящий в этом воздухе, призрачно возникал зеленовато-белый Зимний дворец.

— Господи, как мы глупо живем. Подумать только, я не была здесь вечность, — грустно сказала жена. — Кино, телевизор... посредственные спектакли... Приходи и гуляй здесь по часу каждый день... А-а! Какая-то мелочная суета; ничтожные обиды — это же все чушь по сравнению с такими местами. — Алла утомленно откинулась на спинку, упавшим голосом сказала: — Знаешь, сегодня проревела почти до обеда.

— Да что ты! — Игорь Владимирович на секунду повернулся к жене. За всю их совместную жизнь не случалось, кажется, ни разу, чтобы Алла плакала. И сейчас он был обеспокоен. — Что произошло? — Он затормозил так, что Алла качнулась вперед, потому что не уследил, как на светофоре у Дворцового моста зажегся желтый сигнал.

— Ты смотри лучше вперед, — Алла слабо улыбнулась. — Ничего не произошло, просто с утра дурацкое настроение было. Я уже тебе говорила. Так, все сошлось вместе. Сулин отпросился пораньше, Гриша целый день набыченный; знаешь же, когда он зол, это не очень приятно. Сам гонял четырнадцатый — на поворотах баллоны просто дымились. Мне кажется, он на пределе. Твоя дипломатия до него не доходит. Он может сорваться.

Машину плавно подбросило на мостике через Зимнюю канавку.

— Еще сегодня утром мне ничего, кроме дипломатии, не оставалось. Потому что выходить на совет бессмысленно. И он это должен понимать не хуже меня.

— Ничего он не понимает, не хочет, не способен. — В голосе Аллы задребезжала жесть.

— Да, действительно, — Игорь Владимирович чувствовал досаду. — Но через три-четыре дня, максимум через неделю, я смогу сказать ему кое-что конкретное. Появились такие возможности.

— Боюсь, что будет поздно. Он может что-нибудь выкинуть, — глухо сказала Алла.

Игоря Владимировича еще больше раздосадовало то, что она не проявила интереса к его словам, ничего не спросила.

— Ну, я тоже не бог, — сказал он. — Что, я раздаю задания на проектирование? Вот, подвернулся небольшой заказ — это даже не хоздоговорная тема, но можно развернуть работу, если подойти с умом. — И он стал рассказывать жене о детских микроавтомобильчиках, от которых чуть было не отказался Никандров. Игорь Владимирович рассказывал о своем замысле — расширить эту работу, придать ей государственную значимость, а потом войти в министерство с предложением об открытии плановой темы и — чем черт не шутит, — может быть, записи в «Перспективный типаж». Говорил он убежденно, с увлечением, несколько раз даже ловя себя на самолюбовании своей дальновидностью и предусмотрительностью, и заключил уверенно: — Так что надо выждать совсем немного. — Потом, выдержав паузу, доверительно попросил жену: — Ты повлияй на Григория, чтоб не порол горячку. Он ведь только тебя и послушает. А то все дело погубит.

Машина спускалась с Кировского моста к площади Революции; над темной крепостной стеной золото соборного шпиля на фоне бледно-серого неба выглядело особенно изысканно. Игорь Владимирович с привычным

удовольствием любовался всем вокруг и чувствовал удовлетворение от своих слов и молчания жены.

— Выждать-выждать, — вдруг с дрожью в голосе сказала Алла. — Ты всю жизнь этим и занимаешься, это стало профессией.

Игорь Владимирович по голосу понял, что жена злится, и сказал примирительно:

— Ну хорошо. Чего-то я уже не дождусь, но его-то ты можешь уговорить подождать неделю?

— Почему все — я? Почему всегда, с первых дней, ты подсылал меня к нему? — Алла почти кричала.

Игорь Владимирович плавно повернул на Петровскую набережную, глубоко, неслышно вздохнул. Долгий опыт работы среди людей научил его никогда не терять спокойствия, но сейчас это давалось нелегко.

— Не всегда. Но иногда случалось. Потому что он трудный, замкнутый... Мне было не пробиться к его душе. — Он сказал это очень спокойно, даже сухо. Приближаясь к дому, машинально взглянул в окна квартиры и свернул во двор.

— А ты не слишком рисковал, ловец душ? — спросила Алла, когда машина остановилась у парадного. — Ведь все могло получиться иначе.

— Цель оправдывала риск. — Игорь Владимирович заглушил двигатель; только сейчас он почувствовал, что очень устал, снова глухо заныл желудок. Усилием воли он заставил себя улыбнуться, вышел из машины и подождал, пока выйдет Алла, чтобы замкнуть дверцу. По лестнице он шел позади жены, рассеянно глядел, как легко она шагает, не касаясь каблуками серых ступенек, смотрел на стройные сильные ноги; раньше это доставляло удовольствие. Ныл желудок, с каким-то странным, испугавшим его безразличием Игорь Владимирович подумал: «Может быть, именно этого и хотелось: чтобы все — иначе. Может быть, тогда эти годы прожил бы по-другому? Был бы, то есть не был бы

самим собой, а стал бы тем, кем втайне от себя хотел быть». Он поморщился: мысли эти сильно отдавали нелепой школьной мечтательностью. «Маразм все-таки», — холодно отметил он.

Жена, не открывая дверей, дожидалась его на площадке. Серый свет из плохо вымытого лестничного окна (электричество еще не включали, хотя белые ночи кончились) неясно обволакивал ее лицо, лишая его привычной яркости, старил. Но Игорю Владимировичу показалось, что Алла смотрит напряженно и виновато, и опять он испугался того, что это ему безразлично.

Сумрак и тишина, нежилая, какая-то выморочная (теща еще весной переехала к овдовевшей сестре), стояли в квартире, пока не раздался привычный стук сброшенных женой туфель и не зажегся свет в просторной прихожей. Игорь Владимирович, осторожно наклонившись, развязал шнурки, снял узкие башмаки. Пока он переодевался в домашнее, в ванне уже весело заплескалась вода; когда Алла умывалась, плеск был какой-то особый, уютный. Игорь Владимирович налил себе капель, выпил, поставил чайник на газ. Заученная обыденность всех этих действий сегодня удивляла своей непривычностью. Плеск в ванной был сегодня отчужденным, пластиковая кухонная мебель холодно блестела, даже свои руки, пальцы с узкими бледными ногтями казались Игорю Владимировичу чужими. «День такой бестолковый, вот и устал», — успокаивая себя, подумал он. Ни о чем другом думать не хотелось.

5

Огромный двусветный зал, в котором помещался отдел художественного конструирования, после наполненного солнцем стеклянного перехода показался Яковлеву неуютным. Высокие окна были завешены белой

тканью, и свет в зале стоял молочный, парной, не дающий теней. На глухих торцовых стенах под высоким потолком устроились балконы, огороженные перилами на белых балясинах. К ним вели изящные белые лесенки. Балконы служили для осмотра макетов и моделей сверху.

Яковлев замялся у входа, оглядывая стоящие друг за другом большие столы художников, модели легковых машин на поворотных кругах, желтый посадочный макет низкого «седана» с прорезанными в скорлупе кузова большими квадратными отверстиями для обозрения; вертикальные, похожие на широкоформатные киноэкраны плазы, висящие на торцовых стенах под балконами, светло-зеленый пластиковый пол, успокаивающий глаза. В зале было много людей, но все равно он казался безлюдным, таяли в огромном, наполненном парным молочным светом пространстве голоса, превращаясь в глухой слабеющий шелест.

Склоненные спины художников в цветных рубашках выглядели одинаково, и, не понимая, которая из них принадлежит Синичкину, Яковлев пошел вдоль колонны столов, испытывая досадливую неловкость и стараясь приглушить шаги. Никто не обращал на него внимания, и он скользил рассеянным взглядом по эскизам на столах. В незавершенных линиях угадывались контуры дверных проемов и лобовых стекол, спинки сидений, приборные панели, облицовки радиаторов,— все эти эскизы были намечены слабыми карандашными штрихами и не вызывали интереса. Да и не надеялся он видеть здесь что-нибудь интересное, потому что знал, из чего состоит текущая повседневная работа дизайнеров: незначительные усовершенствования узлов уже стоящих на конвейере автомобилей, разработка более технологичных форм крыльев, капотов и дверей легковых и грузовых автомобилей. Художественное конструирование целого кузова нового легкового автомобиля слу-

чалось не часто, как не часто менялись модели выпускаемых на заводах машин.

Яковлев тихо шел вдоль колонны больших столов, досадуя на свое чувство неловкости и стеснения, и вдруг застыл.

У края стола, под стеклом, покрывавшим столешницу, лежал небольшой лист ватмана, и с его матовой белизны прямо на Яковлева летел маленький красный автомобиль. Казалось, что двухдверное купе с изящными и простыми формами не изображено на плоском листе, а обладает трехмерностью модели. И глаз конструктора уже отмечал и поместительность салона, и выгодную аэродинамику, и изысканную скромность передней облицовки; эскиз читался превосходно, машина, изображенная сбоку и спереди, тотчас привлекала глаз плавностью очертаний, и сразу было видно, что это — маленький автомобиль, легкий, стремительный и оригинальный.

Не так уж просто изобразить автомобиль на бумаге, еще труднее нарисовать несуществующий автомобиль, потому что форма машины образована сложно изогнутыми поверхностями, которые не передать мазками кисти и не вычертить по линейке. Художник-живописец знает эту трудность и никогда не стремится точно зафиксировать сложную форму, он лишь передает цветовое соотношение предмета и света, контраст фона. Художник-конструктор ставит себе противоположную задачу, он должен как можно точнее изобразить форму будущего автомобиля, не используя при этом никаких живописных средств.

Яковлев стоял и молча рассматривал этот автомобиль с острым и беспокойным интересом, влюблялся в него, восхищался искусством дизайнера. И слабеющий глухой шелест голосов, огромное, наполненное парным молочным светом пространство зала уже не вызывали неловкости. Он машинально сделал шаг по-

ближе к столу, даже наклонился над эскизом красного автомобиля.

— Привет испытателям, — хрипловатый, прокуренный голос раздался неожиданно близко, заставил оторвать взгляд от эскиза.

Жорес Синичкин сидел за столом и смотрел на Яковлева с легкой, какой-то вроде обиженной улыбкой. Пожатие широкой руки было неожиданно сильным для человека такого небольшого роста, от этого Яковлев снова почувствовал стесненность. Он растерянно улыбнулся художнику и опять стал рассматривать эскиз автомобиля.

— Глядится? — коротко спросил Жорес.

— Да, — кивнув, тихо ответил Яковлев, потом добавил осторожно: — Стекла, наверное, немного перегнутые. — И опасливо взглянул на художника: не обиделся бы.

— Так и называется: «Колобок», — все с той же улыбкой ответил Синичкин.

— При такой выпуклости уже могут возникать искажения.

— А-а, — Жорес тряхнул лохматой головой, — никаких искажений не возникнет, потому что не будет такого автомобиля живьем. Это так, чтоб руку не свело от всего этого, — он кивнул на исчерченный ватман перед собой. Яковлев ничего не разобрал в путанице жирных и слабых линий. Прямо на листе лежала крупная прямая трубка, часть пепла высыпалась на бумагу, тут же, среди остро очиненных толстых карандашей, валялся небольшой кожаный кисет.

— У меня к тебе разговор, — сказал Григорий, погладив стекло, прикрывавшее эскиз.

— Разговор? — настороженно переспросил Синичкин.

— Да, — твердо сказал Яковлев; он уже не сомневался, что Жорес именно тот дизайнер, который нужен.

— Ну пойдем, покурим, — Синичкин взял трубку, кисет и поднялся.

Они прошли по коридору и свернули в небольшой вестибюль, в котором начинались шахты двух грузовых лифтов и были ворота, выходящие во двор мастерских. Здесь тускло светила слабая лампа в мутно-грязном колпаке толстого стекла, на цементном полу стояли два жестких деревянных дивана и тяжелая фаянсовая урна. Место это в институте издавна звалось «Гайд-парком», здесь, под сигарету, обсуждались новинки специальной литературы, статьи «Литературной газеты», выносились суждения о диссертациях; хоть и неофициальные, но подчас более близкие к истине.

Жорес сел на диванчик, выколотил о край зазвеневшей урны трубку, стал набивать ее из кисета: лицо его в тусклом свете было серьезным, сосредоточенным. Яковлев достал сигарету.

— Да вот. — Яковлев чиркнул спичкой, затянулся. — Автомобиль нужно сделать. — Он чуть помедлил. — Вроде твоего «Колобка».

Жорес не ответил, только посмотрел снизу вверх прищуренными глазами; с трубкой в зубах лицо его казалось насмешливым. И Яковлев, теряя уверенность и понимая, что допускает оплошность, что не так надо начинать этот разговор, заторопился:

— Понимаешь, мы давно работаем. Сначала изучали историю, попытались прогнозировать развитие. Требования составили. Теперь уже есть и техзадание, и главные компоновочные решения, даже — агрегаты и двигатель... В общем, теперь нужен художник — без него дальше нельзя. Но пока это...

— Самодеятельность? — прервал его Жорес, попыхивая трубкой.

— Да, самодеятельность, — чуть резковато ответил Яковлев, разозлившись на себя за торопливую неуверенность.

— Знаешь, сколько я занимался самодеятельностью? Почти всю жизнь. — Синичкин невесело усмехнулся.

— Есть надежда, что откроют тему. Директор знает о работе, обещал поддержку. — Яковлев снова почувствовал неловкость, на этот раз оттого, что сказал неправду, вернее, не совсем правду, ибо позицию Владимирова воспринимал иначе. И медленно добавил: — Но нужно самим поднажать на него.

Жорес по-прежнему дымил своей трубкой и, казалось, не был заинтересован разговором.

— Ну а кто в группе? — спросил он небрежно. Слова от зажатой в зубах трубки цедились медленно и нечетко.

— Валя Сулин, я и Алла Синцова.

— Это — жена директора?

— Да. — Яковлеву был неприятен этот вопрос.

— Она чем занимается?

— Подвеской.

— А ты — главный? — Жорес еще сильнее прищурился.

— Как будто.

— Ну и что это за автомобиль? Понимаешь, если «классик», то я — пас. Да и вообще, обрыдла мне самодеятельность... Так что ты не сердись, — Жорес, словно извиняясь, развел руками.

— Да, я понимаю. — Яковлев стряхнул пепел в урну, сел рядом с художником и, не глядя на него, монотонно произнес: — Мест — пять, полезная нагрузка — триста пятьдесят, сухая масса — пятьсот, двигатель — пятьсот кубов, пятьдесят сил, обода — десять дюймов.— Он сделал две короткие затяжки и, бросив окурок, добавил: — База — тысяча восемьсот, длина — две семьсот.

— Что-о? — Жорес вынул трубку изо рта. — А компоновочная схема?

Яковлев посмотрел на него, увидел недоверчивое изумление на лице и почувствовал себя спокойнее.

— Двигатель оппозитивный, четырехцилиндровый, спереди, почти над осью; коробка и редуктор заднего моста в одном агрегате — сзади. — Он улыбнулся: почему-то появилась уверенность, что Жорес согласится.

— Да, — сказал Синичкин, задумчиво глядя в свою трубку, — это любопытно. Надо бы взглянуть, как это на бумаге.

— Хоть сегодня, после работы, — сказал Яковлев и встал.

— Годится. — Синичкин тоже поднялся.

К себе, в испытательный отдел, Яковлев вернулся с хорошим настроением, даже неприятный осадок в душе, оставшийся после утреннего разговора с А.. лой, перестал ощущаться. Но, инстинктивно избегая встречи с ней, Яковлев шел не внутренними переходами, а дворами, хотя путь этот был длиннее.

Ворота лаборатории были открыты, механик и водители-испытатели уже выкатили автомобиль на подъездную дорогу полигона и теперь сидели на скамейке в тени под навесом. Их темно-синие комбинезоны с круглой желтой эмблемой института на нагрудном кармане резко выделялись на фоне светло-серой стены корпуса. Красные эмалевые шары защитных шлемов, лежащие в ряд на скамейке, казались горячими. Было тихо, приглушенный шум моторов с дальних трасс полигона лишь подчеркивал тишину безветренного, жаркого дня. Молодые, посаженные всего три года назад вдоль подъездной дороги тополя еще не успели разрастись, их прямые тонкие стволы с немногочисленными ветками отбрасывали четкие тени на белесое асфальтобетонное полотно.

— Ну что, начнем? — спросил Яковлев, подходя, и сам отметил неискреннюю бодрость своего тона. Стало неудобно, что столько людей дожидаются его.

— Дорожники не дают «добро», — ответил пожилой техник и посмотрел вперед, приставив ладонь козырьком ко лбу.

Яковлев тоже взглянул в конец подъездной дороги, увидел красный сигнал светофора, запрещающий выезд на скоростную дорогу.

— У них сигнализация отказала, — сказал кто-то из водителей.

— Если это надолго, то, может, сначала — на площадку? — спросил Яковлев.

— Да нет, я звонил. Полчаса — не больше, — ответил пожилой техник. — Мы страховочные колеса даже не успеем поставить, Григорий Иванович.

— Ладно, подождем, — сказал Яковлев и тоже сел.

В лаборатории работа всегда шла ровно. Техники-механики и водители-испытатели знали свое дело, работали добросовестно, но без суеты, поэтому инженерам не было нужды давать какие-то мелочные указания. Так сложилось с самого начала, еще до прихода Яковлева. Может быть, потому, что руководила женщина? Яковлев раньше не задумывался над этим. И только сейчас, досадуя на себя, вдруг сообразил, что никогда не замечал, чтобы Синцова «отдавала распоряжения». Она почти всегда только рассказывала о том, что́ предстоит сделать, но почему-то все лаборантки, механики и водители знали, кому и чем заняться. Сейчас Яковлев вдруг понял, что и ему, и Сулину Алла тоже никогда не указывала, но выходило, что они делали работу в той последовательности и так, как нужно. Да и сам он, Яковлев, никогда не вмешивался в работу механиков и слесарей. В этом просто не было необходимости. И сейчас ему было особенно неприятно, что он сделал старому опытному механику глупое предложение, потому что переоснащать автомобиль для проводимых на площадке испытаний «вход

в поворот» было делом трудоемким, да и последовательность видов испытаний не следовало менять.

«Я совсем сегодня не соображаю», — подумал Яковлев хмуро, и утреннее раздражение снова плеснуло в нем горячо, сами по себе сжались губы. — Я скоро на людей кидаться начну, если так пойдет. Никогда не случалось... чтобы так припекло. Видно, кончилось терпение...» Еще он думал с какой-то брюзгливой злостью об этих предстоящих испытаниях.

С автомобилем возились уже несколько лет, и это были не первые доводочные испытания. Многим, в том числе и Яковлеву, опытный автомобиль казался неуклюжей мешаниной частей уже устаревших и известных моделей, неудачной попыткой осуществить давно провалившуюся техническую идею: автомобиль среднего класса загримировать под большой, дорогой, и в то же время так примитивизировать двигатель и агрегаты, чтобы машина стоила дешевле. И в результате получился некрасивый, зрительно тяжелый и неприятный по форме кузов, который все равно не дотягивал до комфортабельности большого дорогого автомобиля, а ходовая часть и двигатель были уже сейчас, в процессе доводочных испытаний, конструктивно и морально устаревшими. Даже бывалых шоферов-испытателей, которым приходилось ездить на совершенно немыслимых, мало чем напоминающих автомобиль экспериментальных телегах и платформах, воротило от этого образца. И почти всем в институте, кто имел отношение к проектированию новых моделей, было ясно, что проект пора закрывать, воспользовавшись только исследовательскими данными по отдельным частям. Да, это было ясно всем, кроме создателей автомобиля, которые из года в год умудрялись выбивать себе средства на продолжение работ. Имена этих людей были связаны с первыми в стране легковыми автомобилями, с первыми научными работами по теории автомобиля, это помо-

гало им добиваться средств, помогало отстаивать проект, но это не могло помочь в создании современной машины.

Еще три года назад, когда Яковлев был в институте новичком, ему казалось не только странным, но и чуть ли не злонамеренным упрямое стремление некоторых пожилых конструкторов к уже отжившим техническим решениям. Яковлев не мог взять в толк, как это люди не хотят того, что очевидно и несомненно лучше и рациональнее. Понадобилось несколько лет для того, чтобы понять: они, эти люди, не не хотят — они просто не могут.

У большинства людей, если верить психологам, к тридцати — сорока годам складывается определенная и довольно жесткая система вкусов и оценок: человек создает жизнь, но и жизнь создает человека. Теперь же все меняется так быстро, что порой даже не заметишь перемен. Их проще всего увидеть в области моды: объемистые юбки плиссе сменились непринужденными мини, привычными стали женские брюки. Прекрасная половина человечества вообще менее консервативна в одежде и быстро, даже с радостью, не лишенной, правда, некоторой суеты, приветствует перемены. Мужчинам ничего не остается, как только с восхищением принять этот динамизм. Уже почти никто не подвергает сомнению право женщины на брюки, почти никто не возмущается мини-юбками, даже если они такой длины, что могут выполнять функцию одежды лишь символически. И самые ярые воители против новой моды нынче, кажется, примирились с ней. Но если длина юбки еще никогда не наносила ущерба просвещенному человечеству, то с технической модой все обстоит иначе. Если к автомобилю пристраивают самолетный хвост или снабжают его салон устройством для выпечки пончиков, это — мода. Если автомобиль становится красивее, комфортабельнее, экономичнее и мощнее, это —

прогресс. Мода и технический прогресс не имеют между собой ничего общего: первая — изменение внешности, второй — изменение качества. Но мода пройдет и сменится другой, а конструктивные решения должны прогрессировать. Бабушки, однако, никогда не расстанутся с юбками плиссе; так и некоторые конструкторы не в состоянии отрешиться от уже изживших себя конструкций. Что поделать, автоконструктор — тоже человек.

И Яковлев только недавно понял, что некоторые немолодые инженеры просто не могут принять тех изменений, которые происходят в конструкции автомобиля, особенно легкового. И сколько ни доказывай этим людям с помощью расчетов рациональности нового, они будут отмахиваться от него, потому что их чувства, вкусы, привычки будут сопротивляться этому новому, считая его лишь вздорной модой. Когда конструктор становится бабушкой, он перестает быть конструктором.

Григорий Яковлев недовольно смотрел на уродливый опытный автомобиль, освещенный солнцем на подъездной дороге полигона.

— Загоните в бокс, а то этот линкор раскалится и будет потом душегубка, — раздраженно сказал он.

Один из водителей поднялся со скамейки, на ходу надевая темные очки, медленно подошел к автомобилю. Подергал ручку плохо подогнанной и поэтому туго открывающейся дверцы, обернулся и крикнул:

— Погас красный!

— Поезжайте, — махнул Яковлев рукой и поднялся.

— Сейчас я нашу подам, — сказал пожилой механик и вошел в ворота. Яковлев услышал, как сразу завелся мотор принадлежавшего лаборатории «Москвича», и вздохнул, успокаиваясь: начиналась работа.

«Сегодня я и сам погоняю», — предвкушая удовольствие, подумал он. И к концу работы, действительно, настроение у него выровнялось.

Ожидая Жореса Синичкина за проходной, Яковлев наслаждался прохладой безветренного вечера. Негромко хлопали дверцы машин, всхрапнув двигателем, отъезжали мотоциклы. У торца бокового крыла института группа людей ожидала автобус-«подкидыш», подвозивший сотрудников до городской черты. Слышался смех. Колебались стеклянные входные двери, отражая то машины, стоящие на стоянке, то газетный щит возле проходной. Люди прохаживались по небольшой прямоугольной площади перед фасадом, разговаривали возле автомобилей, прощались до следующего рабочего дня. Цветные платья женщин яркими пятнами выделялись на матово-сером фасаде и темной хвое молодых невысоких елочек.

И вдруг Григорий почувствовал незнакомую теплоту к этой небольшой площади, к людям, выходящим из стеклянных дверей. Вряд ли он смог бы высказать это словами, но понимал, что ему хорошо здесь, что здесь он не чужой, случайный человек и уж, наверное, теперь ему не прожить без этих суетливо двигающихся людей, хлопающих дверцами машин, без прощальных кивков, казалось бы, безразличных улыбок, даже без этого серо-белесого фасада и маленьких елок вдоль него — без причастности к делу, которую он так остро ощутил впервые.

Жорес вышел из проходной с большим толстым портфелем. Отыскав глазами Яковлева, кивнул издали и направился к нему. Портфель был слишком велик для его мелкой фигуры, и походка была какая-то неуверенная, будто посторонняя сила захлестывала художника вбок и нужно было сопротивляться, чтобы идти прямо; голова, тоже слишком большая от лохматых светлых волос, склонялась влево к плечу, и слишком большая трубка, торчащая изо рта, придавала всему облику что-то карикатурное. Григорий смотрел на приближающегося Синичкина, и легкое стеснение

возникало в груди: он вдруг усомнился в художнике, всплыло то неприятное ощущение, которое осталось от разговора с Аллой — что-то она там говорила нелестное о нем. Яковлеву стало совсем не по себе, досада появилась, что затеял этот разговор и вообще все...

— Это и все? — Жорес вопросительно посмотрел на не очень толстую папку с коричневыми тесемками в руках у Григория.

— Для начала, — хмуро отозвался Яковлев.

— Где бы нам пристроиться? — Жорес покрутил головой, оглядывая площадь перед фасадом института.

— Надо в город сначала выбраться, там подумаем, — Григория стала почему-то раздражать манера художника вертеть головой, он отвернулся.

— Ты где, Гриша, обитаешь?

— На Выборгской.

— Через Петроградскую подходит? — почему-то радуясь, спросил Жорес.

Яковлев молча кивнул.

— Тогда поехали, автобус идет. Я одну кафушку знаю — целый день никого нет. Правда, и ничего тоже нет, но поговорить там можно.

В автобусе все перешучивались, хохотали, как казалось Яковлеву, без причины. Он молчал, смотрел на строения, уплывающие назад вдоль обочины шоссе, на затянутые прозрачной пленкой теплицы овощного комбината, на самолеты, медленно заходящие на посадку над дальними силуэтами домов, и наливался тяжелой угрюмостью.

«Может, зря все это? — думал он, приблизив лицо к стеклу. — Мне тридцать четыре, а я все еще надеюсь повзрослеть и что-то сделать. Купить бы квартиру и «Москвича» и жить себе, жениться... Я за всю свою жизнь не ел домашнего обеда... Черт возьми, меня никто никогда не ждал с работы».

Григорий понял удивленно, что жалеет себя, откинулся на спинку сиденья, — такого с ним до сих пор не случалось. Он искоса подозрительно посмотрел на Синичкина, будто художник мог услышать его думы, но тот безмятежно посасывал пустую трубку и щурился. Яковлев подавил неожиданные мысли, но осталась от них томительная теснота возле сердца, как в детстве, когда он, набедокурив, тревожно ждал вызова к воспитателю детдома.

В метро было людно в этот час, толчея разделила их с Жоресом, и Григорий, прислонившись к торцовой двери вагона, облегченно вздохнул оттого, что не надо разговаривать с художником, — все не проходила тревожная теснота возле сердца, как от предчувствия близкой неприятности. В вагоне остро пахло парным банным духом, мелькали в черной грохочущей мгле за стеклом редкие просверки тоннельных фонарей. Прямо перед Яковлевым стояли две молодые девушки, они все время переглядывались, и на их оживленных свежих лицах вспыхивали озорные улыбки — было заметно, что девушкам стоит труда удержаться от громкого смеха. Легкий, тонко очерченный профиль одной отражался в темном вагонном стекле и там казался еще красивее, обретал влекущую таинственность. Девушка почувствовала его взгляд, повернулась, пристально, без стеснения оглядела его, и Григорий смутился, опустив глаза. Да, хороша, подумал он с грустью. Вспомнилась женщина, с которой у него до недавнего времени длились нетрудные отношения. Она была умной и нетребовательной, симпатичная тридцатилетняя женщина. Жила с сыном-дошкольником и матерью; где-то в Сибири или на Дальнем Востоке (Яковлев точно не знал) работал муж. Поздно вечером, уже собираясь домой (ночевать не оставалась никогда), она вдруг спокойно сказала, что завтра вместе с сыном уезжает к мужу. «Уже завтра?» — только и спросил Яковлев. Он был

удивлен неожиданностью, но не огорчился и просто не знал, что говорить. Проводил ее до остановки и, когда автобус, мигнув стоп-сигналами и указателем поворота, скрылся за углом, почувствовал удовлетворение. Нет, он не тяготился связью с ней, но давность и постоянство их встреч уже стали приобретать какую-то — пока нечеткую — периодичность и обязательность, а ему, одинокому, всю сознательную жизнь привыкшему располагать собой и своим свободным временем, даже эта невнятная обязательность начала под конец казаться обременительной. Так что он ни о чем не жалел, может быть, только первые дни ощущал некоторую пустоту. А сейчас, прижатый к стеклянной двери, в легкой качке поезда метро, рядом с красивой молодой девушкой и сотней других людей, Яковлев вдруг остро почувствовал свое одиночество — оно было как чернота тоннеля за вагонным стеклом, непроглядная, с редкими монотонными просверками тусклых фонарей.

Кафе, куда привел Жорес, было действительно удобным. Довольно большой зал занимал часть нижнего этажа недавно построенного дома на набережной; квадратные колонны, несущие перекрытие, как бы отделяли столики друг от друга и давали ощущение уюта. Было тихо, малолюдно, только две женщины за столиком у входа допивали кофе да еще несколько человек стояло у стойки с кофейным автоматом, за которой неспоро работала очень старая буфетчица. Полакомиться здесь было действительно нечем: в витрине лежали невзрачные булочки, даже на вид окаменевшие коржики, мелкие бледные яблоки, — в этом, видно, и был секрет малолюдности кафе. Позади буфетчицы на полках стояли бутылки дешевого сухого вина и минеральной воды.

— Бутылочку этой «гымзы» возьмем? — специально коверкая название, спросил Жорес.

Григорий кивнул и почувствовал острое желание выпить, — все еще ощущалась тревожная теснота в груди.

— Лучше две, — сказал он и достал деньги.

— Да куда его столько? — удивился художник.

Кофе оказался неожиданно густым и ароматным. Григорий с наслаждением прихлебывал из чашки, запивая кисловато-горькое красное вино. Они устроились за дальним столиком, соседняя колонна загораживала почти весь зал, сюда даже не доносилось шипение кофейного автомата. Напольный светильник из черного кованого железа с тремя лампами-свечами ровно освещал коричневую столешницу. Григорий допил стакан; вкус вина был под стать настроению.

— Ну-с, жду вашего меморандума, сэр. Эх, если б здесь еще и курить можно было. — Жорес взял в зубы пустую трубку, посапывая, втянул воздух.

Яковлев повертел стакан на столе, вздохнул.

— Собственно, все просто. — Он запнулся: вдруг показалось немыслимо трудным вот так, в немногих словах объяснить то, чего он добивался несколько лет. — Вот захотел сделать маленький автомобиль, недорогой, экономичный, массовый автомобиль индивидуального пользования, и, главное, чтобы по своим техническим и потребительским качествам он мог удовлетворять требованиям достаточно долгое время. — Григорий взял бутылку, налил себе полный стакан, добавил в стакан художника.

— Н-да, заманчиво. Значит, лавры господина Порше покоя не дают? — Синичкин, прищурив глаз, посапывал пустой трубкой.

— Да погоди ты, дай сказать, — разозлился Григорий.

— Нет, — вдруг жестко отрезал художник. — Это все разговоры для пижонов, ты дай мне пощупать. А сколько времени машина будет в обращении, зависит

не от одного желания конструктора. Те данные, что ты сказал давеча, меня заинтересовали, иначе бы я не пришел сюда. Но делать я буду автомобиль, только если он стоит этого. — Жорес вынул трубку изо рта, усмехнулся. — Ты уж прости за резкость, но самодеятельностью я, повторяю, сыт по горло. И если уж работать на свой страх и риск, так что-то интересное.

Минуту Григорий молчал, справляясь с собой, потом глотнул вина и, взяв со стола папку, не глядя на художника, развязал тесемки. Синичкин сдвинул в сторону чашки и стаканы, придвинул стул поближе. Яковлев вынул из папки вчетверо сложенную компоновочную схему, развернул уже трескающийся на сгибах ватман и разложил на столе. Придержал поднимающийся край, чтобы Жоресу было удобнее смотреть.

— Так. — Лохматая голова низко нависла над чертежом. — Это ясно, это... тоже... Значит, редуктор и коробка служат как бы подрамником для задней подвески?

— Да. — Григорий начал волноваться: первый посторонний человек смотрел сейчас задуманную им машину.

— Как развеска? — не отрывая глаз от чертежа, спросил Жорес.

— При любой загрузке — пятьдесят на пятьдесят,— торопливо ответил Григорий.

— А эти тяги привода коробки и передаточный вал... что туннель, выступающий в салоне? — Синичкин поднял глаза, и Григорий заметил во взгляде настоящий интерес.

— Нет, ты же видишь, что они ниже уровня крепления моста и только на сорок миллиметров выше днища редуктора, он — самая нижняя точка от поверхности дороги — сто шестьдесят пять миллиметров. — Яковлев начал волноваться и смолк. Художник даже не взглянул на него. Достав из портфеля большой альбом

с разными эскизами, Жорес отыскал в нем чистый лист, толстым карандашом стал писать четырехзначные числа. Григорий бездумно и рассеянно смотрел, как из-под острого грифеля возникают четкие, похожие на типографский набор цифры, потом взял свой стакан, стал медленно цедить сквозь зубы горьковато-кислое грубое вино.

— Н-да, — Жорес положил карандаш на лист альбома, взял свой стакан и, улыбаясь, взглянул на Григория.— Знаешь, может получиться очень любопытный автомобильчик, даже оригинальный.— Он задумчиво посмотрел в свой стакан.

— Надо бы эскиз попривлекательней, — осторожно сказал Григорий.

— Эскиз? — Синичкин прищурился из-за края стакана.

— Сам понимаешь, тема, не утвержденная еще. Защищать легче будет, если...

— Ну, вот что, — прервал Жорес. — Или мы работаем вместе и ты мне полностью доверяешь, потому что я тоже заинтересован увидеть это живьем, или...

— Договорились!— Григорий твердо взглянул в глаза Жоресу.

— Погоди, — Синичкин поставил стакан. — Эта полувагонная компоновка мне нравится, нравится технически, экономически, если угодно, — социально. Но предупреждаю, что парадную лошадку я делать не намерен. Это начальное и главное условие.

— Да что ты, Жора, я вовсе и не думал о такой игрушке, — торопливо ответил Яковлев.

— Значит, заметано?

— Да. — Яковлев протянул художнику руку.

— Хорошо, — Синичкин пожал протянутую руку. — Тогда одна идейка...— Он снова взял трубку в зубы, посопел, втягивая воздух.

— Ну, ну, — произнес Григорий небрежно, но внутренне насторожился.

— Почему ты не пошел до конца? Можно перенести сцепление тоже назад!

— Ну, просто не было необходимости, да и постоянно вращающийся вал под днищем иметь неохота, — ответил Григорий без уверенности. — И вообще как-то не принято отрывать этот механизм от маховика.

— Ну, допустим, что карданный вал тоже почти постоянно вращается под этим самым днищем; вместо маховика можно специальный опорный диск придумать — все в одном блоке с коробкой, а то, что не принято, так тут у тебя уже много непринятого: у нас и поллитровый движок никто четырехцилиндровым и оппозитным не делал, и коробку назад не двигал. Ты же вообще новый автомобиль делаешь. — Жорес говорил быстро и еще успевал посапывать трубкой. — А вообще-то все уже было. Если не вру, в конце тридцатых годов на гоночной «Альфа-Ромео Альфетте» сцепление, коробка и редуктор в одном блоке были поставлены сзади. Фарина тогда еще был гонщиком и выступал на ней.

Григорий удивленно посмотрел на художника.

— Да?! Честно говоря, этого я не знал. Раньше сороковых вообще плохо знаю, пользовался чужими данными. — Он помолчал, раздумывая, говорить ли Синичкину об альбоме Игоря Владимировича. Решил, что не нужно, и спросил: — Допустим, перенесли сцепление, что это даст? — И с уважением подумал: «Нет, Жорес не пижон».

— Это даст еще двести пятьдесят, а то так и триста миллиметров длины салона без увеличения общей длины, а загрузка осей почти не изменится или совсем не изменится. А мне эти миллиметры очень пригодятся, потому что тут для сидений, сам знаешь, небогато. — Художник помолчал озабоченно. — Вообще-то,

надо бы начать с макетирования, если делать все добротно.

— Ну, еще скажешь, что и модель — в натуральную величину. Не забывай, Жора, что это, как ты говоришь, самодеятельность. Кто нам даст построить макет? В макетной со мной и разговаривать не станут. Это тебе не ключ от квартиры — за чекушку не сделают.

Художник не ответил, он задумчиво глядел в дальний угол зала. Григорий снова наполнил свой стакан, отпил сразу чуть не половину.

— Пойду еще кофе возьму по чашечке, — сказал он, поднимаясь.

Жорес только промычал в ответ.

Когда Григорий вернулся, осторожно неся чашки, художник что-то сосредоточенно подсчитывал в своем большом альбоме. Отбросив карандаш, он удовлетворенно откинулся на спинку стула, сказал:

— Знаешь, салон получается даже чуть больше стандартов, но это пока, на бумаге. Я попробую все-таки что-то придумать с макетом. — Жорес со своей всегдашней чуть виноватой улыбкой посмотрел на Григория.

— Да ну, ничего не выйдет — кто станет городить так, за здорово живешь... — Григорию хотелось сейчас, чтобы художник не согласился с ним! Опустив голову, он помешивал в чашке.

— Понимаешь, там есть два или три посадочных макета неразобранных, может, удастся подогнать какой-нибудь под наши габариты. В макетной у меня отношения нормальные, я ведь не первый раз занимаюсь самодеятельностью. Правда, раньше прикидывал все просто так или брал за основу известные модели и старался добиться лучшего на меньшей площади. — Синичкин снова улыбнулся. — Диссертацию вот готовил, набирал данные.

— Ну и как? — спросил Григорий заинтересованно: только сейчас он начал понимать, что художник прошел почти тот же путь, что и он, Яковлев, что у Синичкина тоже есть «свой автомобиль», сокровенно выношенный и, может быть, даже обсчитанный и созданный на бумаге.

— Да никак. Данные все больше по заграничным моделям — это уже минус, потом лень оформлять стало, и наша контора в принципе этим не занимается. Надо было бы прорываться через Институт технической эстетики, а там и без меня болтунов хватает. — Жорес грустно помолчал, придвинул к себе кофе. — Ты мне лучше расскажи про агрегаты и вообще, ну, как мыслится эта тележка. Этот лист я возьму, ладно? — Он сложил ватман.

— Возьми, у нас еще один есть. — Григорий помолчал: вдруг пришло волнение. В первый раз ему приходилось так подробно рассказывать о своем автомобиле постороннему человеку, пока еще все-таки постороннему; человеку, как он уже понял, разбирающемуся не хуже его самого... Он столько думал об этом автомобиле, столько раз видел его в воображении, что порой казалось — этот автомобиль уже существует. И сейчас Григорий ощутил пустоту и неуверенность, неожиданно понял, что до живого автомобиля еще так далеко! Ведь и проекта законченного еще нет. Он допил свой стакан, глотнул кофе и, вздохнув, сказал:

— В принципе многое испытано. Подвеску этой конструкции я еще на гонках обкатывал, Синцова это знает. Движок, надеюсь, будет хороший. Аналоги были, Валя Сулин занимался такими еще в Политехническом. Работали они ровно, стабильно, хороший газораспределительный механизм и еще достоинство, что много деталей выпускается на заводах. Может быть, в течение года удастся построить тележку со всеми агрегатами и двигателем — что-то вроде гоночной машины — и по-

гонять, колеса подходящие мы припасли уже. — Григорий смолк: рассказа о машине, которую он так хорошо знал, почему-то не получалось.

— Так что, двигатель — двухтактник? — спросил Жорес.

— Нет, нет, все настоящее, автомобильное. Мощность тоже ориентировочная. Валя рассчитывает на бóльшую, но сильно форсировать не хотелось бы — нужен приличный моторесурс, а пятьдесят лошадей вполне достаточно.

Кафе постепенно начало заполняться, за столики вокруг усаживались люди, у стойки уже выросла небольшая очередь.

— Ну, хоть какую скорость ожидаешь? — спросил художник.

— Максимальная должна быть сто сорок, расход топлива пять литров.

— Да, такой автомобильчик и я бы купил, — сказал Жорес с улыбкой. — Сколько будет стоить, не прикидывали?

— Нет, но, судя по весовому расходу материалов, по экономичности, машина, конечно же, должна быть недорогой. А по всем данным и по комфорту это вообще совершенно новая модель. Притом очень современная! — Только сейчас Григорий понял, что он не подготовлен к ответу на многие вопросы, и недовольство собой вконец испортило настроение.

— Ты женат? — вдруг спросил Жорес.

— Нет... А что?

— Ты какого года?

— Тридцать второго, — ответил Григорий раздраженно и вопросительно посмотрел на художника.

— Ровесники... — Жорес помолчал в задумчивости. — Понимаешь, Григорий, только, бога ради, не подумай, что я тебя учить собираюсь... Когда человеку перевалило за тридцать, одиночество — штука вредная,

разъедающая. Начинаешь все время копаться в себе, настроения всякие меняются каждую минуту, как у беременной женщины, недолго и мизантропом стать. — Он с виноватой улыбкой посмотрел на Григория.

То, что сказал Синичкин, было неприятно, но ссориться с художником не хотелось, и Григорий хмуро отшутился:

— Завтра же какой-нибудь лаборанточке предложу руку и сердце.

— Ну а что, у нас там девушки есть даже совсем ничего. Ты, вообще-то, был женат?

— Нет, не был я женат, как-то все то времени, то денег не хватало. Но никак в толк не возьму, почему это тебя заботит. — Яковлев еле удержался от резкости. — И какое это имеет отношение к автомобилю?

— Ну, не сердись. К автомобилю это имеет самое прямое отношение... Как бы это сказать ловчее... — Жорес потер лицо ладонью.

— Да ладно, говори. — Григорий скупо улыбнулся, глядя на растерянное лицо художника.

— Уж поскольку я берусь за эту работу, то это становится наш автомобиль,— слово «наш» Жорес произнес с особым нажимом. — Да и вообще-то такие вещи в одиночку не делаются. А у меня, прости за откровенность, такое впечатление, что ты мир потрясти задумал. Ладно, погоди возражать. — Художник выставил вперед раскрытую ладонь, увидев, что Григорий дернулся. — Конечно, до сих пор все так и выглядело: трое людей на свой страх и риск занимаются проектированием не совсем обычной, а может быть, и совсем необычной модели — бесплатно, без надежды на поддержку в процессе работы. Только хороший, отличный результат дает возможность заслужить признание — от самодеятельности сделать скачок к опытному образцу, к серии, и тэ дэ. Так?

— Ну, допустим, — угрюмо согласился Григорий: разговор ему не нравился, но какое-то не лишенное тревоги любопытство удерживало от того, чтобы оборвать не совсем, казалось, тактичные рассуждения Синичкина.

— Ну а если не выйдет? — спросил Жорес, наклонившись вперед; горлышко бутылки оказалось возле самого его лица, и он отодвинул бутылку резким движением руки.

— Как это не выйдет? Мы же два года убили. Тогда и браться тебе не стоит, — громко сказал Григорий; лицу стало горячо, дыхание сорвалось.

— Не кипятись. Может не получиться. Ведь мы, как-никак, господ Порше и Джакозу побить собрались. Но вот тут-то и разница между нашими подходами — я это сразу почувствовал.

Тревожное любопытство и волнение не отпускали Григория.

— Объясни. Пока не понял, — глухо сказал он.

— Если я взялся за это, — художник кивком указал на папку, которую Григорий оставил на столе, — то буду делать все, на что способен, можешь не беспокоиться. Но дело в том, что для тебя этот автомобиль — вся жизнь, будто он последний. А это неправильно, в корне ошибочно. Для меня-то жизнь включает многое, в том числе и этот автомобиль. И надеюсь, он не самый последний, и если снова неудача — я буду делать следующий. Словом, «дум спиро, сперо» — пока дышу, надеюсь. Тот не конструктор, кто думает сделать единственный автомобиль. Сделать и умереть — так, что ли?

Было видно, что Синичкин и сам волнуется. Он помолчал и добавил уже тихо и как-то грустно:

— Знаешь, я уже битый-перебитый, сколько этих нарисованных автомобильчиков я на стенку повесил!.. — Жорес поерошил свои и без того лохматые во-

лосы и твердо закончил: — Я не предрекаю неудачу, всегда нужно надеяться на успех, иначе и работать не стоит. Но если не выйдет этот автомобиль, нужно делать следующий.

Григорий выпил вина, шумно вздохнул. Что-то было такое в словах Синичкина, чего он не мог ухватить ясно, до конца. И он спросил, стараясь быть небрежным и насмешливым:

— Ну хорошо. Но какое к этому имеет отношение, женат я или нет?

— Имеет, — устало отозвался художник. — Был бы женат, не думал бы, что один, чувствовал бы, что в твоей работе есть доля тех, кто работал до тебя, и доля твоей жены, хотя она, предположим, только котлеты жарила, и доля твоих детей, хотя они только мешали тебе своим шумом и криком и ты сто раз орал на них и думал, что сойдешь с ума. — Он подвинул стакан. — Плесни-ка мне. Я, понимаешь, не очень верю в гордое подвижничество.

Григорий не ответил, налил художнику вина, отвернулся, стал смотреть на людей в очереди у стойки, тяжелая рассеянность вдруг навалилась на него.

— Ты прости, пожалуйста, — виновато и тихо сказал Жорес. — Я, наверное, не прав, и не надо было ничего говорить.

— Да ну, все в порядке, — не поворачиваясь, ответил Григорий. Он действительно не чувствовал досады — только грусть и тяжелую рассеянность.

— Ты запиши адрес и телефон. Может, зайдешь как-нибудь, я почти все вечера дома. Жена малосольных огурчиков сделала — мировая закуска... Покажу тебе разные эскизики. Посмотришь моих бандитов — одному десять, другому семь. Уже обыгрывают меня в шахматы.

— Спасибо, — искренне сказал Григорий.

— Я через недельку, думаю, покажу тебе наброски.

Домой Яковлев шел пешком. Он шагал по Петровской набережной. Мерклый воздух над Невой отдавал знобкой сыростью. Порывами налетал ветер, и тогда по темной зыби реки пробегали белые барашки. Григорий перешел мост и свернул вдоль Большой Невки. Грузовое движение уже ослабло, и тихо было на этой магистральной набережной в вечерний час. Приятная легкость ощущалась после вина, и мысли приходили легкие, благодушные. Рассеянность, которая навалилась в кафе, прошла.

«Не ошибся я, с Жоресом можно будет работать, — думал Григорий, шагая вдоль стен домов по безлюдному тротуару. — Настоящих дизайнеров мало... Начитан. Как он меня с этой «Альфеттой», а? Молодец. Не зря тянуло к нему всегда. А его за дурака считают. Говорят, бездарь... — Григорий поморщился. — Прилепят ярлык, и довольны. „Бездарь". Еще раз скажут при мне...» Тут Григорий даже запнулся на ровном месте. В памяти встало злое и красивое лицо Аллы Синцовой и ее резкое, почти как крик: «Он же — бездарь!»

Григорий тяжело вздохнул, достал сигарету. Что-то заныло внутри глубоко, он даже не почувствовал вкуса сигареты. Вдруг откуда-то прилетел ветер, обдал холодом шею и лицо, и стало совсем одиноко. Захотелось побыстрее домой, и он свернул в переулок, чтобы выйти на проспект, где ходили трамваи.

Квартира встретила его неприятной тишиной — соседи куда-то ушли. Яковлев щелкнул выключателем, осветив длинный кривой коридор. Навалилось ощущение пустоты. Он вошел в комнату, повесил пиджак на спинку стула, не расстегивая пуговиц, через голову стащил рубашку, — все было привычным: и старая тахта, и чертежная доска, и порядком запыленные полки с книгами... Но что-то было не так. Впервые ему

была неприятна эта комната, он вдруг заметил ее неуютность.

«Хватит на сегодня хандры, — приказал он себе. — Нужно подумать о переносе сцепления, прикинуть, чтобы завтра посоветоваться с Валей».

Яковлев вышел на кухню, поставил чайник на газ, умылся в ванной холодной водой. Вскоре свистнул закипевший чайник, и в этом звуке тоже было что-то тоскливое. Яковлев погасил горелку. Чаю не хотелось. Он вернулся в комнату, сел к чертежной доске; матовая поверхность ватмана, казалось, светилась изнутри мягким жемчужно-серым светом — это тоже было привычным, но сегодня угнетало.

«Просто день такой», — подумал он, вертя в пальцах карандаш. Давила пустота. Небо за окном было светлее мглистого воздуха.

«Устал, наверное. Скоро отпуск — и отдохну от всего», — решил он и стал думать о том, что поедет в Эстонию к старому приятелю — гонщику, неторопливому, основательному Вайно. Григорий представил себе ряд аккуратных домов из белого кирпича вдоль шоссе, по другую сторону которого за неширокой полосой чистого сосняка тянулись гладкие желтые пляжи и стекленело светло-лиловое спокойное море. Представил, как он будет жить наверху, в солнечной комнате, стены которой облицованы мелкослойной дощечкой медового цвета; нагревшись от солнца, стены пахнут хвойными смолами, морской солью. Вспомнил Григорий жену Вайно, домовитую, приветливую Ине, двух веселых воспитанных девочек, таких же беловолосых и крупных, как мать. Григория всегда радушно встречали в этой семье, но сейчас эти воспоминания лишь усиливали чувство одиночества.

«Прав Жорес, я — как бродячий пес. Когда уже за тридцать, это начинаешь чувствовать», — с грустью подумал Григорий и положил карандаш, поняв, что

работы сегодня не выйдет. Ватман, чистый и гладкий, матово светился, и в этом тоже было одиночество.

Может быть, он всю жизнь был одинок, только не понимал этого. До двадцати трех лет у него не было близких людей — лишь приятели и автомобили. Ему не с чем было сравнивать свою жизнь, потому что он не знал другой и не тяготился ничем. Он шутил с товарищами по гаражу, подмигивая молодым диспетчершам, работал охотно и добросовестно, возился по вечерам со своим гоночным автомобилем, — все его интересы и помыслы были направлены вовне, и, наверное, он казался открытым парнем, потому что ему нечего было таить. Не было еще в его душе ничего сокровенного: он, Григорий Яковлев, слесарь конторы строймеханизации, жил интересами текущего дня. И не потому, что день этот непреодолимо захватывал, — просто другого ничего не было, воображение не могло представить иного интереса, хотя жил Григорий нескучно и многотрудно. Но было в той жизни молодого слесаря, как теперь казалось Яковлеву, что-то от сна. И вот в эту беспробудность душевного сна вошел Игорь Владимирович Владимиров, вошел мягко, тактично, преодолевая сопротивление, осторожно наталкивая на маленькие прозрения. Только теперь, через десять лет, Григорий Яковлев вполне осознал, чем он обязан Игорю Владимировичу. Только теперь он понял отчетливо, какое — и намеренное и невольное — влияние оказал на него Владимиров. И Алла... Нет, не Алла сама по себе, отчасти она была инструментом, которым Игорь Владимирович действовал на него, создавая из духовно мелковатого слесаря Гриши нынешнего Григория Ивановича Яковлева — инженера-конструктора, одинокого, недовольного собой зрелого человека. И странно, Григорий не чувствовал благодарности к Игорю Владимировичу, даже тогда, в молодо-

сти. Была привязанность или что-то другое, но не благодарность... Почему? Может быть, потому, что у него не спрашивали, хочет ли он, Григорий, быть таким, каким стал теперь. А может быть, потому, что не все, не до конца отдал Игорь Владимирович Владимиров ему, вернее, тому Грише Яковлеву, которым он был десять лет назад?.. Алла... Может быть, в этом и есть причина? Причина того, что не чувствовал он благодарности. Причина нынешнего одиночества...

Она всегда была чужой: сначала — девушкой из другого мира, потом женщиной — женой его учителя. И чем больше он знал ее, тем более чужой она казалась и тем более желанной. Он, Григорий, всегда чувствовал, что их что-то разделяет: даже в тот единственный влажный и теплый июльский вечер, когда нес ее на руках по Приморскому парку Победы, это чувство чуждости не исчезло, оно лишь притупилось ненадолго, только на миг. Почему он постоянно ощущал это отчуждение и одновременно — и тягу к ней, и нежность? Ведь, бывало, тогда, в молодости, после нескольких случайных встреч с нею в институте, он вечером чувствовал себя обессиленным до изнеможения, казалось — когда-нибудь он не выдержит, и все его затаенные муки вырвутся какой-то жуткой унизительной мольбой, после которой уже невозможно станет жить на свете, — так любил он ее. Но назавтра при встрече чувство отчужденности снова пересиливало нежность, и слесарь Гриша Яковлев становился угрюмовато замкнутым и настороженным с красивой и непонятной девушкой из другого мира — Аллочкой Синцовой. Наверное, эта отчужденность помогла ему тогда в мастерской, на третий день после вечера в парке. Ему удалось остаться насмешливым и спокойным, хотя он боялся, что просто умрет от горечи... Возле верстака стоял короткий деревянный диванчик, похожий на трамвайное сиденье. Алла села на этот диванчик,

а он прислонился спиной к пожарному щиту, молча смотрел на нее и комкал в руках кусок промасленной ветоши. Какими нестерпимо яркими и синими были ее глаза... Нет, Григорий почти не помнил того разговора, осталась только горечь. Но он помнил тот осенний сырой вечер, когда она пришла к нему, вымокшая, дрожащая, и билась в слезах на тахте, стараясь сказать что-то срывающимся, всхлипывающим голосом. Он понимал, что теряет ее, но и тогда что-то помогло ему остаться сдержанным и сухим... Он помнил ее заплаканное покрасневшее лицо... Узкие холодные ступни, которые согревал в своих ладонях... Ах, какая она была...

И тут Григорий Яковлев поймал себя на том, что думает об Алле Синцовой в прошедшем времени — «была». Он удивленно обвел взглядом свою комнату, закурил и перебрался на тахту.

«Почему „была"?» — грустно спросил он себя. И только сейчас, сию минуту, вдруг испуганно понял, что Алла изменилась за эти годы. Нет уже той Аллочки Синцовой, девушки из другого мира, к которой он испытывал нежность и отчужденность. Нет и больше не будет. Есть Алла Кирилловна Синцова, тридцатидвухлетняя, сохранившая привлекательность женщина, заведующая лабораторией, давняя и близкая знакомая, жена его учителя.

Григорий полулежал на тахте, глядя в сумрак комнаты, освещенной лишь настольной лампой, и холодел от только что изведанного чувства потери. С горьким удивлением понимал он, что не замечал хода времени; время не касалось Аллочки Синцовой, до сегодняшнего дня она была все той же девушкой, с которой он целовался в Приморском парке Победы. И только сейчас она изменилась. Ее место заняла женщина, которая сегодня сказала: «Ты прости меня» — и сухими глазами пристально и холодно посмотрела на него. А может,

он знал это и раньше, может, уже не раз до этого видел женщину с холодными глазами и только, боясь сердечной пустоты, тешил себя обманом?.. Нет, он, Григорий, не обманывал себя, он любил ту девушку всегда... Не надо было ему приходить в этот институт. Ведь, работая на заводе, он уже свыкся с отторженностью от нее, и редкие встречи, когда он приходил к ней и к Игорю Владимировичу, уже не травили душу болью. И чувство к Алле становилось каким-то все более прозрачным и спокойным, лишенным горечи и горячности, как возвышенная и безответная любовь, о которой писали в старых романах. Так зачем же, зачем он пошел работать сюда? Разве не знал, что будет видеться с ней каждый день, и все начнется снова, — и боль, и нежность, и отчужденность? Зачем же он согласился на это? Ведь он же не хотел, отказался в первый раз. Это Игорь Владимирович настоял и уговорил. Всегда Игорь Владимирович. Как удобно иметь в жизни человека, на которого можно указать пальцем: это он, он виноват во всем. Игорь Владимирович сделал Григория Яковлева таким, каким он не хотел быть. Игорь Владимирович отнял у него Аллу. Игорь Владимирович заставил его заниматься этой выматывающей, как болезнь, работой, заставил делать этот автомобиль, который не смог создать сам. Все — Игорь Владимирович.

Григорий полулежал на тахте и чувствовал, как загораются жаром скулы и перехватывает дыхание от жалости к самому себе. Но он почти не умел врать и тут же подумал: «А что тебе мешало стать другим, таким, каким ты хотел быть?» И казалось — не впервые задавал он себе этот вопрос, только раньше увиливал от прямого ответа.

Да, он, Григорий Яковлев, отказался в первый раз, когда Игорь Владимирович предложил ему перейти на работу в институт. Теперь он понимал, что тот отказ

не был искренним. Григорий хотел, чтобы Игорь Владимирович уговорил его, и во второй раз дал уговорить себя. Значит, в этом Игорь Владимирович не был виноват...

Алла... А почему он отпустил ее в ту ночь, отвез домой? Что же мешало Григорию тогда запереть дверь и сказать: «Оставайся»? Боялся, что скажет «нет»? Наверное, боялся. Потому что сказанное Аллочкой «нет» обрывало бы все. Оно значило бы, что он просто не нужен, отвергнут. И он невольно защищался напускным спокойствием. И то, что, всхлипывая, говорила Аллочка тогда, когда он грел ее застывшие ступни в своих ладонях, возводило на Григория напрасную вину. Возможно, он и чувствовал фальшь, но принял эту вину на себя. Ему самому легче было думать так, чем услышать «нет».

Григорий лежал на тахте с невнятными мыслями, испытывая горечь от них и презирая себя за эту горечь и за эти мысли, как за душевную слабость. И с холодным ожесточением он задал себе вопрос, который невысказанно был в нем всегда и которого боялся: «А почему она не осталась сама?» Он даже усмехнулся злорадно в сумрак комнаты, будто вопрос этот был обращен к кому-то другому, кого он судил с неприязнью и мстительностью. Он всегда понимал, что после этого вопроса не останется ничего, и поэтому гнал его, старался забыть, но теперь уже нельзя было уйти от него. Он не умел врать себе больше, чем другим, и ответ был только один: «Она не осталась потому, что не хотела — *не хотела никогда*».

Яковлев сжал губы и рывком встал на ноги. Он почти физически ощущал, какая внутри пустота, словно впервые поднялся после злой и долгой болезни, но в этом было и облегчение. Он закурил и стал стелить постель.

6

После мягкой сухой осени вдруг сразу подморозило, и пошел снег. Даже по тому, как он робко падал, и поспешно белил улицы и крыши, и пытался повиснуть на проводах, было ясно, что снег этот не ляжет на всю зиму. Но у Игоря Владимировича с утра появилось какое-то особенное настроение: совсем по-мальчишески казалось, что сегодня произойдет что-то радостное и необыкновенное. Он вышел утром во двор, чтобы завести и прогреть «Москвич», прежде чем спустится Алла, вдохнул холодный, пахнущий свежестью и леденцами воздух, нагнулся, свалял крутой снежок и, стыдясь самого себя и виновато усмехаясь, залепил им в ворота гаража. Железная коробка ответила глухим, но веселым гулом. Игорь Владимирович вообще любил зиму больше, чем весну или осень: всегда с наступлением холодов приходила бодрость, прилив сил. И сегодняшним утром на заснеженном дворе он почувствовал безотчетную радость. Дорога до института казалась неутомительной и даже приятной. Жена дремала на сиденье рядом. Алла в последнее время плохо спала и тяжело подымалась по утрам, у нее уже почти вошло в привычку дремать по дороге на работу.

Игорю Владимировичу сегодня все виделось приятным: и осветленные снегом тротуары, и талая вода на мостовых, и молчание в теплой машине. Времени было с запасом, и Игорь Владимирович ехал неторопливо, думал о делах, о предстоящей поездке в Москву. План института сложился хорошо — все темы должны были пройти в министерстве без возражений, все, за исключением одной, которая значилась под не очень благозвучным названием «Проектирование перспективного микроавтомобиля массового индивидуального пользования». Одно появление этой строки в тематическом плане института стоило Игорю Владимировичу боль-

ших усилий. Все-таки ему удалось убедить на совете скептически настроенных конструкторов в том, что эта работа нужна и выгодна, так как естественно вытекает из проектирования детского автомобильчика, от которого институту отказываться неудобно — просьбу городского отдела народного образования и Дворца пионеров поддерживают и областной комитет партии, и горисполком. На том совете Игорю Владимировичу пришлось говорить, взвешивая каждое слово. Каких только доводов он не приводил: и приток дополнительных средств на чисто исследовательские работы, и лишняя проектная единица, и необходимость модернизации одной из существовавших тогда моделей, и возможность испробовать свои силы и набраться опыта для молодых конструкторов. Не сказал Игорь Владимирович только одного: что проект уже существует в почти законченном виде. Совет принял предложение директора, тема была записана в план. Теперь оставалось самое трудное и главное — утвердить проект в министерстве, получить средства. Игорь Владимирович надеялся на удачу, а нынешний первый снег как-то поддерживал в нем эту не очень обоснованную надежду и сообщал бодрое настроение.

Свернув с шоссе на подъездную дорогу к институту, он сказал жене, прикорнувшей на сиденье:

— Аллочка, просыпайся. Приехали.

Она медленно подняла голову, нехотя раскрыла глаза.

— Знаешь, — дремотным голосом протянула она сквозь зевоту, — мне снились собаки, одна большая белая, другая черненькая маленькая. — Алла достала из сумочки пудреницу, глядясь в зеркальце, провела пуховкой по скулам. Изящным, любимым Игорем Владимировичем движением поправила платочек на голове.

— Собаки, говорят, к хорошему, друзья, что ли, — улыбаясь, ответил Игорь Владимирович. Сам он ни-

когда снов не помнил, и его забавляло, что жена так подробно, в деталях рассказывала сны.

— Они были голодные, а мне нечего было дать, — продолжала она, защелкивая пудреницу. — И они так смотрели, такими глазами, что я прогнала их, затопала ногами и прогнала: смотреть невозможно было им в глаза.

— Будешь ложиться спать, не забудь положить под подушку сахарную косточку, — усмехнулся Игорь Владимирович.

— Нет, правда, ты представить себе не можешь, какое ощущение, будто все наяву, и эти глаза. — Алла посмотрела на него с серьезным лицом. — Может, возьмем собаку? А то скучно стало в доме.

— А ты представляешь, сколько это забот, особенно пока щенок? — спросил Игорь Владимирович, огибая строй автомобилей, чтобы встать на свое обычное место, крайним справа возле самой стены бокового крыла инженерного корпуса. — Будешь вставать в шесть утра? Варить ему похлебку? И вообще... это же — как ребенок. — Он остановил машину, заглушил двигатель, посмотрел на жену и встретил ее серьезный, полный печали взгляд.

— Тебе что, человечек, нездоровится? — спросил Игорь Владимирович озабоченно.

— Давай возьмем. Будет встречать в квартире после работы, — сказала она, будто не слыша вопроса.

— Ну хорошо, если тебе хочется. Я ведь не возражаю, даже утреннюю прогулку беру на себя, все равно машину заводить, — с готовностью согласился Игорь Владимирович. Он чувствовал, что сейчас не стоит возражать жене, и надеялся, что она еще позабудет о своем внезапном желании.

Алла вышла из машины и направилась к проходной. Игорь Владимирович защелкнул правую дверцу, вышел и замкнул машину.

Небольшая площадка перед фасадом института была пегой от еще не стаявших кое-где снежных пятен, а маленькие елки под стеной были толсто укутаны в белое, особенно кончики лап, будто одеты в белые пушистые варежки, и серый фасад от этой белизны выглядел еще серее.

Жена уже скрылась в проходной. Игорь Владимирович немного еще постоял, вдыхая прохладный, пахнущий свежестью воздух, и тоже пошел к дверям, на ходу отгоняя от себя мысли о странном капризе Аллы, о первом нестойком снеге и бодрящем воздухе. Начиналась работа.

В коридорах он не встретил никого. Они с женой всегда приезжали одними из первых, но Ксения Ивановна была уже на месте, сидела за своей конторкой с телефонами. Пишущая машинка на низком столике была уже без чехла и с закладкой бумаги. Игорь Владимирович не помнил случая, чтобы пожилая секретарша пришла позже его. Он поздоровался, с удовольствием отметил про себя ее строгий, изящный синий костюм и белую блузку с маленьким жабо и, входя в кабинет, подумал: «Почему не замужем? Ведь очень милая женщина. У нее, возможно, и родственников никаких нет. Столько лет работаем, ни разу не поинтересовался».

Игорь Владимирович потянул за шнур, занавеси разъехались в стороны, и тусклый осенний свет наполнил кабинет. Он сел к столу, достал из ящика корректуру книги, только вчера присланную издательством, надеясь в утренний час затишья проверить хоть одну главу, но внезапно забормотал селектор.

— Слушаю, — со вздохом сожаления ответил Игорь Владимирович, нажав кнопку.

— В проходной корреспондент, просится к вам. — От волнения и без того тонкий голос Ксении Ивановны перешел в писк.

— Какой корреспондент?— сдерживая раздражение, спросил Игорь Владимирович.

— Не знаю,— растерянно пропищало в динамике.— Сейчас справлюсь.

— Да ладно, неудобно уже, раз сначала не спросили. Пусть проводят, — сказал Игорь Владимирович.

Он оглядел стол — нет ли каких-нибудь бумаг, которые не следует видеть постороннему, — с неудовольствием подумал: «Дотошный какой-нибудь, начнет задавать дурацкие вопросы. Пошлю по лабораториям, пусть на приборы глазеет, это всегда впечатляет».

В первые годы работы института корреспонденты наведывались часто, их заметки, появлявшиеся в газетах, повторяли одни и те же цифры: протяженность дорог испытательного полигона, число исследовательских лабораторий, число докторов и кандидатов наук, а дальше шли общие слова о запланированном резком подъеме производства автомобилей и о той роли, какую сыграет новый институт в решении этой задачи. Потом, когда институт уже неудобно было называть новым, корреспонденты пропали.

«Этот, наверное, заплутался где-то и только теперь разыскал вывеску», — усмешливо подумал Игорь Владимирович.

Дверь открылась, вошла Ксения Ивановна с несколько растерянным выражением на лице, а за ней — худощавая, коротко стриженная «под мальчишку» девица лет двадцати трех, в красной нейлоновой куртке, с большой коричневой сумкой на ремне через плечо.

— Вот, — в замешательстве сказала Ксения Ивановна, беспомощно глядя на своего директора.

Девица не дала ей досказать, шагнула вперед, выставляя напоказ длинные стройные ноги, от которых, обманывая самого себя равнодушием, Игорь Владимирович отвел глаза, но, поглядывая на осеннее небо, все

еще видел на фоне дымчатых облаков золотисто-шафранное свечение коленей и тонкие лодыжки.

— Котова Софья Николаевна, — представилась девица, протянув удостоверение. — У нас запланирована серия очерков об ученых и инженерах.

— Садитесь, пожалуйста, — даже не взглянув на ее удостоверение, сказал Игорь Владимирович и кивнул Ксении Ивановне успокаивающе.

Секретарша вышла.

— Так. — Игорь Владимирович сел, отодвинул в сторону корректуру и положил ладони на стол. — Не совсем понимаю, чем наш институт может быть интересен вашим читателям. У нас, в основном, работы узкоспециальные и частные. Работаем на автозаводы, а они выпускают конечную продукцию — автомобили, о них и надо писать, наверное. — Он внимательно пригляделся к девушке, заметил искусно обесцвеченные под седину волосы, высокую шею, придававшую голове гордую осанку, заметил и какую-то неуверенность в живых темных глазах. «Неопытна, волнуется», — подумал он и отвел взгляд.

— Вы меня не совсем поняли: институт интересует меня постольку, поскольку с ним связана ваша работа. Я ведь собираюсь писать очерк о вас, — мягко, но уверенно сказала девушка, скользнула по лицу Игоря Владимировича взглядом и улыбнулась сдержанно лукавой и ободряющей улыбкой.

У Владимирова сразу исчезли предположения о ее неопытности и волнении. Он даже смутился слегка, чего с ним почти никогда не случалось в женском обществе. «Старею», — подумал он и, как ни странно, испытал при этом озорное веселое чувство. Не отводя откровенно оценивающего взгляда от молодого девичьего лица, спросил:

— Что же вы будете писать обо мне, Софья Николаевна?

— То, что вы расскажете, Игорь Владимирович, — последовал быстрый ответ.

— Ну, знаете, я ничего такого вам рассказать не могу интересного. Пришли бы вы лет эдак двадцать назад, когда я занимался непосредственно конструированием и был, вероятно, ненамного старше вас, тогда бы я вам наговорил с три короба. А сейчас... — Игорь Владимирович улыбнулся, поймав себя на легком кокетстве, но все-таки закончил: — Сейчас я — дедушка автомобилестроения.

— А вы бы не могли хоть на время стать ненамного старше меня?

Игоря Владимировича даже в жар бросило от этого насмешливого вопроса. «Ого, она игрок похлеще тебя», — подумал он с внезапным раздражением и ответил осторожнее:

— Смотря для чего.

— Ну, расскажите, пожалуйста, о вашей довоенной разработке микроавтомобиля. Ведь для того времени это была очень совершенная конструкция, и если бы не помешала война... — Она легко нагнулась и из сумки, стоявшей на полу возле кресла, достала небольшой диктофон. — Если бы не помешала война, то, наверное, автомобиль пустили бы в серию. У вас курить здесь можно?

— Пожалуйста. — Игорь Владимирович, привстав, пододвинул ей пепельницу и подумал: «Черт возьми, эта Соня, кажется, подготовилась!» И тут же пришло подозрение. Игорь Владимирович был уже почти уверен в том, что за этой журналисткой стоит кто-то другой, знающий. Молодой девушке ни за что бы не докопаться до той довоенной работы Владимирова, да и в институте никто не знает о ней, никто, кроме Гриши Яковлева. Значит, Григорий? Но Игорь Владимирович сразу же отбросил эту мысль. Нет, Яковлев не тот человек, чтобы подсылать к нему хорошеньких журнали-

сток. И смысла в этом нет. Тогда — кто? И зачем? Он рассеянно оглядел кабинет, посмотрел на очищающееся, но все еще серое небо и сказал небрежно:

— Да, знаете, не было никакой разработки, а уж тем более конструкции, — и улыбнулся насмешливо.

Она закурила длинную сигарету, не спеша, со вкусом затянулась, сложив сердечком красивые полные губы. Снова нагнулась к сумке и достала микрофон, похожий на маленькую автомобильную фару. Во всех ее неспешных и точных движениях была какая-то роскошность уверенной, знающей свое обаяние женщины.

— Но об этой машине писали тогда в прессе, называли новым словом в технике. — Журналистка соединила шнур микрофона с диктофоном и вопросительно взглянула на Игоря Владимировича.

Он ощутил скованность от сетчатого глазка микрофона, направленного прямо в лицо, оттого, что не он владел инициативой в этой беседе. Это было неприятно, но опыт ученых советов, на которых ему, профессору Владимирову, приходилось выступать, опыт лектора и руководителя крупного института все-таки выручил.

— В те годы о многом писали восторженно и оптимистично, такие уж были романтические времена. Теперь пора более жестких технических и научных оценок, — с насмешливой грустью сказал он. — Так вот, не было законченной конструкции, единственное, чего добилась наша группа (я ведь не один работал), это — метод перспективного конструирования. Он применялся всегда в конструировании техники стихийно, но нам удалось сформулировать, что ли, его в законченном виде применительно к автостроению. Этим методом пользуются и сейчас, то есть прогнозируют развитие конструкции автомобиля того или иного назначения и результатами прогноза руководствуются при конструировании. Я достаточно понятно выражаюсь?

— В общем, да, — ответила девушка. — Но неужели вы с тех пор не занимались конструированием?

Игорь Владимирович уловил любопытство в блеске ее глаз и подумал: «Угу, значит, не та, довоенная, работа ее интересует. Но тогда что?»

— Нет, конечно, я занимался конструированием. Опытные модели, несколько гоночных автомобилей, но в них решались чисто исследовательские задачи, которыми воспользовались при создании серийных моделей. А какой-нибудь марки конкретного автомобиля, сделанного мной, так сказать, лично, я назвать не могу. Вот так. — Он слегка развел ладони над столом и подумал с усмешкой: «Так и будешь у меня, милая девушка, ездить по кругу, пока не пойму, чего же тебе надо». Потом добавил:

— И знаете, процесс конструирования современного автомобиля настолько сложен, в нем принимает участие так много специалистов разного профиля, что выделить одного человека как создателя данной модели просто невозможно, да и несправедливо, наверное. Можно назвать главного конструктора, художника-конструктора, но все-таки они — лишь участники создания автомобиля, наряду со многими другими. А еще есть и люди, теоретические, исследовательские работы которых использованы в конкретной разработке. — Он усмехнулся. — Это у вас, журналистов: написал статью или книгу, ты и автор. Такое было только на заре автомобилизма, когда существовал почти первобытный синкретизм: один человек был и изобретателем, и производителем безлошадного экипажа.

— Ну хорошо, оставим этот вопрос, раз он так сложен и недоступен для женских мозгов. — На миг ее смуглое лицо выразило шутливое оживление, глаза потупились, но за этим сразу же последовала щедрая, сверкающая и какая-то провокационная улыбка, от которой Игорь Владимирович на миг почувствовал лег-

кое молодое и тревожное волнение. — Расскажите мне подоступнее, какую автомашину вы считаете лучшей из существующих?

Игоря Владимировича чуть покоробило, что девушка назвала автомобиль автомашиной, словом, нелюбимым профессионалами. Он вздохнул с притворным утомлением.

— Вы задаете вопросы, на которые не существует прямых ответов.

Она рассмеялась весело:

— Намекаете, что и целой академии не ответить на вопросы одного невежды?

— Ну нет, что вы, — улыбнулся Игорь Владимирович. — Просто не существует самого лучшего автомобиля. — Он не удержался и слово «автомобиль» произнес все-таки с заметным нажимом. — Самый лучший — тот, который наиболее точно соответствует своему назначению. Карьерный самосвал — неважное средство для перевозки элегантных женщин; в молочной цистерне невозможно транспортировать лесоматериалы; грузовик не заменяет автобус. Все зависит от предназначения автомобиля.

— Ладно. — Лицо ее стало серьезным, внимательным. — Тогда скажите, какой легковой автомобиль вы хотели бы иметь? Ну, вот просто как потребитель.

Игорь Владимирович улыбнулся, довольный.

— Вот видите, мы и пришли с вами к тому, к чему приходят рано или поздно все создатели легковых автомобилей. — Он помолчал, раздумывая. — Дело-то в том, что при современном уровне технологии создание легкового автомобиля для массового потребителя из задачи технической превращается в задачу социологическую, если хотите, даже социальную.

Игорь Владимирович все больше увлекался, да и приятно было поговорить со знанием дела для такой слушательницы.

— Допустим, мы с вами решили построить массовый автомобиль. Массовый — это прежде всего дешевый. Следовательно, одно условие уже задано. Теперь, чтобы задать технические качества, нам нужно знать потребности человека, которому предназначен этот автомобиль. Значит, из массы нужно выделить «самого массового», самого среднего человека. Руководствоваться здесь нашими с вами субъективными вкусами нельзя. Я — профессиональный автомобилист и немолодой человек, у которого потребность в мобильности снижена; вы — молодая деловая женщина, у вас мобильность может быть выше среднего уровня. Вывод, что нужно ориентироваться на человека немного старше вас, но значительно моложе меня, семейного, но не многосемейного, со средним достатком. Он будет ездить в автомобиле на работу, выезжать с любимой женой и ребенком за город по выходным, в летний отпуск может предпринять и более дальнее путешествие. Если он врач или механик по ремонту, скажем, домашних холодильников, то может использовать свой автомобиль и для работы. Вот, грубо говоря, условный социологический портрет нашего потребителя. У нас уже есть два условия: доступная цена и достаточная функциональная универсальность будущего автомобиля. Тут нет вопросов?

Игорь Владимирович взглянул на девушку пристальнее. Лицо ее выражало растерянность и было очень милым.

— Да, но... — неуверенно протянула она, подыскивая слова, — если машина будет общедоступной, что же тогда будет на улицах?

— Вот мы и подошли к одному из самых серьезных вопросов, — обрадовался Игорь Владимирович. — Что же будет на улицах и дорогах? Средний нынешний автомобиль в движении занимает двадцать квадратных метров площади. Отсюда — первое требова-

ние — уменьшить его хотя бы наполовину, не потеряв вместительности. Теперь проблема — топливо. Бензина может просто не хватить, если автомобили будут так же прожорливы, как сейчас. Чем больше автомобиль потребляет топлива, тем больше выбрасывает в воздух вредных продуктов сгорания, значит, наш с вами автомобиль должен расходовать и горючего хотя бы в два раза меньше — тоже задача. К этому прибавляется проблема простоты обслуживания. Ведь если у всех будут автомобили, то добрая половина населения будет работать только на них, а кто же будет растить хлеб, плавить металл, учить детей? Значит, автомобиль должен быть настолько простым и надежным, чтобы почти каждый владелец мог обслужить его сам и чтобы эта машина не ломалась практически до полного износа. К этому добавьте еще простоту, легкость и безопасность управления — ведь за руль сядут миллионы непрофессиональных водителей. — Игорь Владимирович печально посмотрел на девушку.— Вот видите, сколько всяких «но»? И это только малая часть.

— Да-а! — подавленно выдохнула она. — Значит, идеальный автомобиль невозможен?

— Ну почему же? Я этого не говорил. Такой автомобиль непременно будет создан, и в самое ближайшее время, но не идеальный, а массовый. Технические возможности общества, нашего общества, позволяют решить все проблемы создания такого автомобиля. — Игорь Владимирович сказал это с искренней убежденностью.

— В вашем институте что-нибудь делается для этого? — спросила девушка.

— Конечно, — сразу же ответил Игорь Владимирович и подумал с радостным ощущением, что наконец докопался до истины: «Так вот что тебя интересует! Так неужели все-таки Гриша? Нет, скорее, кто-то другой, кто хочет похоронить. Результаты совета?»

— Так расскажите, пожалуйста, об этом.

— Это невозможно.

— Секрет?

— Вовсе нет. Просто пришлось бы рассказывать о всех исследованиях. Любой институт, любое предприятие, имеющее отношение к автомобилестроению, работает для этого,— ответил Игорь Владимирович, напряжением лицевых мускулов гася торжествующую и насмешливую улыбку.

— Ну хоть о чем-нибудь расскажите,— голос ее был умоляющим.

— Не могу, не в состоянии.

— Ну почему?

— Подумайте, можно ли на стадии, скажем, обезьян рассказать, как работает природа над созданием человека? Нельзя. Этот процесс можно осмыслить лишь ретроспективно, когда человек уже появился и начал развиваться. Так вот, процесс создания автомобиля тоже как эволюция, он нерасчленим. И только после того, как появится массовый автомобиль, можно будет с той или иной степенью достоверности судить, какое исследование было предпоследней ступенькой, какой из предыдущих автомобилей был отцом новой, последней модели, если вообще бывает последняя.— Игорь Владимирович помолчал и добавил уже задумчиво и, пожалуй, больше для себя, чем для девушки:— Хотя, конечно, будет и последний автомобиль.

— Как это?

— Очень просто. Когда-нибудь люди откажутся от такого транспорта, как от технического варварства.

— И это говорите вы?!

— А почему бы нет? Даже сейчас непредубежденному человеку ясно, что легковой автомобиль принципиально несовершенен: весит в два-три раза больше перевозимых пассажиров — при полной, соответственно, нагрузке; отравляет воздух, необратимо использует

ценнейшие природные материалы, опасен для жизни и даже для интеллекта людей. Если верить психологам, человек за рулем при интенсивном движении становится агрессивным, снижаются его альтруистические наклонности, притупляются умственные способности — это только во время движения. Но, кто знает, через годы не станут ли эти изменения более глубокими и постоянными.

— Ой, вы какие-то пугающие вещи говорите. — Она округлила глаза.

— Лучше знать их сейчас, чем позже, когда они уже станут реальной угрозой, — тихо ответил Игорь Владимирович.

— Так на чем же люди будут ездить по земле?

— Откуда я знаю. Может быть, вовсе не будут ездить. — Он улыбнулся озорно. — Просто человек будет распадаться на атомы или частицы и через миг снова собираться из них в желаемом месте, как у фантастов, Ведь элементарные частицы могут двигаться со скоростью света — вот и решение проблемы.

— Ну нет, — она передернула плечами. — Это как-то совсем неприятно.

— Что поделаешь. — Игорь Владимирович уже потерял интерес к беседе: обвести эту корреспондентку вокруг пальца не составляло труда, не такого человека надо было подсылать к нему, чтобы выведать хоть что-нибудь. Да и не подсылал ее никто, скорее всего.

— Ну тогда расскажите, как вы начали заниматься конструированием, пожалуйста. — Она кокетливо и просительно подалась вперед.

— Все это — самым прозаическим образом. И неинтересно, да и не вспомнить теперь за давностью. — Игорь Владимирович вдруг смолк, изумленный еще неясной, но уже обозначившейся мыслью: «А что если?.. Только бы получилась у нее статейка интригу-

ющая. А будет хоть малый шумок, использую в министерстве...»

Игорь Владимирович жестко, оценивающе взглянул на девушку, словно по внешности пытаясь понять, что она за журналистка, потом чарующе улыбнулся.

— Вы знаете, Софья Николаевна, — медленно сказал он и подумал еще: «Вот это будет фокус для тех, кто ее прислал, если кто-то прислал... Иногда жертва ферзя ведет к выигрышу партии», — пожалуй, я могу рекомендовать вам интересного человека, молодого, способного конструктора, который занимается проблемами массового автомобиля. Если вы сумеете его разговорить, то он сможет рассказать много интересного. Но услуга за услугу: я вас к нему не посылал, и вообще вы у меня не были. Понятно? — Он сразу заметил, что девушка насторожилась. «Не так уж она глупа и опрометчива», — с удовлетворением отметил он и сказал успокаивающе: — Дело в том, что этот парень не ладит со мной, считает меня рутинером, что, вероятно, недалеко от истины. И вот если он узнает, что вас к нему направил я, он вам ничего не расскажет.

— Да, но мне не совсем ясно, для чего это делаете вы, раз он с вами не ладит. — Ее взгляд был внимательным и даже напряженным.

— Видите ли, — вздохнул Игорь Владимирович, — эта работа — его хобби, как теперь говорят. Но он действительно сделал много, насколько я знаю. Уже пора бы перейти к непосредственному конструированию, может быть, даже — к постройке опытного образца...

— Так за чем же дело стало? — оживилась девушка.

— Это не внутриинститутский вопрос, к сожалению. Опытный образец — штука дорогая, и, чтобы получить деньги на его постройку, нужно решение на правительственном уровне. — Интонацией Игорь Владимирович

старался сделать свои слова понятнее (а может быть, правдивее?).

— Так отчего же вы не добиваетесь этого решения, если работа стóящая? — Она все еще смотрела на него недоверчиво.

— Добиваемся и добьемся. Тема уже записана в плане разработок института, будем просить санкции министерства. Это все своим чередом и, конечно, не так быстро, как хотелось бы. Но сейчас этого парня хорошо бы поддержать. А если о его работе появится ваша статья, то это поможет ему психологически и нам поможет добиться средств. — Игорь Владимирович снова чарующе улыбнулся, спросил будто по-свойски: — Вопросов нет? — и поднялся с кресла.

— Ну я, конечно, поговорю с...

— Григорий Иванович Яковлев.

— С Яковлевым, но буду ли писать о нем...

— Ну, разумеется, разумеется, — торопливо ответил Игорь Владимирович и, нажав кнопку селектора, сказал:

— Ксения Ивановна, будьте любезны, объясните Софье Николаевне, как пройти в группу пионерского автомобиля. — Он повернулся к девушке и попросил, снизив голос до шутливо-заговорщицкого шепота: — Вы уж там сами представьтесь и не объясняйте, кто вас послал. Скажите, что слышали о нем как о спортсмене-автогонщике и случайно узнали, что он теперь занимается конструированием.

— Хорошо, — приняв его тон, ответила девушка.

Игорь Владимирович проводил ее до дверей кабинета. Ноги у нее действительно были красивые.

От двери он пошел обратно к столу, но задержался у стеклянной стены и стал смотреть во двор. Большой белый квадрат двора был уже прострочен прямыми стежками следов по диагоналям. Вдоль одной стороны квадрата, в нескольких метрах от стены лабораторного

корпуса, тянулась широкая полоса сухого светлого асфальта — там в земле проходила тепловая магистраль. Двор был пуст, только в углу у стены стояли большие добротные ящики, крашенные шаровой краской, — часть еще не смонтированного оборудования вибростенда. И небо над двором нависло дымчатым низким квадратом, словно оштукатуренное «под шубу». Игорь Владимирович думал о своем странном поступке. Зачем он послал эту корреспондентку к Григорию? Он и сам отлично понимал: статья в журнале (даже если она появится) — слабый довод для членов министерской коллегии. Да и вообще эти короткие быстрые мысли, толкнувшие его послать корреспондентку к Григорию Яковлеву, были лишь первоначальным импульсом, а глубже было другое, то, что Игорь Владимирович уже чувствовал, но еще не понимал. Так что же это такое? Что же?

Рассеянно смотрел он на пустой, простроченный прямыми стежками следов квадрат институтского двора. И вдруг подумал о том, что не лукавил перед этой красивой девушкой, когда сказал, что ничего не может рассказать о себе. Наверное, лет десять назад, когда преподавал в Политехническом, у него нашлось бы что сказать о себе и о перспективах автостроения. В те времена жизнь казалась наполненной смыслом и значительной, а теперь не то чтобы все это ушло, кануло, но изменилась оценка — Игорь Владимирович давно перестал нравиться самому себе. «И Алла сейчас не вышла бы за меня», — равнодушно подумал он. И пришло горьковатое, нудящее ощущение вины. Что он дал той девушке-студентке? Была ли она счастлива с ним? Суховатая, начинающая стареть женщина. Ни детей, ни увлечений. Уже хочется собачку. Хотя... А Гриша — Гриша Яковлев? Может быть, поэтому они молчаливо согласились жить без детей? Может быть, всегда, почти до сегодняшнего дня он, Игорь Владимирович Влади-

миров, боялся, что Алла уйдет от него? Уйдет к Грише Яковлеву...

Игорь Владимирович вернулся к столу, тяжело опустился в кресло, со вздохом снова придвинул к себе корректуру. Листы желтой, с неровными краями бумаги выглядели неопрятно, оттиск был слишком жирным и читался с трудом. Он повертел в пальцах карандаш и положил его на раскрытые полосы корректуры.

Гриша Яковлев...

Как-то так сложилось, что самый, казалось, важный кусок жизни, когда Игорь Владимирович входил в зрелый возраст, был связан с Яковлевым — сначала застенчивым от неловкости слесарем и автогонщиком, потом замкнутым, начавшим задумываться над жизнью и почувствовавшим свое «я» молодым мужчиной — студентом — инженером. Было что-то отцовское в чувстве Игоря Владимировича к этому угловатому, часто неожиданному в поступках и мыслях человеку. Но не только отцовское. Стараясь передать Григорию свои знания, привить культуру, Игорь Владимирович что-то новое узнавал сам. Не раз испытывал Владимиров ревность, ощущая в неподатливой порывистой жесткости молодого парня не просто упрямство вздорного характера, но цельность сильной натуры, ту цельность, которой, может быть, всю жизнь не хватало ему самому. И, наверное, поэтому Владимиров, почти не сознаваясь в этом себе, повседневно соперничал со своим учеником. И только в последние годы с неприязнью к себе начал догадываться, что соперничество это было не совсем честным. Не волю, не душевную силу употреблял он в этом соперничестве, а лишь изощренность опыта, знаний, приобретенной культуры и тонкости — только нажитый капитал... Разве победил бы он тогда, в тайном споре за Аллу, если бы он и Григорий были равны по жизненному опыту? Никогда бы не победил.

Да и было ли это победой? Да, он любил свою студентку Аллочку Синцову последней, слегка надтреснутой любовью сорокадвухлетнего человека, умевшего изяществом, искушенностью придать новизну и яркость уже несколько коптящему чувству. Но было ли это победой? Игорь Владимирович не знал подробностей и никогда не старался узнать их (все-таки благородство!), но очень точно и пронзительно чувствовал непростые отношения Аллочки и Гриши Яковлева. Казалось, Игорь Владимирович зримо представлял себе чистый узор магнитных силовых линий, которые притягивали и соединяли молодых людей друг с другом. А он, как большой, уже тронутый ржавчиной кусок железа, приблизился, нарушил этот чистый узор магнитных линий, исказил его, внес в отношения этих молодых душ притворство и ложь. Было ли это победой?.. Может быть, победа была бы в другом: чтобы отступиться, отказаться от Аллочки? Да, это была бы победа — победа над самим собой. Но таких побед Игорь Владимирович Владимиров не умел одерживать никогда. И, может быть, именно давняя ревность толкнула его сейчас послать эту смазливую корреспондентку к Григорию, чтобы снова ввергнуть своего ученика в искушение, поставить перед новой дилеммой: благоразумно промолчать, надеясь на постепенное вызревание благоприятных обстоятельств, как советовал Игорь Владимирович; или идти в борьбу, рискованно взвинчивая время, как когда-то поступал гонщик Гриша Яковлев, бросая машину на последнем круге в отчаянный вираж, который, казалось, выполнялся не только и не столько мастерством, сколько силой души. Может быть, именно давняя ревность толкнула Игоря Владимировича послать корреспондентку к Григорию... Впрочем, он, как всегда, ничем не рисковал. Как всегда, выигрывал при любом исходе. Но было ли это победой?!

Профессор Владимиров снова взял в руки приятно скользкий желтый «кохинор» и принялся за корректуру своей книги.

«А все-таки — зима»,— успокаивая себя, подумал он.

7

Зал, где работали конструкторы, в институте называли просто «КБ» (конструкторское бюро) не только для краткости, но и желая подчеркнуть главенство этого институтского подразделения; Яковлеву и Сулину отвели место у самой двери. Они были новичками, да и вообще числились по испытательному отделу. В их угол, выгороженный двумя столами и двумя кульманами, никто не заглядывал, и Григорий поначалу был доволен этим. Он горячо взялся за дело, потому что всегда тосковал по чертежной доске и уже тяготился хоть и не монотонной, но успевшей надоесть за несколько лет работой в испытательном отделе. А кроме того, проект детского автомобиля он считал модификацией своей конструкции. Правда, на эту мысль натолкнул Жорес Синичкин, который по настоянию Григория был назначен художником-конструктором детского автомобиля. Вообще они сблизились за последнее время. Григорию все больше нравился Синичкин, и странной загадкой казалось то, что этот житейски неглупый, одаренный в своем деле человек так беспомощно выступает на советах. Но постепенно Григорий начал понимать, что Жоресу свойственно интуитивно-практическое мышление. Синичкин был больше художником, чем инженером, ему легко удавалось набросать на бумаге эскиз будущей формы, но трудно было объяснить свой замысел. Подобно людям, лишенным музыкального слуха и любящим петь, Жорес, не имея на то данных, обожал теоретизировать. Григорий уже притерпелся к этому и не вдавался в словесные споры

с художником. Он знал, что, утомившись от своих путаных рассуждений, Жорес сядет за стол и найдет то, что не в состоянии сказать словами. И Григорию очень нравились его эскизы. Теперь Жорес потихоньку делал модель в одну пятую, чтобы окончательно выверить линии, не очень четко прорабатывающиеся на чертеже. Григорий с нетерпением ждал окончания этой работы — так хотелось взглянуть хотя бы на модель своего будущего автомобиля. Однако последние дни Жорес на все вопросы отвечал уклончиво, тянул что-то невразумительное и сам еще и еще уточнял у Григория основные параметры детского автомобильчика. Яковлев чувствовал, что художник что-то скрывает, и нервничал, опасаясь неудачи.

Валя Сулин уже закончил свою часть, выдал чертежи конвертированного маломощного двигателя, за основу которого был взят одноцилиндровый мотор серийного мотоцикла, и теперь снова пропадал на обмерных стендах в испытательном — гнал работу, которую хотел обсудить еще до Нового года. Григорию же оставалось самое нудное: пересчет шестерен в коробке скоростей и редукторе, изменение системы отопления и вентиляции в расчете на уменьшенный салон и другие мелкие переделки. И хотя детский автомобиль числился самостоятельным проектом, группе не дали узких специалистов — агрегатчиков, электриков, — так что все приходилось делать самому. Если бы не проект автомобиля, над которым Григорий трудился несколько лет, то сейчас ему пришлось бы работать не покладая рук.

На душе у Григория с утра было скверно, почему-то ранний, неожиданный снег раздражал. Работа не шла — все хотелось спуститься к Жоресу, хотя Григорий и понимал, что этого не следует делать. Сутулясь над столом, он хмуро обсчитывал на линейке передаточные числа шестерен и курил уже, кажется, пятую с утра сигарету. За спиной в большое окно вползал

снежный день, но Григорий не выключал потускневшего желтого огонька под алюминиевым колпаком настольной лампы, лишь слегка золотившего шкалу линейки и его руки. Работалось без охоты, проплывали невнятные, отрывочные посторонние мысли о скуке одиноких осенних вечеров, о том, что все-таки надо купить телевизор. Клубились в КБ шорохи голосов, приглушенные, серые, как утренний туман. Скверно было на душе, и он подумал с тоской: «Хоть бы пришел кто-нибудь...»

— Вы — Григорий Иванович Яковлев? — Из-за края чертежной доски выглядывало смуглое лицо незнакомой девушки.

— Я — Григорий Иванович Яковлев,— хмуро ответил он, бросил счетную линейку на стол и откинулся на спинку жесткого стула.

Девушка обогнула доску и показалась вся — в красной поблескивающей куртке и только что входившей в моду непривычно короткой юбке. «Это чучело еще откуда?» — чуть удивленно подумал он.

— Еле нашла вас, никто не знает, где вы находитесь, — облегченно вздохнув, сказала девушка.

— Я и сам часто не знаю, где нахожусь. — Он взглянул на нее внимательнее и не понял, хороша эта девушка или дурна собой, — не было опыта, чтобы разобраться, где ухищрения косметики, а где настоящее. — Но вам-то я зачем понадобился?

— Может быть, вы позволите мне сесть? — Она сняла ремешок большой сумки с плеча.

— Пожалуйста, — поспешно ответил Григорий, отвернулся в замешательстве, поискал глазами по столу и выключил настольную лампу.

Она подтянула стул Сулина, села, поставив свою сумку на пол. Взгляд ее показался Григорию жестким, проницающим, хотя тугие полные губы улыбались кокетливо.

— А что это вы днем с лампой? — Улыбка стала еще ярче, ямочки на щеках запали, а глаза остались все те же — острые, проницающие и темно-бархатные.

— А... ищу человека.

Ее улыбка злила, потому что казалась вымученной.

— Ну и как?

— Ну и пришли вы. — Григорий взял линейку, надвинул ползунок, считая результат, но уже забыв, зачем это число, втолкнул движок в корпус, снова положил линейку на стол и вопросительно взглянул на девицу: «Какого рожна ей надо?»

— Я из газеты.

— А я уж подумал, что вы агент по страхованию.— Почему-то хотелось обидеть эту девицу, сбить спесь.

— В самом деле похожа? — Тут ее глаза мягко блеснули, теперь это была действительно улыбка. Григорий даже поймал себя на том, что рот у него полуоткрыт, и сжал губы.

— Не знаю. Теперь ведь не поймешь, кто ассенизатор, кто профессор, все похожи друг на друга,— сказал он хмуро, ощущая какой-то неуют в присутствии этой стриженой с искусственными сединками в черной мальчишеской голове. Может, это чувство возникало оттого, что сидела она слишком свободно, закинув ногу на ногу, и совсем близко были ее круглые колени, почему-то все время попадавшиеся на глаза.

— Люди теперь довольно быстро меняют, так сказать, свой статус. Год или два назад рабочий, потом инженер. Ведь вы тоже не сразу стали автоконструктором. — Смуглое ее лицо, цветом своим напоминавшее о южном курортном солнце, стало серьезным, но теперь улыбались глаза — насмешливо, бесовски и беззащитно по-девичьи.

Григорий спросил вдруг охрипшим голосом:

— Как вас зовут?

— Софья Николаевна, — словно недоумевая, ответила она и тут же быстро добавила: — Можно просто — Соня.

Григорий кивнул утвердительно, будто знал ее имя заранее; рассеянная задумчивость наползла на него, и глаза обратились внутрь. Долго смотрел он в упор на девушку и не видел ее, потом заморгал, словно пробудившись.

— Так чем могу быть полезен?

— У вас неприятности? — почти шепотом спросила она и наклонилась вперед так, что глаза, темные, бархатные, беззащитные, стали близко-близко. Пахло от нее холодным, чуть уловимым, мятным чем-то.

— Что это за духи у вас? — удивленно и волнуясь, спросил Григорий.

— Какие духи? — Она не отклонилась, только испуганно дрогнул взгляд.

— Ну эти... мятой пахнут. — Он покраснел, поняв бестактность вопроса.

Она откинулась на спинку стула, повела плечом, принужденно улыбнувшись.

— Нет никаких духов: это лепешки мятные...

— Извините, — потупился Григорий. Он слышал, как шуршит она сигаретной пачкой, чиркает спичку, но не поднимал головы. Оцепенелость и грусть ощущал он, словно внезапный, незнакомый недуг. «Да что же это?.. что?!» — тоскливо пытал он себя, вперясь глазами в серые шашки пластикового пола. Ему не хотелось говорить, но и не хотелось, чтобы эта девушка ушла, — пусть бы сидела так, лишь бы чувствовать ее присутствие, вслушиваться в тихое шелковое шуршание красной куртки, вдыхать дым ароматной сигареты. «Что же это?.. что?!»

— Григорий Иванович, может быть, я не вовремя? — Голос ее был осторожен, как будто разговаривала с больным.

— Да нет... — Григорий поднял глаза, но посмотрел мимо нее в окно.

Дымное, в белесых размывах клубилось небо, над ничем не загороженной далью полигона и где-то у южной черты, за сизым облаком с розовой гривой, проглядывало солнце. Тревога томила и грусть.

— Хотелось поговорить с вами,— тихим голосом больничной сиделки сказала она.

— Пожалуйста, — с подавленным вздохом откликнулся он. — Только о чем?

— Я слышала о вас как о спортсмене-автогонщике, потом узнала, что вы стали конструктором... — Она осеклась под его взглядом.

— От кого вы узнали? — спросил он рассеянно, думая о чем-то другом, неуловимом.

Она глубоко, до ямочек на щеках, затянулась сигаретой, округлив полные губы, и сказала жалобно:

— Я не могу вам лгать почему-то, — и улыбнулась беспомощно и виновато. Только тогда Григорий понял, что она очень молода и красива, и ему вдруг стало легко.

— Не надо врать. Зачем? — Он протянул ей щербатую чашку, служившую пепельницей, и первый раз открыто, не таясь, взглянул на нее.

— Понимаете, я пришла к вашему директору, — смуглые щеки ее покрыл густой, чуть золотистый румянец, она смотрела Григорию прямо в глаза. — А он послал меня к вам, наверное, «подослал», будет точнее.

Она рассказывала о разговоре с Игорем Владимировичем, а Григорий следил за сменой выражения на смуглом с жарким румянцем лице, смотрел на тугие полные губы, в которых было что-то неуловимо негритянское. Его не занимали слова, хотя их смысл доходил до него. Он даже не удивлялся странному поступку Игоря Владимировича, да и вообще все сейчас не имело цены, было неважным. Главным было ее лицо, руки,

высокая шея, взмахи тяжелых ресниц. Грустно щемило что-то внутри, сухо становилось во рту, и шершавыми, грубыми ощущались вдруг запекшиеся губы. Он закурил торопливо, жадно затянулся и все смотрел ей в лицо.

А на краю дымного, в белесых размывах клубящегося неба, из-за сизого облака с розовой гривой все ярче и ярче светило солнце, и юг уже был золотым и лиловым.

— Вы меня слушали? — помолчав, спросила она.

— Да. — Он кивнул, подумал и медленно сказал: — Что ж, директору виднее. Но так или иначе, это не расходится с моими планами. Так что я расскажу вам, что смогу. — Он помолчал. — Только не сегодня, ладно? Я просто не готов сейчас.

Она смотрела серьезно и молча.

— А сегодня давайте сбежим из этой конторы. Может быть, в городе и разговор получится. Давайте! — Григорий говорил с какой-то смелостью отчаянья.

— Это — мысль,— прищурившись, усмехнулась она.

— Согласны?!

Она только прикрыла глаза в ответ.

— Тогда сидите здесь и не двигайтесь. Я — на пять минут. — Григорий вскочил, с грохотом отодвинул стул и бросился к двери. В коридоре он с усилием заставил себя идти шагом.

Огромный двусветный зал, в котором помещался отдел художественного конструирования, был наполнен сизым, как снятое молоко, светом, в котором бумага на столах художников выглядела иссиня-белой, как хорошо выстиранное белье.

Жореса не было. Яковлев спросил у художника, сидевшего за соседним столом.

— В скульптурной, наверное, — ответил тот и кивком указал на дверь в дальнем конце зала.

Григорий пошел вдоль стены, миновал белую лест-

ницу, ведущую на балконы, и открыл обшитую дубовыми планками дверь. Скульптурная мастерская была поменьше зала художников и тоже двусветной, но здесь казалось темнее, может быть, потому, что горели лишь верхние плафоны с трубками дневного света. Пахло сыростью и чуть-чуть — керосином. Лепщики в брезентовых фартуках сгрудились у длинного стола, среди них Григорий увидел низкорослую фигуру и лохматую светлую голову Жореса. Он подошел незамеченным и через чье-то плечо посмотрел на то, вокруг чего собрались лепщики и Жорес.

Сначала Григорий мельком увидел на черной пластиковой столешнице блестящий желтый грузовичок в полметра длиной, но чья-то голова заслонила от него эту маленькую машинку, он поднажал плечом, и лепщик, стоявший перед ним, чуть подался в сторону. Грузовичок как настоящий: застекленная гнутым лобовым стеклом двухместная кабина, короткий, чуть выступающий капот, прямоугольные фары, утопленные в зализанных крыльях, хромированный с резиновой накладкой передний бампер, черные колеса с рубчатым протектором и цельнометаллический кузов, у которого откидывался задний борт. Григорию неудержимо захотелось взять этот трогательный симпатичный грузовичок в руки, он потянулся к модели.

— Осторожно, только лаком покрыли, — предупредил лепщик, стоящий рядом.

Григорий отдернул руку и услышал насмешливый голос Жореса:

— Дайте самому конструктору поглядеть.

Григорий машинально повернул голову, увидел прищуренные, плутовато блеснувшие глаза художника на смеющемся, бледном под светом люминесцентных ламп лице и сразу же снова посмотрел на грузовичок. Недоумение охватило его: в интонации Жореса было что-то настораживающее и как будто бы имевшее отноше-

ние к нему, Григорию. Лепщики расступились как-то уж слишком охотно, подчеркнуто поспешно. И потом это «самому конструктору»... Григорий рассматривал модель желтого грузовичка, и странное, как наваждение, чувство охватило его — будто он уже где-то видел эту маленькую машину, он узнал в ней что-то, но никак не мог припомнить, где он встречал эти маленькие колеса и прямоугольные фары, этот плавный выгиб наклонного лобового стекла и зализанные, обтекаемые крылья. Он повернулся к Жоресу, вопросительно посмотрел на него, но художник по-прежнему плутовски и торжествующе улыбался. Да, именно торжество поблескивало в прищуренных глазах Синичкина. Тогда Григорий снова повернулся к грузовичку и вдруг на дальнем конце шестиметрового стола увидел еще две модели. Они стояли под низко опущенным рефлектором с инфракрасной лампой, видимо, для того, чтобы быстрее просохла краска. Он всмотрелся в эти модели, открыл рот, чтобы вздохнуть, но вздоха не получилось, будто он оказался в разреженном воздухе на горной вершине. И так вот, силясь вздохнуть, с тревожно прянувшим куда-то сердцем, смотрел он на два маленьких автомобиля.

Щедро остекленный, с чуть выдающимся моторным отсеком, прямоугольными, низко поставленными фарами, пятиместный голубой вагончик ласкал взгляд четкими, изысканно простыми линиями. Григорий сразу понял, что это форма хорошей обтекаемости и безупречного вкуса. А рядом с вагончиком стояло двухместное спортивное купе красного цвета. Что-то стремительное было в вытянутом теле этой двухдверной приземистой машины, казалось, она не стоит на месте, а уже мчится по ровной ленте шоссе; благородное изящество плавного схода фонаря кабины, сильный наклон лобового стекла рождали ощущение праздничности и силы, но не той грубой силы, которая выпирает из бицепсов штангиста,

а другой, которая притаилась в тонких руках скрипача. Все детали на моделях были проработаны тщательно и точно — хромированные ручки дверей величиной с фасолину, металлизированная окантовка стекол, рассеиватели фар с вертикальными штрихами, строгая и элегантная передняя облицовка, матово-серебристые, под магниевый сплав, диски колес, лоснящихся добротным рельефным протектором,— все здесь само по себе было искусством.

Григорий смотрел на эти маленькие автомобили, и ему не хватало воздуха. Один из лепщиков подошел к концу стола, ладонью прикрывая лицо от жара инфракрасной лампы, дохнул на лакированную поверхность кузова спортивного купе и сказал удовлетворенно:

— Высохло.

Кто-то погасил лампу, и цвет машинок: голубой — фургона и бруснично-красный — спортивного купе,— стал гуще, интенсивнее. Лепщик осторожно, чтобы не обжечь руки, переставил модели на середину стола в один ряд с желтым грузовичком. И только теперь Григорий понял, что это — его машина! Та, которую он делал несколько лет вместе с Аллой и Валей Сулиным, которая столько раз виделась в воображении, вот она перед ним — в трех своих видах. Это было невероятным, действительность превосходила воображение, была привлекательной, ошеломляюще неожиданной. Наконец Григорий глубоко вздохнул, повернул лицо к художнику. Только сейчас ему стало ясно, какую работу проделал Жорес за несколько месяцев. Он понял, что эти маленькие модельки автомобилей — не просто удачное решение, а этап в развитии художественного конструирования отечественных автомобилей. Он много лет изучал формы маленьких автомобилей, видел тысячи снимков и кинокадров, сотни живых автомобилей — и чувство не могло обмануть его. Он повернулся к художнику, заметил, какое у Жореса остановившееся, напряжен-

ное лицо с его всегдашней виноватой улыбкой, и догадался, как сейчас волнуется этот удивительный маленький и нескладный человек со светлой лохматой головой. Он шагнул к нему и обнял, сжал неожиданно крепкие плечи.

— Это... я тебя поздравляю! — Григорий судорожно вздохнул.— Слов нет... Это... блистательно! Понимаешь? Независимо от того, будет ли это автомобиль с моей или другой начинкой, он уже все равно существует, войдет в учебники... Это — похлеще Фарины и Джакозы.— Пристально и взволнованно смотрел он в зардевшееся лицо Жореса.

— Я рад, что тебе нравится,— тихо ответил художник.

— Нравится! Не то слово,— горячо отозвался Григорий и сам услыхал, как срывается на хрип.

Кто-то из лепщиков сказал нараспев:

— Да уж, мирового класса машинки. Я их перелепил много, а такого не доводилось.

Жорес вынул трубку из кармана, сунул в рот и шумно стал сосать через нее воздух.

— Нас может выручить только этот сельскохозяйственный вариант,— процедил он сквозь зубы, скрывая смущенную радость, и, вынув трубку, ткнул мундштуком в желтый грузовичок.— В этом есть потребность и в городе, и в деревне. А эти варианты, конечно, имеют товарный вид, но могут отпугнуть, если представлять, скажем, на коллегию министерства.

— Почему? — спросил Григорий.

— Слишком нетрадиционно все: и форма, и начинка, как ты говоришь. Отсутствие прецедента — вот что может повредить. И это купе-спорт дороговато для детского автомобиля. Я специально делал такой, основательный, потом можно выгнать из этого дешевый, упрощенный вариант, но для представления так приманчивее.

— Ничего! Теперь у нас есть что показать, а не одни голые расчеты. Увидишь, у меня к зиме — самое позднее к Новому году — будет платформа с агрегатами. Кровь из носу, а будет. А тогда я и напролом пойду: в ЦК напишу,— сказал Григорий глухим голосом и вдруг вспомнил, для чего он пришел: там, в КБ, сидит странная смуглая и красивая девушка и ждет его. И тут Григория осенило:

— Слушай, Жора! Можно показать это одной девушке? Она — журналистка.— Он в упор уставился художнику в глаза.

— Ну...— Жорес засопел пустой трубкой.— Так сразу? К чему?

— Она только посмотрит, понимаешь? Долго рассказывать, откуда она и что к чему, но пусть увидит... Ей статью нужно писать.— Григорий умоляюще смотрел на художника.

— Ладно, валяй, раз тебе невтерпеж. Когда она прибудет? Я хоть при галстуке появлюсь,— усмехнулся Жорес, тряхнув лохматой головой.

— Сейчас, она здесь. Сидит у меня в КБ!

— Ну, ты и выдаешь! А-а, ладно.— Жорес заулыбался с прищуром, повернулся к лепщикам.— Ребята, хорошо бы подсветить юпитером, давайте, а?

Григорий еще раз взглянул на ряд автомобильчиков на черном пластиковом столе и помчался в КБ.

В кабине лифта, который, казалось, еле полз вверх, он начал задыхаться, будто бежал в гору. «Только бы не ушла!» — боязливо думал он.

Девушка сидела, повернувшись к сулинскому столу, и читала какую-то старую, с ятями книгу. Она подняла лицо и отсутствующим взглядом посмотрела на Григория.

— Простите! — почти выкрикнул он, смятенно подумав, что она обиделась.

Она слегка улыбнулась, сочувственно спросила:

— Что, трудно отпроситься?

— Отпроситься? — не сразу понял Григорий.— А-а, нет, не в этом дело.— Он никак не мог выровнять дыхание.

— Что-нибудь произошло? — Она пристально и, как казалось Григорию, с сочувствием посмотрела на него.

— Да,— произнес Григорий и почувствовал, что губы сами по себе расползаются в глупую самодовольную улыбку. Он мельком взглянул в окно, на небо, ставшее светло-сизым, на его розовеющий от солнца южный край и, продолжая улыбаться, но пытаясь скрыть торжество, небрежно сказал: — Дизайнер закончил моделирование. Если хотите, можно посмотреть.

— Конечно хочу.— Она встала, неуловимо быстрым легким движением кинула размашисто книгу в сумку, надела ремень на плечо, и только сейчас Григорий увидел, какая она стройная и высокая, почти одного роста с ним.— Ну, идем?

— Идем! — в тон ей откликнулся он, быстро убрал счетную линейку и листы с расчетами в ящик стола, зачем-то сжал гармошку лампы над кульманом, оглядел рассеянно свой закуток, выгороженный двумя столами и двумя чертежными досками, и сказал: — Сборы закончил.

Рядом шли они по длинному институтскому коридору к лифту, и Григорий видел, как оживляются встречные мужчины при взгляде на девушку, как шире раскрываются глаза и с лиц соскакивает будничное выражение, сменяясь интересом и удивлением. Он опускал взгляд, стараясь придать лицу безразличие, но внутри что-то радостно и горячо всплескивало, и тверже становилась походка, сама выпрямлялась спина, привыкшая к шоферской сутулости.

В облицованной светлым пластиком, ярко освещенной кабине лифта ее лицо оказалось пугающе близко — мерцающие огоньками глаза с тяжелыми ресницами,

смуглые с золотистым румянцем щеки, на которых легкими тенями остался след ямочек, короткая стрижка, которая уже нравилась Григорию, и шея, высокая, стройная. Тугие, полные, слегка негритянской лепки губы были влажными. Григорий судорожно вздохнул, скулы захолодели, будто он вышел на ветер.

— Все-таки что-то случилось у вас,— прошептала она.

— Да,— шепотом ответил Григорий,— случилось.

— Что?! — она дотронулась до его руки, заглянула в глаза, приблизив лицо. И, не сознавая, что творит, он обнял ее и поцеловал в губы. Она отвернула лицо, высвободившись из объятий, но Григорий почувствовал — ее губы неуловимо ответили, и стало беззащитным и озаренным лицо. Он не увидел все это, а только почувствовал каким-то обострившимся, лишь раз приходящим чутьем и опустил глаза. До низу доехали молча.

В скульптурной лепщики уже разошлись по своим местам к макетам и моделям, и только один Жорес с пустой трубкой в зубах стоял у торцового края большого стола, на пластиковой черной поверхности которого была нанесена тонкими белыми линиями координатная сетка. Выстроенные ровным рядом модели сверкали лаком под светом юпитера.

Григорий подвел девушку к столу, чуть пожал ее тонкий локоть.

— Жорес Сергеевич Синичкин — художник-конструктор, вместе работаем. Соня.— Ее имя выговорилось легко, непринужденно, и Григорий почувствовал, что напряжение и скованность уходят.

Жорес вынул трубку изо рта, дернул лохматой головой в строгом и светском поклоне, взглянул на нее пристально и коротко, словно сфотографировал своими цепкими светлыми глазами, и махнул рукой в сторону моделей. Григорий стоял сбоку, любовался Сониным тонко рисованным профилем, безупречной и точной ли-

ней подбородка и шеи. Краем глаза он видел ошалело восторженные лица двух лепщиков, бросивших накладывать гипс на деревянный каркас. Они стояли, растопырив выпачканные белым руки, и глазели на девушку. Григорий подумал о том, что гипс, разведенный в резиновом большом ведре, сейчас схватится, и потом его придется разбивать молотком, но тотчас забыл об этом и невольно улыбнулся, ощущая безотчетную, распирающую горло радость.

— Ой! — восторженно вырвалось у Сони.— Какие красивые!

Она прошла дальше вдоль стола, чтобы увидеть автомобильчики сбоку, потом отошла, склонив голову, долго и как-то проникновенно глядела. Есть люди, умеющие слушать,— она умела смотреть. Григорий вдруг увидел все ее глазами: ярко освещенный ряд цветных сверкающих моделей на черном с белой сеткой пластике; невысокую фигуру Жореса, зорко наблюдающего из-под приспущенных век; себя, глуповато улыбающегося, в немодном и старом сером пиджаке (хорошо, рубашку сегодня свежую надел), но это почему-то не вызвало в нем недовольства или неловкости — радость распирала его, модели нравились еще больше, и сам он, может быть, впервые в жизни, нравился себе.

— Да-а! Такую бы и я купила.— Соня указала на красное спортивное купе, и Жорес довольно кивнул.— А сколько будет стоить такая машинка?

Художник взглянул на Григория, и она выжидательно посмотрела на него.

— Ну, сейчас трудно сказать точно. Цена, продажная, розничная, зависит от многих факторов,— стараясь быть хладнокровным, сказал Григорий, помолчал и закончил уверенно: — Но думаю, что в производстве обойдется не дороже самой простейшей из существующих машин. Потребителю выйдет в итоге дешевле, по-

тому что автомобиль экономичнее, долговечнее, то есть дешевле в эксплуатации.— И, уже заволновавшись, не выдержал: — Да сравнения никакого быть не может, это же — машина. Она лет десять, а то и больше, не будет стареть морально.

— Григорий Иванович, пожалуй, близок к истине. Загадывать, конечно, дело неблагодарное, но если бы...— Жорес вдруг осекся с виноватой улыбкой, тряхнул головой.— Нет, тьфу-тьфу, не будем искушать судьбу. Рано говорить.

— Да, да, ты прав,— сам внезапно испугавшись, поддержал Григорий.

— А можно их сфотографировать? — Соня, наклонив голову, что-то нашарила в своей большой сумке.

— Нет! Ни в коем случае! — замахал руками Жорес.

— Да, Соня, это нельзя. Даже показывать было нельзя.— Григорий озорно усмехнулся.— Так уж, в виде исключения.— Он повернулся к художнику.— Жора, я сейчас уйду. Сегодня тебе не понадоблюсь?

— Иди,— прищурился Жорес.— Завтра с развеской поколдовать надо будет в детском. Всего доброго, Соня.— Он снова отвесил ей свой светский поклон.

Когда они вышли за проходную института, Григорий спросил у Сони:

— Вы на чем от шоссе добирались сюда?

— Пешком, конечно. К вам же никакой транспорт не ходит. Удивляюсь просто, как столько людей добирается утром.

— У нас автобусы к метро на Московском подходят и всех привозят прямо к дверям, и так же — вечером. А вот нам придется топать — тут больше километра. Давайте вашу сумку.

— Ничего, дождя нет.— Она сняла ремень сумки с плеча, передала ее Григорию.

— Ого! Что у вас там такое, кирпичи?

— Почти что: диктофон, фотоаппарат, книжка и так, по мелочам, еще с килограмм наберется. Я уже привыкла и без поклажи чувствую себя неуверенно.

Они шли прямо по полотну уже просохшего асфальтобетона подъездной дороги. У Сони была упругая, с широким шагом походка, она нисколько не отставала от Григория.

Солнечные лучи, прорезав косыми лезвиями лилово-сизые облака на юге, вызолотили верхушки тополей, окаймлявших слева подъездную дорогу, а впереди, над шоссе, небо было серебристо-белесым и мягким.

Григорию, может быть, только один или два раза до сегодняшнего дня доводилось идти пешком по этой дороге, и он помнил лишь досаду от потери времени, но сегодня все было другим — ровная серая лента дороги, неподвижные, чуть заметные тени тополей на полотне, спиртной осенний запах от еще зеленой, но усохшей листвы и еле ощутимая при дыхании знобкость воздуха, наверное, оставленная истаявшим снегом,— казалось, все чувства его обострились, и сквозь рев моторов, доносящийся с полигона, он слышит короткий хруст черенков, когда порыв ветра срывает пригоршню тополиных листьев, и чувствует тепло от изредка касающегося локтя девушки. И дорога кончилась неожиданно быстро, он не успел сказать ей ни слова. Уже на шоссе спросил:

— Соня, вы везучая?

— Ну, когда как. Сегодня, может быть, да.— Она без улыбки посмотрела на него; Григорий увидел тревогу в ее темных глазах и заволновался сам.

— Тогда нам должно попасться свободное такси,— глухо произнес он, опустив лицо.

— А нельзя на автобусе? — Смешливые нотки слышались в ее голосе, но Григорий не поднял головы, волнение его можно было скрыть только словами.

— Автобусом долго и потом все равно пересадку делать.

— Не надо торопиться, прошу вас,— произнесла она тихо и, как давеча, дотронулась до его руки.

Григорий не ответил, он чувствовал: слова сейчас ничего не значат или значат слишком много — неточность и спешка могут развеять зыбкую, но ясно ощутимую связь, сразу возникшую между ними, а тогда рухнет все, ничего не поправишь. Он уже не мог представить себе, что два часа назад не был даже знаком с этой девушкой, что ее не было в его жизни. Он глядел вдоль шоссе, уходящего к освещенному краю неба, навстречу движению машин, и глаза влажнели от стылого ветра.

А потом старенькая «Волга» с пожилым молчаливым шофером везла их по дневному лиловому городу, по Московскому проспекту, шумному и просторному, мимо фасадов старых питерских домов на Фонтанке, по улице Дзержинского — к призрачно желтеющему в слюдяной искристости сизого неба шпилю Адмиралтейства. Пожилой, молчаливый водитель плавно делал повороты, плавно притормаживал у перекрестков, и казалось, что машина неспешно и ровно плывет в осеннем ленинградском воздухе, не касаясь асфальта. Еще на шоссе Григорий придвинулся к Соне (удержаться от этого было выше его сил), но она повернула к нему лицо, округлив глаза, с шутливым (или настоящим) страхом указала взглядом на спину шофера, чуть отодвинулась и крепко взяла его за руку,— так и ехал он всю дорогу, боясь шевельнуться и глядя только вперед. И странно: он, против обыкновения, не волновался и не испытывал раздражения, знакомого любому шоферу, который оказывается пассажиром в чужой машине.

Потом они сидели в ресторане-поплавке у невской набережной. Из окна за маслянисто-темной рекой были видны бело-голубое здание Кунсткамеры с астролябией

на стройной башне, троллейбусы и машины, неслышно плывущие по Университетской набережной, слюдяное низое небо. Было еще малолюдно в непритязательном чистом зале, радовали глаз нетронутой свежестью салфетки, свернутые пирамидкой. Тихо поскрипывал деревянный остов ресторана-поплавка, и чуть веяло сыростью из приотворенного окна.

Без куртки Соня показалась Григорию другой, новой и еще более красивой. На ней была синяя в мелкий желтый цветочек блуза, похожая на мужскую рубашку, тонкая шелковая ткань туго обтягивала плечи и небольшую грудь, широкие манжеты прикрывали запястья. В этой синей блузе она еще больше смахивала на мальчишку. Григорий через стол, не отрываясь, смотрел на нее и молчал. С того момента, как сели в такси, они не сказали друг другу ни слова и в ресторан завернули, не сговариваясь, выйдя из машины у памятника Петру на набережной.

Полная проворная официантка расставляла на столике бокалы, а они молча смотрели друг на друга. Когда она отошла, Соня первой нарушила молчание. Поведя плечом, она принужденно улыбнулась под взглядом Григория и тихо сказала:

— Так странно все... Вы либо очень искушенный и плохой человек, либо редкостно чистый и беззащитный — это одинаково плохо.— Она печально потупилась.

Григорий вдруг испугался, что девушка сейчас замкнется, перейдет на официальный тон, и тогда исчезнет иллюзия давности их знакомства, интимность развеется, как дым проходящего по Неве буксира.

— Я не знаю... Только вы не сердитесь.— Он умолк на минуту и потом заговорил медленно, будто думал вслух: — Понимаете, я долго жил один. Мне не повезло, не нашлось сердечного друга-сверстника. А потом, когда стал постарше, обстоятельства — случайные,

этого могло и не быть — свели с людьми, которые были во всех отношениях выше, культурнее, образованнее, старше, умнее,— в общем, всё. Я многое перенял, кажется, что-то понял, но дружбы не было, и — как бы это сказать — мне не с кем было сравнивать себя изнутри, я не мог понять, так ли я чувствую, как другие. Словом, я душевный самоучка, и учиться-то начал поздно, когда другие уже достигают зрелости. Многое, наверное, от меня ускользнуло, понимаете, потому что эти люди, с которыми я общался, были сложными, тонкими, а я всего этого, конечно, не мог уловить, на тогдашнем уровне своем. Вот вы видели нашего директора...— Григорий водил пальцем по чистой скатерти, мучительно силясь выразить то, чего никогда не говорил ни одному человеку.

— Мне ваш директор показался Нарциссом, он, по-моему, немножечко, или даже не немножечко, влюбился сам в себя оттого, что стал таким умным, добрым, удачливым... Хотя красив, приятен — этого не отнимешь.

Соня утвердительно кивнула, по смуглому лицу прошла легкая и, как показалось Григорию, чуть презрительная усмешка. И он горячо возразил:

— Ну, вы ничего о нем не знаете. Какой же он Нарцисс... Он от многого умел отказываться, и вообще...

Тихо рассмеявшись, она не дала договорить:

— Черт возьми, какой вы все-таки еще мальчишка. Ни от чего он не умел отказываться. Просто, что бы он ни делал, он все записывал в победные реляции.— Она с грустью улыбалась Григорию.

Ему стало не по себе. Слишком многое соединяло Игоря Владимировича и его, Григория, чтобы так, сразу, вслух согласиться с этой оценкой, но самое неприятное, что и создавало чувство неудобства внутри, было какое-то молчаливое и машинальное полусогласие в душе с этими словами Сони. Григорий разозлился на себя.

— Вы же видели его всего один раз в течение получаса и — нате, уже и Нарцисс, и все такое. Неужели вы обо всех судите так сразу, и приговор окончательный, обжалованию не подлежит? — Видимо, в словах Григория слишком явно слышались обида или злость, потому что Соня торопливо и почти умоляюще выдохнула полушепотом:

— Нет, нет.— Она вся потянулась к Григорию через стол.

Григорий молчал, внезапно его захлестнула болезненная горечь. Кончился тот мечтательный обморок, в котором он пребывал с первой минуты, когда увидел Соню,— женщина сидела против него, женщина со своим непонятным, изменчивым, нелогичным внутренним миром; женщина с неизъяснимой прелестью и беспричинной несправедливостью, нежная и жестокая. Сказка кончилась, подступила неумолимая жизнь, и не сказочная, всепонимающая царевна сидела напротив, а человек со своими заблуждениями и поспешным судом — женщина из другого, незнакомого ему мира, опять из другого. Но и он не был теперь тем неловким слесарем, у кого была лишь одна защита — замкнутость, молчание, за которыми он скрывал сердечные порывы. И теперешний Григорий Яковлев уже не очень-то верил в сказки. Жизнь испытывала его, и он испытывал жизнь, и в этой жизни — сейчас ему стало понятно — он не откажется без борьбы от несправедливой, беспричинно жестокой и прекрасной женщины, что сидит напротив и улыбается беспомощной, грустной и уверенной улыбкой, потому что другой, лучшей, чем эта женщина, нет и не может быть.

— Никогда не надо, даже словесно, сечь чью-то голову с маху. Это не колесо от машины, потом не привинтишь,— сказал он, пытаясь улыбнуться и чувствуя ломкую деревянную неподатливость губ.

— Ой, бога ради, простите, я не совсем так выра-

зилась... Я не это совсем имела в виду... И не в первый раз... нет, я знаю Игоря Владимировича давно, по рассказам.— Искреннее волнение было на ее лице, и это как-то примирило Григория, даже доставило ему удовольствие. Соня торопливо закурила, быстро затянулась и заговорила спокойнее: — Мы ведь с Гариком Владимировым вместе работали и дружили, так, насколько это возможно при... Словом, он когда-то был очень влюблен в меня,— закончила она грустно и стала смотреть куда-то в стенку, за плечо Григория.

— С Гарькой?! — он не мог скрыть своего удивления.

— Да,— еле слышно ответила она.

— Так это он вас послал? Зачем?

— Ну, очерки об ученых, конструкторах всем интересны. А потом, Гарик знал, что в институте что-то готовится или делается, он и ваше имя называл... Только я вас представляла другим...

— Каким? — не удержался Григорий и сам подосадовал на себя за это.

Соня лукаво усмехнулась, стрельнув глазами из-под ресниц.

— Ну, таким железным парнем, фанатиком, у которого одни автомобили на уме.

— Да, странно,— задумчиво сказал Григорий.

— Что?

— Как все связано, мир тесен, как говорят.— Григорий хотел добавить еще что-то, но промолчал, потому что подошла официантка.

Он стал думать о Гарике Владимирове. Они встречались, когда Григорий еще бывал в гостях у Игоря Владимировича и Аллы, и уже с год как не виделись. Сыну Владимирова было под тридцать, но он располнел от сидячей работы, в рано поредевших темных волосах уже отчетливо серела седина, и лицо было нездорово одутловатым и бледным — лицо человека, ред-

ко бывающего на воздухе, часто пьющего и много курящего. Но при всей внешней разнице между отцом и сыном было и что-то неуловимо общее — может быть, глаза, темные, глубоко сидящие, какие-то по-доброму умные. Григорий давно заметил, хотя и не высказал себе словами, что чаще всего глаза умных людей кажутся холодноватыми (как у Аллы Синцовой) — у отца и сына Владимировых этого холода в глазах не было.

Владимиров-младший был симпатичен Григорию. За желчным остроумием и чуть театральным цинизмом его речей чувствовался оригинальный живой ум, но и уязвленность какая-то ощущалась явно. Игорь Владимирович ушел от матери Гарика, когда тому было неполных шестнадцать, и, наверное, этот уход не прошел бесследно. Ему ли, Григорию, было не понять, что́ значит остаться без отца! И еще Григорий хоть и невнятно, но чувствовал себя виноватым перед Гариком, будто занял его место в жизни отца. Впрочем, познакомились они, когда Гарик уже закончил институт, и чувство вины у Григория было несколько запоздалым. Гарик относится к Григорию с насмешливой симпатией, в которой иногда вдруг проскальзывала нежность. Но Аллу не любил откровенно, всегда говорил ей колкости и называл не иначе, как «моя прелестная мачеха». Непростой человек был Гарик Владимиров... И тут Григория кольнула внезапная пронзительная, как детское озарение, но и по-детски наивная мысль: «Тогда Алла — Игорь Владимирович, теперь — Гарик?!» Дыхание у него сбилось, исподлобья, опасливо он взглянул на Соню и, когда официантка отошла, спросил с деланной веселостью:

— Ну а как вам показались модели? И художник? По-моему, он талантлив как черт.— А та пронзительная и наивная мысль не уходила, тревожно лихорадила ум.

— Машинки просто замечательные, ну прямо глаз не оторвать. Я, право же, не очень разбираюсь в этом,

не знаю, как они будут выглядеть в натуре, может быть, в увеличенных размерах будут не такими трогательными, но впечатление очень... какое-то праздничное. Честное слово,— добавила она, заметив неуверенную улыбку Григория.

— Вообще-то, так и бывает. Автомобиль в натуральную величину отличается от модели и часто проигрывает по сравнению с ней, но изредка бывает иначе. Я почему-то надеюсь, что это — именно тот случай, хотя на это надеются, наверное, все. Я очень верю Жоресу, художнику.— Тревожная, лихорадочная мысль отошла, истаяла где-то в дальних потемках сознания, но оставила щемящую тесноту в груди, словно предчувствие грозящей беды, и Григорий чувствовал потерянность и бессилие что-либо изменить.

— Вы знаете, мне он очень понравился, добрый такой, лохматый, смешной немного, только очень грустный. Глаза у него такие, какие-то внимательные, а в них грусть.— Голос ее был тих и задумчив, и Григорию подумалось, что вот так же, при случае, Соня пожалеет и его, пожалеет — и тут же забудет. Он не знал, о чем говорить дальше.

Выручила официантка, расставила тарелки с закуской, откупорила сухое вино. Григорий вдруг заказал еще и водки.

— Что это вас на крепкое потянуло? — Соня чуть прищурила глаза.

— Все-таки событие, модели закончены,— небрежно ответил Григорий, наливая ей вино.

— А вообще? — осторожно, но настойчиво спросила она.

— А вообще — равнодушен, во всяком случае, не злоупотребляю. Я ведь шофер бывший.— Он помрачнел, спросил глухо: — Вы для статьи материал собираете?

Соня ответила не сразу, пристально, с тихой обидой глядя ему в глаза, пригубила вино.

— Нет, я не занимаюсь антиалкогольной пропагандой. Просто я уже насмотрелась на нашего общего знакомого и боюсь. А вы обидчивы, как ребенок.— Она улыбнулась примирительно.

— Не всегда,— тоже улыбнулся Григорий.— А что, Гарька по-прежнему? У него ведь, кажется, с сердцем что-то было.

— Нет, теперь не так, просто здоровья уже не хватает. Он ведь очень-очень способный человек, но вот...— Она мотнула головой.— Что-то грустные темы мы с вами все время обкатываем. Давайте-ка лучше выпьем за вашу удачу.— Она подняла бокал вровень с глазами, посмотрела без улыбки.

— Спасибо. Сегодня мне и самому очень захотелось удачи, всякой.— Григорий налил себе рюмку водки, и они выпили.

Он повеселел, что-то смешное рассказывал Соне, еда была вкусной, от выпивки тепло разливалось по телу. Григорию казалось, что просидели они в поплавке долго, но когда вышли на набережную и он посмотрел на часы, то удивился: прошло всего два часа. Соня взяла его под руку, и они шли к мосту Лейтенанта Шмидта.

Порывами задувал ветер, солнце так и не пробило сизой пелены облаков. Шуршали легковые машины по влажному асфальту, торопились редкие прохожие, вспархивала под ветром листва с деревьев Александровского сада, и пахло горьковатым осенним настоем, холодом речной воды. И снова почувствовал Григорий стеснение в груди, вновь всплыла лихорадочная мысль: «Тогда Игорь Владимирович, теперь Гарик» — и наполнила всего предощущением потери.

Молчали под звук шагов по гранитным плитам.

Не доходя до моста, Соня остановилась, заступила дорогу Григорию и, глядя ему в глаза, виновато попросила:

— Не провожайте меня сегодня, ладно?

— Да? — сдавленно выдохнул Григорий. Этого он ожидал и боялся.

— Да! — она беспомощно улыбнулась. — Боюсь...

Григорий уже справился с собой.

— Ну, я вовсе не хочу подвести вас под неприятности,— ответил он почти спокойно.

— Господи,— плачущим голосом протянула она.— Чего вы там себе напридумали? Я свободна, совсем свободна, поймите! — Она отобрала у него сумку, торопливо достала блокнот и ручку. — Вот домашний, вот рабочий. — Она резким движением вырвала листок и протянула Григорию. — Звоните, жду всегда... А сегодня... ну, просто боюсь. Все и так слишком хорошо.

Она кивнула и, повернувшись, зашагала прочь. Григорий смотрел вслед, вслушивался в стук ее каблуков, пока она не свернула на площадь Труда. Соня не оглянулась. И только теперь он почувствовал, что легкий радостный хмель ударил в голову. Заметив такси с зеленым огоньком, Григорий машинально поднял руку. «Волга» затормозила, он сел рядом с шофером и назвал адрес института. Григорий и сам не знал, зачем он едет к концу рабочего дня; он не рассчитывал что-либо сделать за те полчаса, которые останутся после дороги, но почему-то тянуло на радостях в привычные стены и, может быть, хотелось еще раз взглянуть на модели.

В институте он почти бегом через стеклянную галерею направился в испытательный отдел, радостно думая: «Валька ведь еще не видел, да и Алла!»

В коридоре испытательного отдела стояла непривычная тишина, уже выключили стенды и двигатели. Распахнув дверь, Григорий стремительно вошел в лабораторию. Алла разговаривала с механиком. На ней был светло-синий, туго подпоясанный халат, подчерки-

вающий стройную фигуру. Когда Григорий приблизился, она, почувствовав его взгляд, обернулась.

— Здравствуй.— Она кивнула, светлые глаза потеплели.— Что, совсем загордился — и не заходишь!

— Здравствуй.— Григорий не мог сдержать радостной улыбки.— Модели готовы. Жорес только сегодня закончил. Валька здесь?

— Ну да,— Алла усмехнулась, скривив губы.— Ты помнишь хоть один день, чтобы он доработал до конца?

— А, ладно. Пойдем посмотрим.

— Пойдем, интересно, что там получилось.— Алла пошла к лестнице наверх, на ходу расстегивая халат. Поставив ногу на ступеньку, обернулась, крикнула механику: — Кареев, кончайте. Еще завтра день будет.

Через несколько минут она уже спускалась вниз в своем обычном повседневном наряде — узкая замшевая юбка, тонкий зеленый джемпер, побрякушка черненого серебра на тонкой цепочке, пересекающей овальную коричневую родинку на шее. Григорий впервые подумал, что этот простой наряд тщательно продуман и не так прост — во всяком случае, такую юбку не купишь в первом попавшемся магазине. Он вспомнил Сонину блузку, похожую на мужскую рубашку, и подумал, что ей тоже пошла бы узкая замшевая юбка.

— Пойдем быстрей,— попросил Григорий, когда Алла хотела задержаться в стеклянном переходе у аквариума с рыбами. Она коротко, с доброй усмешкой взглянула на него и сказала на ходу:

— Вижу, тебе модель нравится. У тебя вид, как у жениха.— Она рассмеялась коротким горловым смешком.

— Возможно, а почему бы и нет?— стараясь скрыть радостное возбуждение, шутливым тоном откликнулся Григорий.

— Ну, поглядим.— Алла слегка толкнула его пле-

чом, подзадоривая. Она всегда очень точно чувствовала настроение.

В зале художников уже стоял нерабочий гул голосов, глухо шелестели листы ватмана, свертываемые в трубку. Жорес сидел на столе, болтая ногами, не достававшими до полу, чистил ершиком мундштук трубки, прищурив глаз, поглядывая сквозь его маленькое отверстие на свет.

— Жора, давай Алле покажем,— подойдя, сказал Григорий и взял его за локоть.

Жорес соскочил со стола, тряхнул головой.

— Здравствуйте, Алла Кирилловна. Трепещу в ожидании вашего суда.— Он шутовски втянул голову в плечи.

— Правильно делаете,— с улыбкой ответила Алла.

— Во-во, женщины по природе своей беспощадны, как дети: с милой непосредственностью никак не могут увидеть платье голого короля.

— Смотря какого. Если король красив и хорошо сложен, то и невидимое платье ему к лицу.— Язвительная улыбка, колючий взгляд подкрепили ее ответ.

В скульптурной уже никого не было. В слабом сумеречном свете призрачным сгустком белесого тумана казалась большая, в натуральную величину гипсовая модель широкого приземистого «седана»; узкими канавками на еще не отшлифованном пористом гипсе были намечены контуры дверей и оконные проемы, колес не было, и от этого модель напоминала гигантскую белую черепаху. Жорес включил верхние плафоны; трубки, мигнув несколько раз, наполнили зал холодноватым светом с лунным оттенком.

— Вот эта? — лукаво спросила Алла, кивнув в сторону гипсовой модели.

— Что вы, Алла Кирилловна, вы мне льстите. На такое я не способен.— Жорес суетливо возился в дальнем углу зала, разбирая штабель картонных ящиков,

в которых с химкомбината привозили для лепщиков пластилин.

— Тебе помочь? — волнуясь и от этого громче, чем нужно, спросил Григорий.

— Нет, уже все.— Жорес, повернувшись к ним спиной, что-то ставил на низкий поворотный круг. От дверей круг не был виден, его закрывали макеты и верстаки лепщиков.

Григорий пошел вперед, обернулся, взглядом пригласил за собой Аллу.

— Прошу! — повернувшись, Жорес широким жестом пригласил их подойти.

Круг медленно вращался, а по его краю словно ехали друг за другом три маленьких сверкающих автомобиля: впереди — желтый грузовичок, деловито скромный, но несущий в своем облике лукаво-простодушную улыбку художника, за грузовичком, расстелившись, как породистая борзая в аллюре, чуть нескромно сверкало красным лаком двухместное спортивное купе, и следом, будто сознавая свою солидность и первородство, респектабельно голубел щедро остекленный простой и просторный полувагончик.

Григорий при общем безмолвии некоторое время смотрел на медленно плывущие с поворотным кругом модели, потом взглянул на стоящих почти рядом Аллу и Жореса. Художник был задумчив, но спокоен. У Аллы лицо выражало грустное удивление, и Григорий впервые заметил на нем признаки увядания: уже размывающийся, теряющий четкость контур подбородка, тени в уголках рта — предвестники морщинок, которые скобками заключат нижнюю губу, оттенив ее будущую усохлость; сиреневую припухлость усталых век, грозящую перейти в воспаленность. Нет, красиво было ее лицо, еще очень красиво, но красота эта была уже несколько напряженной и резкой, как подчеркнутая точность па балерины, закатно блистающей в свой последний сезон.

Григорий почувствовал неловкость и больше не отрывался от плывущих по кругу моделей, радуясь их детски задорному сверканью. Он зачарованно поворачивал голову вслед за движением машинок и вместе с радостью все яснее ощущал удовлетворение, не лишенное доли гордости,— тот автомобиль, о котором он угрюмо мечтал несколько лет, ради которого работал вечерами до рези в глазах, медленно плыл перед ним по кругу в трех своих видах. Сбылось наконец то, к чему он стремился. Но не было у Григория пока еще ощущения завершенности. Перед ним вращались только модели в одну пятую натуральной величины. «Сбылось только на одну пятую», — думал он и все-таки был сейчас счастлив.

— Жорес Сергеевич.— Негромкий, но резкий голос Аллы неожиданно рассек тишину пустого зала скульптурной мастерской. Григорий услышал в нем дребезжащие жестяные нотки, понял, что Алла нервничает, и с недоумением поднял на нее глаза: «Неужели не понравилось?» — Жорес Сергеевич,— виновато повторила Алла,— я должна извиниться перед вами.

Жорес, маленький, ростом меньше ее, смотрел снизу вверх, смущенно потирая подбородок, словно пробуя, чисто ли выбрит.

— Можете говорить прямо, если не понравилось,— своим хрипловатым голосом ответил он, отняв руку от лица, виновато и в то же время насмешливо усмехнувшись.

— Нет, нет, очень нравится все, просто до обморока нравится.— Алла перевела дух, лицо ее загорелось, и Григорий понял, что она сильно волнуется.— Просто, я плохо думала о вас раньше, считала, что вы неспособны... Даже Грише говорила... Словом, простите меня, это... идиотски несправедливо было, без всяких оснований...— Она опустила голову.

Жорес негромко расхохотался.

— Ну, Алла Кирилловна, бросьте. Мало ли что мы думаем друг о друге без всяких к тому причин. Важно не то, что вы думали тогда, а что думаете сейчас. И за откровенность спасибо. Вы, оказывается, совестливая и добрая.— Жорес взял ее руку, низко склонив голову, поцеловал.

Что-то сентиментальное и теплое разлилось внутри у Григория, и чувство благодарности и любви к Алле и к Жоресу переполнило его так, что защипало в носу. Только по обычной своей сдержанности он промолчал, но гордое, счастливое ощущение, пронизавшее все его существо, от этих моделей, впервые зримо воплотивших его труд,— это звенящее, как струна, ощущение стало еще отчетливее и сильней.

— Еще раз спасибо вам, Жорес Сергеевич. Пора собираться домой,— уже спокойно сказала Алла.

— Чего уж,— Жорес снова смущенно потер подбородок,— работа общая.

Алла пошла к выходу, и Григорий, подмигнув Жоресу, направился вслед. В коридоре он догнал ее, зашагал рядом.

— Ты знаешь, о-очень здорово. Я просто поражена,— сказала она необычно напевным голосом и добавила удивленно: — И Жорес ведь приличнейший человек, и умный. Стыдно было ему в глаза смотреть. Дурацкая манера — так с ходу записать человека в кретины.

Григорий вместо ответа вдруг неожиданно для себя наклонился и поцеловал ее в щеку, даже за плечи приобнял. Хорошо, что в коридоре уже никого не было.

Алла чуть приостановилась, удивленно и пристально взглянула в глаза.

— Гриш, ты сияешь — с чего бы? — Она лукаво улыбнулась.

— Да ни с чего, надоело кукситься. И ты молодец, Алка! (Как давно, сто лет, он не звал ее так!) Я не

ожидал, что скажешь это Жоресу,— склоняя к ней лицо, ответил он.

— Гриш,— удивленно и почему-то обрадованно воскликнула она,— да ты же выпил? Где это ты успел?

— Ну, успел. А что, нельзя — раз в жизни на службе выпить? У меня сегодня праздник: модели и вообще.— Григорий осекся, смущенно улыбаясь. Это «вообще» было не для Аллы, и даже легкое сожаление появилось оттого, что ей не расскажешь о сегодняшнем, и тут же скользнула в уме опасливая вкрадчивая мысль: «А может, не о чем рассказывать, может, ничего и не было, только обманная любезность?» В памяти блеснуло смуглое улыбающееся лицо Сони, улыбка была испуганной и беззащитной. Григорий вздохнул облегченно, сказал:

— Просто сегодня увидел хоть какой-то вещественный результат этой нашей работы,— и смущенно потупился под испытующим взглядом Аллы.

— Ну, я побегу. А то Владимиров там уже мечет громы, не любит ждать,— сказала она.

— До завтра. Я еще зайду в КБ.

Они пошли по коридору в разные стороны.

Домой Григорий вернулся еще засветло. В квартире было тихо, ужинать не хотелось. И он, воспользовавшись отсутствием соседей, затеял в ванной небольшую стирку. Хозяйственные заботы никогда не тяготили его, с малолетства привык он сам обихаживать себя и справлялся со стряпней и стиркой не хуже любой женщины. Развесив белье на шнурах в небольшой кладовке рядом с кухней, Григорий, вернувшись в свою комнату, ощутил легкую неудовлетворенность и пустоту. Чувство было как у человека, ожидающего на вокзале свой поезд и томящегося, не зная, чем себя занять. Не докурив сигарету, Григорий вскочил с тахты, сходил на кухню за тряпкой и принялся стирать пыль с полок и книг. Намеренно медленно он снимал со стеллажа по-

рядком пропыленные томики, обмахивал корешок и обрезы, протирал полку и расставлял книги в прежнем порядке. Иногда, стоя тут же у стеллажа, раскрыв книгу, прочитывал несколько абзацев. Так ему удалось убить еще полтора часа, но чувство томительного ожидания чего-то, чего он и сам не знал, не прошло. Тогда Григорий, торопливо сполоснув руки, поспешно надел плащ и выскользнул из квартиры, стараясь не топать, словно кто-то мог заметить и задержать его.

Холодный сырой воздух увлажнил лицо, шаги по асфальту звучали глухо, смягченные туманом, который плавал на уровне колен. Немногочисленные в этой части города витрины магазинов светились размыто и тускло. Под фонарем Григорий приостановился, поворошил на ладони мелочь, выбирая двухкопеечную монету, и устремился дальше. Возле булочной телефон-автомат не работал, в трубке настоялась шуршащая космическая тишина. Григорий почти бегом пересек улицу, свернул за угол — у гастронома в стеклянной будке укладисто расположилась полная, еще молодая женщина. По ее безмятежно-дремотному лицу Григорий понял, что ждать придется долго. Он нерешительно затоптался на месте, словно согревая застывшие ноги, еще раз глянул на женщину; ее бедро упиралось в дверь будки, не давая затвориться до конца, из щели в два пальца доносился курлыкающий довольный смех. Григорий повернулся и пошел на проспект.

Свободный телефон-автомат отыскался в парикмахерской. Несколько человек сидели на жестких стульях, приставленных к пластиковой перегородке. Гардеробщик из-за барьера переговаривался с кассиршей, старик с сонным небритым лицом перебирал уже переставшие шуршать, тряпичной мягкости газеты. Резко до одури пахло лавандой, за перегородкой тонко позвякивали ножницы, гудели машинки. Появление Григория внесло некоторое разнообразие в скуку ожидающих, все

взгляды обратились на него. Он прислонился к стенке у дверей, бросил согревшуюся в кулаке монетку в щель автомата, стараясь подавить нервную одышку, набрал номер. В телефонной трубке долго и томительно потрескивало, где-то далеко и невнятно пел что-то протяжное надтреснутый тенорок, потом раздался резкий длинный гудок, и сразу же низкий и чистый женский голос быстро ответил: «Слушаю».

— Соня? — вдруг оробев, сдавленно спросил Григорий.

— Ой! — с радостной досадой и облегчением воскликнула она.— Ну почему вы не звонили? Я же весь вечер жду... Это же... Вы бесчувственный какой-то, как автомобиль.

Она тихо, рассыпчато засмеялась, и от этого смеха у Григория пересохло во рту. Он стоял в резком, одуряющем запахе лаванды, слыша и не слыша звяканье ножниц и электрическое гудение за перегородкой, видя и не видя лица ожидающих своей очереди,— стоял и улыбался широкой осоловелой улыбкой жизнерадостного идиота.

— Алё, алё! Грища!

— Да, да,— спохватившись, ответил он.

— Ну что же вы молчите?

— Я не молчу, я слушаю.

— Господи, да где же вы?

— Здесь, в парикмахерской.— Только сейчас до Григория дошло, что его ответ не сделал бы чести и недоразвитому.

— Где?!

— В па-рик-ма-хер-ской,— по слогам повторил Григорий.

— Зачем?

— Хочу остричься наголо.— Его вдруг понесло озорной веселой волной, набежавшей откуда-то изнут-

ри.— Потому что я — бесчувственный, как автомобиль, а автомобиль с волосами — это еще и уродливо.

— Не надо,— жалобно попросила она.

— Нет, надо. У меня острый приступ одиночества, и необходимо совершить что-нибудь героическое,— нахально возразил Григорий.

— Тогда лучше приезжайте на Васильевский остров, Средний, сорок шесть, квартира двадцать семь. Ну, слышите? И не смейте ничего делать с волосами!

Григорий нежно прижимал трубку к уху и улыбался.

8

Вместо ответа Григорий вдруг неожиданно наклонился, поцеловал в щеку и приобнял за плечи, и только тогда Алла Кирилловна заметила, что у него необычно оживленное, радостное лицо и глаза совсем шалые, отчаянно-веселые, словно он только что вылез из-за руля после выигранной гонки... Алла Кирилловна шла по коридору, прислушивалась к удаляющимся шагам Григория и недоверчиво улыбалась. Что-то давнее, почти позабытое сонно ворохнулось в душе. Оказывается, она помнила, еще могла вспомнить те отчаянно-веселые и влюбленные глаза, какими смотрел на нее, Аллочку Синцову, Гриша Яковлев прежде. Оказывается, сердце тайно хранило память о том волнении, которое испытывала тогда Аллочка Синцова...

Она шла по институтскому коридору — тонкая, стройная женщина, еще совсем молодая. Рассыпчатый стук каблуков сеялся в четком уверенном ритме, ноги стали легкими, будто не было позади целого рабочего дня. Давно, очень давно не смотрел на нее Григорий такими глазами, и только сейчас Алла Кирилловна поняла, что последние несколько месяцев он относился к ней плохо. Нет, «плохо» было не то слово. Она пере-

стала существовать для Григория в каком-то качестве, она стала обыкновенным товарищем по работе, начальником — и только. Как же она все эти месяцы не догадывалась об этом, не могла понять? Наедине с Григорием она лишь ощущала какое-то неудобство, отсутствие внутреннего комфорта, легкости, но не знала почему. И только теперь, увидев отчаянно-веселые, прежние его глаза, Алла Кирилловна ощутила, какими несносными, лишенными интереса были последние месяцы, которые способны были — продлись они еще немного — зачеркнуть долгие годы. Оказывается, Григорий был необходим ей, необходимо было чувствовать его душевную зависимость от нее, Аллы Кирилловны Синцовой. Это создавало особую атмосферу, особый воздух, которым дышалось легко и опасливо, и было в этой пьянящей опасливости что-то от чувства дрессировщика: потому и волнует покорность большого опасного зверя, что он опасен. Григорий был для Аллы Кирилловны таинственным зеркалом, всегда по-новому, но всегда пристрастно отражавшим ее. И зеркало это было как озерная гладь под высоким обрывом: отразиться в нем можно было только с некоторым риском сорваться с кручи и утонуть,— это и было самым приятным. Хотя, возможно, риска и не было: ведь она никогда не страдала приступами внезапного головокружения; нет, она решительно не могла потерять равновесия, она просто допускала такую возможность чисто теоретически, и это допущение придавало жизни пикантный привкус новизны. Да, никакой опасности не существовало,— где-то в глубине души Алла Кирилловна это понимала — слишком надежны были у нее тылы, но все же, все же так упоительно еще и еще раз испытывать себя.

Не всякой женщине дается незаслуженное счастье много лет постоянно ощущать поклонение себе (ну, хоть неравнодушие-то — наверняка!). Только в двух случаях мужчина небезразличен женщине: когда по-

клоняется ей или когда подчиняет ее себе,— равнодушных женщины не замечают. Они мгновенно чувствуют равнодушие, даже если оно умело сокрыто тренированной галантностью, рискованным и оригинальным остроумием. В мгновение ока определяют женщины равнодушных по пустоте глаз и перестают их замечать. И только сейчас, когда Григорий посмотрел на нее прежними своими глазами, Алла Кирилловна призналась себе, что последние месяцы во взгляде его была пустота, именно та — пустота равнодушия.

Прихватив сумочку и проверив, выключены ли приборы, Алла Кирилловна из опустевшей лаборатории прибежала в вестибюль, надела в гардеробе свое расклешенное светлое пальто, повязала платочек, с большей, чем обычно, заинтересованностью разглядывая себя в зеркале.

Игорь Владимирович уже сидел в машине, видимо, у него было хорошее настроение, потому что он лишь заметил с шутливой укоризной:

— Примадонна заставляет себя ждать,— и завел двигатель.

— Да знаешь, в последний момент прибежал Гриша,— ответила Алла Кирилловна и через левое боковое стекло, глядя мимо лица мужа, увидела самого Григория.

Он стоял невдалеке, разговаривал с Жоресом и какими-то девушками, судя по всему, художницами. Аллу Кирилловну вдруг поразило выражение веселой и спокойной победительности на его лице. Она видела, как шевелятся его по-мальчишески пухлые губы, как чуть наклоненное вперед лицо в неуловимой подвижности придает неслышным словам какие-то оттенки, видела короткий, но свободный жест руки с развернутой крупной ладонью... Лицо вроде бы знакомого, но на самом деле совсем неизвестного ей мужчины.

— Ну, так что там Гриша? Как у них дело-то

идет? — спокойно спросил Игорь Владимирович и тронул машину с места.

Группа, в которой стоял Григорий, медленно поплыла назад вместе со стеклянными дверями проходной и тонкими елочками, посаженными вдоль фасада института. Очертания лиц быстро расплывались в сизом вечернем воздухе, оставив в душе томящее, чуть досадное чувство неудовлетворенного любопытства.

— Да ничего, по-моему,— медленно сказала Алла Кирилловна и, уже подавив томящую досаду, добавила оживленно: — Даже очень ничего. Синичкин модели в одну пятую закончил, вот сегодня показывали мне.

— Ну да?! — Подъездная дорога впереди была свободна, и Игорь Владимирович даже повернулся и посмотрел на нее.

— Вперед, вперед смотри! — забавляясь изумлением мужа, прикрикнула Алла Кирилловна.

— Так что же ты сразу не сказала?! Ну, какая она, тебе понравилась? — Игорь Владимирович смотрел вперед, но все-таки косил взглядом на нее.

— Не она, а они; Синичкин сделал еще две модификации базовой, вернее, еще два самостоятельных варианта,— спокойно ответила Алла Кирилловна и почувствовала удовлетворение. Ведь это была и ее машина, ее труд, и, значит, ее успех.

— Три модели?! — Игорь Владимирович дернулся за рулем, сделав попытку снова взглянуть на нее.

— Игорь, расшибемся! Давай я сяду, и вертись тогда сколько хочешь,— уже строго сказала Алла Кирилловна, сдерживая снисходительную улыбку. Волнение мужа доставляло удовольствие.

— Хорошо, не буду. Только, ради бога, рассказывай!

Такой умоляющей интонации в его голосе она не слыхала давно.

— Ну, перед самым концом работы прибежал Гриша — глаза навыкате, рот до ушей... Поднялись к художникам. Знаешь же, я не очень этому Синичкину доверяла...

— Аллочка, дорогая! — прервал Игорь Владимирович.— А модели-то, модели что?!

— Я же по порядку хочу,— с притворным спокойствием ответила она. Игорь Владимирович сразу почувствовал эту игру, остыл, лишь ответил ворчливо:

— Ну-ну, давай по порядку.— Аккуратно, пропустив даже самые дальние машины, едущие в поперечном направлении, он повернул направо по шоссе.

— Так вот,— скрывая внезапное торжество, продолжала Алла Кирилловна,— как-то несимпатичен он был мне, так совершенно без всяких причин.

— Кто? — раздражение послышалось в голосе мужа.

— Жорес Синичкин — художник. Ты что, не слушаешь?

— Слушаю, только поближе к сути, пожалуйста.

— Ну вот, когда Гриша позвал смотреть модели, я шла с недоверием, ожидала увидеть в лучшем случае что-то серое, но... Словом, это меня потрясло.— Алла Кирилловна вздохнула, посмотрела вперед, где перспективу шоссе замыкали еще неясные контуры первых домов проспекта.— Такого я не ожидала.

— Знаешь, я догадывался, что Синичкин — человек совсем не бездарный, но и не практик... Что это — безнадежно фантастично или есть хоть капля реальности? — равнодушно, даже разочарованно спросил Игорь Владимирович.

— Это блистательно! — воскликнула Алла Кирилловна. — Глаз не отвести. Я не ох какой знаток, ты понимаешь, но, кажется, у нас, да и не только у нас, маленькой машины такого безупречного вкуса, такой, сра-

зу входящей в глаза, не было. В эти автомобильчики влюбляешься сразу.

— Ты серьезно?!

— Нет, так не поймешь. Это надо видеть, Игорь... Понимаешь, такой грузовичок, со штампованным кузовом... и кабина... Это так скомпоновано, что вот... ну, как будто ты уже сто лет знаешь этот автомобиль...— Алла Кирилловна перевела дух. — Мне еще задние пружины для него придется пересчитывать.

— Постой, какой еще грузовичок?! — Игорь Владимирович взволнованно подкашлянул.— Неужели они сделали и грузовой вариант!

— Да, да! Я же тебе уже сколько об этом толкую, Игорь. Эту машину предприятия, и сельские и городские, будут просто хватать. Триста килограммов грузоподъемность, маневренность, комфорт при управлении, легко грузить, потому что кузов низко — меньше метра от земли. Понимаешь! Такой автомобиль пройдет по любому саду-огороду, пролезет в любую щель. На нем можно в институт еду из любого ресторана возить и не держать в столовой этих сапожников.

Они уже въехали в город, и поэтому Игорь Владимирович снизил скорость.

— Да,— задумчиво протянул он,— это ход. Ай да Гриша! — Скупо улыбнувшись, спросил: — Поняла, куда прицелился?

— Нет, а что?

Игорь Владимирович тихо рассмеялся.

— Это же другая категория, это уже не просто автомобиль частного пользования, а микрогрузовик. Это строка «Типажа»! Ай да Гриша,— повторил Игорь Владимирович, и Алла Кирилловна ясно услышала горделивое восхищение.

— Ну, наконец-то и ты понял, что тянуть дальше нельзя,— сказала она насмешливо,— а то год почти отделывался общими фразами.

— Ну, не совсем так, кое-что я тоже делал, но благоприятных обстоятельств, чтобы реализовать все это, не было,— необидчиво сказал Игорь Владимирович.— Я тебе потом еще кое-что скажу. Ну, а как другие варианты?

«Москвич» неспешно катился по широкому проспекту. Бледно желтели витрины магазинов, через их двери туда-сюда двигался поток людей. Плотно забитые, тяжело отваливали от остановок троллейбусы, у станции метро было людно. Кончался трудовой день, и в город тесной людской толкотней входил вечер.

— Другие варианты тоже блеск. Вагончик просторный, простой, но, понимаешь, в этой простоте нет бедности, убожества, не возникает ощущения, что это — дешевка для людей второго сорта. Спасает изящество; понимаешь, что автомобиль другим быть не может — это его единственная форма. Конечно, в натуральную величину посмотреть было бы интереснее, но и так наглядно. Этот Жорес, непонятно как, нашел такие линии, что они покоряют новизной, и в то же время кажется, что давно знала их. Нет, это надо видеть.— Алла Кирилловна подтянула за концы ослабевший узел платочка, поглядела на длинный, с чуть выступающим подбородком, интеллигентный профиль мужа. Игорь Владимирович мечтательно улыбался.

— А третий? — спросил он.

— Купе-спорт, эдакая молодежная импозантность, двухместное,— все это о-чень хорошего вкуса и, знаешь, не лишено даже какой-то иронии, что ли. Ну, есть, понимаешь, в этой форме какой-то оттенок, который снимает самодовольство модерна... Нет, на пальцах этого не объяснишь. В общем, это наисовременнейший автомобиль, который, по-моему, не вызовет враждебности у человека даже с самым консервативным вкусом. Ты же знаешь, я вовсе не восторженная клуша, но тут

равнодушной не останешься.— Алла Кирилловна откинула голову и прикрыла глаза.

— Ну, вот и отлично. Теперь можно и действовать на ином уровне, хотя, сама понимаешь, никакой гарантии, что это пройдет, нет.— Голос у Игоря Владимировича звучал весело, и Алла Кирилловна, не открывая глаз, подумала: «Какой он все-таки еще молодой. Да ему еще впору детей растить...» Внезапная эта мысль взволновала Аллу Кирилловну.

Несколько минут ехали молча. Потом муж сказал другим, смущенным и несколько насмешливым голосом:

— А у меня сегодня довольно забавное происшествие было. Представляешь, входит Ксения с совершенно квадратными глазами, и — как у Гоголя: к нам едет ревизор. Только не ревизор, а корреспондент. И просачивается девица, стрижена почти под ноль, брюнетка с такой, не знаю уж, как это делается, сединой, как у чернобурой лисицы. Прическа — современный вариант а ля Лиа де Путти. Была такая звезда немого кино где-то в середине двадцатых. Тогда ее физиономию миллионами штамповали. Не знаешь?

— Нет,— не меняя позы, лениво протянула Алла Кирилловна. Было приятно и отдохновенно, закрыв глаза, предаваться легкому укачиванию ритмичных колебаний машины.

— Очень приятное лицо,— мечтательно сказал Игорь Владимирович, и было непонятно, к кому это относится: к нынешней корреспондентке или к забытой актрисе с чуждым жеманным именем.

— Молодая? — спросила Алла Кирилловна равнодушно.

Она никогда не ревновала мужа, потому что была уверена в себе, да и поводов к этому Игорь Владимирович не давал. Временами Алле Кирилловне даже хотелось, чтобы в их жизни произошло какое-то усложнение: слишком уж все шло ровно и спокойно. И постоян-

но направленный на нее неравнодушный взгляд Григория давал ощущение дополнительной прочности,— она словно была окружена двойными стенами, которые надежно защищали от всех треволнений. Слишком надежно, надежно и глухо.

— Совсем девчонка, года двадцать три, может быть, чуть побольше. Ну вот, она в такой современной юбочке, на две ладони выше колен, в нейлоновой куртке пожарного цвета. Самоуверенность непробиваемая. Очень цепкая. Ну, стали разговаривать. Вот, мол, нужен материал для очерка о конструкторах и всякое такое, но по ее вопросам чувствую, что она знает больше, чем говорит. Что-то известно, видимо, о вашей работе. Все время сворачивает на микроавтомобиль, не прямо, конечно, но косвенно тянет к этому.— Игорь Владимирович смолк, следя за светофором. Они стояли перед перекрестком, запруженным машинами.

— Откуда она могла узнать? — выпрямляясь, с сомнением спросила Алла Кирилловна.— Неужели...

— Вот именно,— весело подхватил Игорь Владимирович,— я нисколько не сомневаюсь, что после того совета сразу собралась корпорация недовольных. Эти бронтозавры уже так привыкли, что никогда не будут спорить открыто, не будут аргументировать, защищать свое мнение. Они просто сядут вечерком и сочинят бумагу. Накатят «бочку». И там тоже не будет никаких аргументов технических против, там, в лучшем случае, речь пойдет о непонимании исторического и экономического момента...

— Фу, мерзость! Ну, так ты выставил эту девицу?

— Нет! — еще веселее ответил Игорь Владимирович. — Я послал ее к Грише.

— Что-о?

Игорь Владимирович довольно рассмеялся в ответ.

— Ты хорошо себе представляешь, что он может наговорить по такой горячке? Тем более, уже модели

перед ним.— Сузив глаза, Алла Кирилловна зло посмотрела на мужа.

— Тем лучше,— беспечным тоном откликнулся Игорь Владимирович.— Мне сейчас выгодно любое упоминание о вашей работе, лишь бы Москва заинтересовалась.

— Ну, не знаю,— рассеянно протянула Алла Кирилловна, и вдруг, как вспышка в мозгу, мелькнула догадка: так вот почему Григорий был такой шальной! И чтобы проверить себя, она спросила мужа:

— Это когда было, утром?

— Да, почти в самом начале дня,— ответил Игорь Владимирович.

— И как они, поговорили? — не замечая, что голос напрягся и становится жестяным, задала она вопрос.

— Откуда я знаю. Пришлось перед этой красоткой сыграть. Сказал ей, чтоб не говорила, что я послал ее. Дескать, Григорий считает меня консерватором, мы с ним конфликтуем. Ну, словом, по известной схеме.

— Зачем тебе понадобилась эта комедия, Игорь?

— Для затравки и для достоверности. Люди посторонние ведь всегда приходят с предвзятыми понятиями. Ну какая пожива журналисточке, если не будет этой оскомной схемы: начальник — рутинер и зажимщик, а молодой подчиненный — прогрессист и новатор? Она и пришла, чтобы найти что-то конфликтное.

— Что, очень глупа? — надеясь услышать подтверждение, спросила Алла Кирилловна.

— Нет, как раз нет, но она же — профан в технике и про машину напишет то, что скажет Григорий. А он столько думал об этой машине, что говорить будет убедительно.— Игорь Владимирович был доволен своей хитростью, и Алла Кирилловна почему-то вдруг почувствовала к нему неприязнь.

— Ну а если она пришла с целью все это опорочить?

— Не думаю. Просто написали в редакцию, и вот приехал корреспондент. Эта девушка не похожа на специалиста по особым поручениям.

Аллу Кирилловну начинало уже раздражать то, что при упоминании корреспондентки у мужа чуть-чуть менялся голос. Обаяние и молодость этой неизвестной девицы словно проникали и сюда, в салон неспешно идущей по Фонтанке машины. И постепенно, сопоставляя в памяти необычное настроение Григория, его поцелуй сегодня в пустом коридоре института, его прежние отчаянно-веселые глаза, которыми он глядел раньше только на нее, и этот меняющийся при упоминании корреспондентки бархатный голос мужа, Алла Кирилловна начала догадываться о том, что и тот поцелуй, и тот взгляд в коридоре предназначались не ей. Она еще вспомнила запах вина от Григория и то, вдруг поразившее ее, выражение веселой и спокойной победительности на его лице, когда он сегодня разговаривал с художницами и Жоресом в ожидании автобуса у проходной института...

Машина ровно бежала к замыкавшему перспективу Адмиралтейству, фонари излучали желтый рассеянный свет, пронзительно вспыхивали стоп-сигналы впереди, тепло и уютно было в салоне «Москвича». Игорь Владимирович молчал, видимо, довольный собой. И вдруг такая горечь захлестнула Аллу Кирилловну, что пришлось сжать зубы, чтобы не застонать утробным звериным стоном. Так и сидела она рядом с мужем, напрягая все тело, сдерживая рвущийся наружу стон и стараясь сохранить на лице обыденное выражение,— это стало уже привычкой: всегда сохранять обыденное выражение. Временами ей казалось, что и умирая она сделает вид, что ничего не происходит. Ей стало душно и одновременно холодно в машине, и, когда выехали на набережную, она тихо сказала Игорю Владимировичу:

— Игорь, высади меня здесь, я погуляю немного и приду пешком. Голова что-то разболелась.— И с удов-

летворением отметила про себя, что голос ее не дрогнул.

Игорь Владимирович внимательно посмотрел на нее, подвернул к тротуару и затормозил машину.

— Я недолго,— успокоила его Алла Кирилловна и с облегчением захлопнула дверцу.

У Адмиралтейства она перешла к парапету. Здесь, вдоль гранитных плит тротуара, тянулся неширокий сквер. Деревья, еще державшие лист, притеняли аллею от света фонарей, и сидящие на скамьях парочки виднелись лишь как смутные бесформенные сгустки сизой тьмы. Из сизости вдруг возникал тускло-красный огонек сигареты, вспыхивал курлыкающий, горловой женский смех, а потом все снова погружалось в отчужденный, пропитанный чувственностью сумрак, над которым черство шелестели угрюмые тополя. Пусто было у нее на душе, пусто и по-осеннему холодно. И воздух, наполненный смехом и вздохами чьих-то чужих любовей, знобко охладил ей лицо и шею.

Алла Кирилловна потуже подтянула платочек на голове, спрятала руки в карманы легкого пальто и медленно побрела у самого парапета к сверкающему впереди на воде стеклянному кубу ресторана-поплавка. От глухо зашторенных светлой материей окон ресторана на маслянистую черную рябь ложились бесформенные охристые блики. Доносилось приглушенно исступленное буханье электрогитар, по занавеске мелькали неясные тени — тени чужого веселья и хмеля, и слева, впереди, в клубящемся свете прожекторов тяжело и упорно чернел воспетый и вечный памятник: вздыбленный конь под грузным, простирающим длань седоком. Мужчина и женщина, оба высокие и тонкие, взявшись за руки и запрокинув головы, смотрели на всадника. В свете прожекторов волосы женщины, распущенные по плечам, отливали старой медью. Обидная бессмысленная тоска взяла вдруг Аллу Кирилловну, потому что уже никогда

не сидеть ей ни с кем на скáмье в сумраке под тополя-ми, шелестящими листвой, не стоять ни с кем, взявшись за руки, перед памятником. Да и не было этого и в ее молодости,— только, может быть, всего один вечер, там, в Приморском парке Победы. Не было ничего, и теперь не вспомнить вкуса первых робких поцелуев — не было их; не согреть сердце памятью обжигающего первого желания, от которого темнеет сознание,— этого с ней тоже не было... А что же тогда было? Кто была та Аллочка Синцова, все откладывавшая жизнь до удобного момента, как откладывают медяки на черный день? Она не задавала себе этих вопросов, они просто вдруг ожили в ней и придавили бессмысленной и внезапной тоской. Алле Кирилловне стало жаль себя, жаль своей незаметно прошедшей, нереализованной молодости; жаль той осторожной красивой девушки, слишком дорожившей собой. Сейчас ей казалось, что та Аллочка губила свою молодость скаредностью. Судьба подарила роскошный наряд, а девушка все ждала подходящего бала и жалела надеть, только любовалась и берегла, чтобы разом из Золушки выйти в принцессы, но роскошное платье, так и не надетое, обветшало в шкафу. И вместо принца рядом с Золушкой оказался добрый, но пожилой король. И теперь уже в сказке не осталось вариантов — нужно было жить да поживать и стареть, взаимной добротой и бдительной душевной отзывчивостью скрашивая пресный, приличный покой.

Именно сейчас на пустынной набережной, под невнятные звуки электрогитар из ресторана-поплавка, сумрачным осенним вечером, таившим чужие поцелуи, чужие страсти и хмель, Алла Кирилловна поняла, что в ее жизни больше не будет поворотов. Еще, может быть, сменится квартира, возможно, работа, но внутри, в душе уже не произойдет ничего. И холодная, смешанная с жалостью неприязнь к мужу вошла в нее спокойной и ясной мыслью.

«Ах, не виноват Игорь ни в чем,— думала она.— Разве можно считать виной неведенье? Он никогда не знал одиночества, всегда считал, что приносит всем счастье. Он обволок меня своим доброжелательством, бережностью... Если бы я знала, что этого не хватит, что это не заменит счастье! Оно в другом, совсем в другом, а он не давал жить на износ... И теперь уже поздно — ничем не избыть этого несчастья нерастраченности. Господи, бедный Игорь, он никогда не догадывался, что рядом пустая и жадная душа, что рядом просто кошка, привыкшая к месту, к теплу и уюту, кошка, ленивой истомой благодарящая за комфорт».

Алла Кирилловна старалась успокоить себя язвительной насмешливостью.

«Ну что, престарелая девушка, сегодня пропала игрушка, которой ты тешилась так долго, слишком долго, чтобы с легким сердцем перенести потерю,— думала она, кривя губы.— На что ты надеялась? Думала, что так будет вечно? Что вечным воздыхателем будет около тебя Григорий? Нет, милая моя, каждому свое. Нет ничего вечного. Приходит незнакомая девица, как злая фея, и Золушка, выбившаяся в королевы, вдруг ощущает себя старухой. И с этим ощущением нужно жить дальше, жить долго, скрывая горечь и холод души».

Алла Кирилловна подошла к Дворцовому мосту, постояла у гранитных львов, бездумно и не испытывая грусти. В маслянистой воде отражался цветными пятнами трамвай, медленно ползущий по мосту. Она вздохнула, зябко поежилась и пошла дальше.

«Есть у меня еще работа, заведу собаку,— подумала она, язвительно улыбаясь и кривя губы.— Никто ни в чем не виноват, особенно Игорь. И мне не впервой притворяться. Я только и делаю всю жизнь вид, что очень счастлива».

Она ускорила шаг, и гранитные плиты старой набережной отозвались гулким стуком под ее каблуками.

В квартире стояла обычная нежилая тишина. Игорь Владимирович не услышал, как Алла Кирилловна открыла входную дверь, как раздевалась в прихожей, и лишь когда она привычным движением скинула туфли, он окликнул ее из кухни:

— Замерзла?

— Нет,— машинально стараясь смягчить голос, ответила она и прошла узким коридорчиком.

Игорь Владимирович, накинув свой старый темно-красный халат, сидел за столом над версткой книги и стаканом остывшего чая.

— Ты поел?

— Да что-то ничего не хочется,— ответил он устало, и Алла Кирилловна по серому цвету лица сразу поняла, что его опять беспокоит желудок, но ничего не спросила.

Она не могла подавить в себе того отчуждения и холодной, смешанной с жалостью неприязни к мужу, что возникла на набережной. И, чтобы не выдать своего настроения, подчеркнуто деловито загремела посудой, принялась готовить ужин. Спиной она чувствовала внимательный, сочувственно-бережный взгляд, и большого усилия стоили ей точные, спокойные движения рук.

9

Пятьдесят минут, чтобы покрыть расстояние от Москвы до Ленинграда...

(«Наш полет будет проходить на высоте девять тысяч метров со скоростью восемьсот километров в час». Штатная улыбка на ярком, чуть кукольном лице стюардессы, соблазнительно затянутой в синий форменный костюм).

Пятьдесят минут. Если вдуматься, то это ошеломительно мало, и для человека, склонного к метафизике и потрясенного чудовищной скоростью, вполне достаточ-

но, чтоб перестать быть самим собой хотя бы на время полета. Но почти час вынужденной праздности — это так много, что и человека деятельного может настроить на созерцательный лад.

Игорю Владимировичу было о чем подумать,— правда, пятьдесят минут размышлений вряд ли могли что-нибудь изменить в нем самом и в его пятидесятидвухлетней жизни. Он застегнул ремень и откинулся на спинку кресла. С нарастающим рокотом двигателей пришло ощущение уюта и той приятной беспомощности, знакомой только людям трудолюбивым и деятельным: отсюда уже нельзя было вмешаться в ход каких-либо событий, что-то предпринять, и осталась только возможность побыть с самим собой и предаться раздумьям.

В последний год он стал чувствовать усталость, замечал ее во внезапных приступах желчного остроумия в деловом разговоре; все чаще ловил он себя на досадливом желании одной ядовитой фразой срезать несобранного суесловящего собеседника, в раздражении все чаще хотелось высказать нелестное суждение о способностях и личных качествах человека. От всего этого спасала только выработанная административным опытом выдержка, но Игорь Владимирович понимал, что началась какая-то новая полоса в его жизни. А сегодня, в небывалом наплыве печали, в усталости от напряженного дня, проведенного в Москве, ощущение это было особенно острым.

Еще год назад Игорь Владимирович не чувствовал своего возраста, и это составляло предмет его гордости и удовлетворения, но удовлетворения тайного, о котором, как представлялось ему, не догадывалась даже жена. Причиной этой потаенности была отнюдь не скромность,— к скромникам Игорь Владимирович относился по меньшей мере настороженно,— но сознание, что как конструктор он, Владимиров, оказался несостоятельным. Это сознание пришло сравнительно поздно,

так что уже ничего нельзя было изменить, и в беспощадном свете этого сознания все другие достоинства казались уже несущественными. И теперь Игоря Владимировича смущала мысль: нет ли тут взаимосвязи, не оттого ли, что он бесплодно прожил жизнь, пришла эта, пожалуй, ранняя усталость, или усталость отрезвляюще лишила иллюзий, как короткий предсумеречный час гасит краски, но резче обозначает контуры предметов? Впрочем, не об этом думал Игорь Владимирович сейчас, он и вообще-то не очень доверял отвлеченным умствованиям.

Покойное самолетное кресло сделало тело почти невесомым, однотонно и ровно пели вышедшие на постоянный режим двигатели, и плыли за стеклом иллюминатора взбитые сливки облаков.

Игорь Владимирович обдумывал события последних дней, которые внесли в его жизнь решительные перемены, он пытался понять их смысл. Да, теперь его интересовал несколько отвлеченный и неявный смысл этих перемен. И под увеличительным стеклом памяти он разглядывал эти события.

Все началось со статьи в «Литературной газете».

В начале уже установившейся и небывало ровной зимы, когда Игорь Владимирович с нетерпением, не лишенным необычного для него волнения, ждал утверждения плана в министерстве, был озабочен не израсходованными по некоторым статьям средствами, потому что финансовый год кончался, вдруг и появилась эта статейка.

Днем в кабинет неслышно вошла Ксения Ивановна с бюваром приготовленных на подпись бумаг, и по ее растерянному и от этого утратившему всегдашнюю деловую сухость лицу Игорь Владимирович сразу понял, что произошло нечто неожиданное, но ничего не спросил у взволнованной секретарши. Он знал, что упреждающий вопрос может только сбить с толку, исказить

и задержать сообщение, которое, видимо, собиралась сделать Ксения Ивановна. Поэтому Игорь Владимирович молча кивнул, отодвинул пухлую рукопись присланной на отзыв диссертации из родственного НИИ и приготовился подписывать бумаги. Но прежде бумаг секретарша положила перед ним перегнутый пополам газетный лист с чуть размазанным оттиском; крупно набранное название статьи было отчеркнуто жирным синим карандашом: «Автомобиль для всех».

— Это про наш институт,— ломким голосом произнесла Ксения Ивановна.— Фамилий тут нет, но и так ясно, кого имеют в виду. Нет, мне эта девица сразу не понравилась.

— Что, очень нас ругает? — стараясь под усмешкой скрыть интерес, осведомился Игорь Владимирович.

— Лучше бы ругала, обвиняла. А то статья какая-то провокаторская. Теперь посыплются на нас комиссии — подавай им этот автомобиль. А ей что: она настрочила — и в сторонку. Таких безответственных людей на пушечный выстрел нельзя подпускать.— Ксения Ивановна уже совсем перешла на писк, и лицо ее, обычно бесцветное, вспыхнуло негодованием.

— Ну, ничего, как-нибудь отобьемся,— успокаивающе сказал Игорь Владимирович, сдерживая себя, чтобы не расхохотаться. Секретарша в своем негодовании почему-то показалась ему очень смешной.— У вас что-нибудь срочное? — кивнув на бумаги, спросил он уже деловым тоном.

— Нет, только характеристика Захарову на Польшу. Ее сегодня нужно в райком отправить.

Игорь Владимирович, не читая, подписал. Когда секретарша вышла, он рассеянно оглядел кабинет, устроился в кресле поудобнее и придвинул к себе газетный лист.

Статья начиналась с общих рассуждений о нетранспортных функциях автомобиля, о влиянии его на пси-

хику современного человека, приводилась цитата известного итальянского социолога: «Практические аргументы не полностью объясняют уникальный характер автомобиля, единственной машины промышленного производства, способной внушить человеку привязанность в той степени, какой достигали лишь корабль для моряка и лошадь для всадника. Можно назвать страсть к автомобилю коллективным безумием людей, способных увлечься созданной ими массой мертвого металла, можно считать, что эта страсть безобидна, раз она побуждает наших современников к бережливости и даже отказу от многого необходимого ради покупки автомобиля, которому они посвящают свой досуг, ухаживают за ним и которым стараются пользоваться пореже, чтобы сберечь его. Но невозможно отрицать существование этого феномена».

Игорь Владимирович со снисходительным интересом быстро пробежал вводную часть статьи о значении и необходимости развития личного индивидуального транспорта, о том, каким должен быть массовый автомобиль, чтобы не стать проклятием городов. Все эти дилетантские, но резонные соображения были изложены броско и довольно ясно,— оказывается, у той стриженой девицы было бойкое перо. Дальше в статье шло описание именно такого автомобиля, который удовлетворяет требованиям массового потребителя и не создает смертельной перегрузки улиц и дорог. «Автомобиль этот спроектирован группой энтузиастов и существует уже не только в чертежах, но и в виде привлекательных моделей». Почему-то фраза эта вызвала у Игоря Владимировича усмешку. Он-то прекрасно понимал, что до существования автомобиля еще далеко и, по сути, работа только лишь начата.

Но не точность статьи интересовала его в данный момент, а иные соображения. И то, что об автомобиле говорилось как о законченном проекте, Игоря Влади-

мировича вполне устраивало. И еще его удивляло, что статья написана с умной некатегоричной умеренностью: не упоминались фамилии, никто не обвинялся в том, что проектирование нужного автомобиля ведется лишь самодеятельно,— по этому поводу выражалось лишь недоумение. При этом качества будущего автомобиля живописались так восторженно, что не могли не вызвать интереса у читателя, хотя бы немного причастного к автолюбительству.

Один абзац содержал интересную и новую для Игоря Владимировича информацию: «В прошлом году Институт конкретных социологических исследований провел анкетирование по широкой схеме, чтобы определить требования автолюбителей и на основе этих требований сформулировать характеристику идеального автомобиля личного пользования. Результат исследования вполне репрезентативен и по количеству возвращенных анкет, и по составу отвечавших: половина — инженеры и люди иных технических профессий, четверть — научные работники, остальные — военнослужащие, студенты, журналисты, врачи, актеры. Анкета специально не распространялась среди автоконструкторов, чтобы выяснить, так сказать, чисто потребительские требования. И вот параметры автомобиля, спроектированного группой энтузиастов, превосходят данные характеристики, сформулированной на основании анкетного опроса, а этот гипотетический автомобиль личного пользования, в свою очередь, превосходит в среднем на двадцать процентов характеристики лучших моделей этого класса, выпущенных на мировой рынок зарубежными фирмами в последние три года». Да, статья могла вызвать целый поток писем в редакцию, в этом Ксения Ивановна была права, но как раз это и нравилось Игорю Владимировичу. Статья становилась аргументом в споре за открытие проектных работ. А в том, что тему оставят в плане, Игорь Владимирович уверен не был.

Месяц назад он сам отвез этот план в министерство, в кулуарных разговорах со специалистами Управления по производству легковых автомобилей он ненавязчиво и, как ему казалось, достаточно ясно предварил возможные вопросы, но уверенности, что тему утвердят, все равно не было. Правда, не удалось поговорить со старым приятелем Аванесовым, который теперь был главным специалистом по производству легковых автомобилей, — он находился где-то в Италии, вел переговоры с автомобильными фирмами... И вот теперь этот подвал «Литературной газеты» мог прибавить шансов или не оставить их совсем, — такого оборота событий Игорь Владимирович тоже не исключал.

Он еще немного посидел за столом, перечитывая отдельные абзацы статьи, потом по селектору попросил Ксению Ивановну вызвать Яковлева и Синичкина, встал и заходил по кабинету вдоль стеклянной стены.

Синичкин явился первым. После рукопожатия Игорь Владимирович несколько мгновений с интересом вглядывался в лицо этого нервного небольшого человека с лохматыми светлыми волосами. Почувствовав, что художник насторожился, он жестом пригласил его сесть, спросил напрямик:

— Жорес Сергеевич, сколько времени вам понадобится на макеты базового и грузового вариантов в натуральную величину?

— Ну... — художник подумал прищурившись,— у меня, собственно, все готово. Можно переносить чертежи на плаз и делать шаблоны, а остальное зависит от того, сколько будет лепщиков. — Синичкин ни одним движением лица не выразил удивления тем, что директор завел речь об этой самостоятельной работе.

«Так вот он какой дипломат, а я-то считал его истериком и болтуном»,— подумал Игорь Владимирович.

Он все никак не мог примириться с собой за то, что вовремя не понял, не распознал в Синичкине художника-конструктора, изящный и яркий талант которого сразу проявился в трех маленьких моделях. Это было одним из душевных огорчений Игоря Владимировича за последнее время.

— Всех не занятых на туристском автобусе лепщиков возьмите себе. Я договорюсь с начальником отдела, но модели должны быть готовы в течение месяца, а лучше — если за двадцать дней. Тут, не скрою, я надеюсь на вашу заинтересованность в этой работе. Ну как, беретесь? — Игорь Владимирович говорил спокойно и сухо.

Маленькое тело художника тонуло в глубоком кресле, и ему требовалось усилие, чтобы сидеть прямо, он помогал себе, держась руками за подлокотники. Голос его звучал спокойно и непринужденно:

— Конечно, уложиться в такой срок нелегко, но можно. Только хотелось бы знать, насколько это необходимо. Ведь придется просить людей работать, не считаясь со временем, а такую просьбу нужно обосновать.

— Вы правы,— согласился Игорь Владимирович, взял со стола газету, и в это время в кабинет, постучавшись, вошел Яковлев.— Здравствуй, Григорий Иванович, как раз вовремя, садись, пожалуйста.

Григорий молча кивнул Жоресу, опустился в кресло, стоявшее поодаль.

— Давай поближе,— сказал Игорь Владимирович и, тряхнув сложенной газетой, объяснил: — Вот я спрашивал у Жореса Сергеевича, сможет ли он в месячный срок сделать в натуральную величину макеты базового и грузового вариантов вашего автомобиля. А он поинтересовался, какова необходимость такой срочности.— Игорь Владимирович сделал паузу, пристально посмотрел на Григория и, повернувшись к Синичкину, продолжил: — Да, такая настоятельная необходимость есть.

Возникла она неожиданно. В «Литературной газете» появилась статья некоей С. Котовой — довольно умная и броская — о вашей работе. Историю появления этой статьи, думаю, лучше меня объяснит Григорий Иванович, но дело сейчас не в этом.— Игорь Владимирович почувствовал, что волнуется, и энергично заходил по кабинету.— А в том, что на выступление газеты положено реагировать. Не сегодня, так завтра к нам обратятся заинтересованные организации с различными вопросами. И тут уж пойдет речь — быть или не быть вашему проекту. И я подумал, что макеты базового и грузового вариантов будут хорошей иллюстрацией проекта. А тебе, Григорий Иванович, придется выступить на совете с более или менее развернутым рассказом о проекте. Особое внимание обрати на социологическое обоснование характеристики автомобиля, так, чтобы это претендовало на строку «Перспективного типа». Понятно?

Григорий кивнул, на лице его Игорь Владимирович не без удовлетворения заметил хмуроватое удивление.

— Обсуждали же один раз на совете. Уже в план работа записана, чего же еще говорить,— упрямо нагнув голову, возразил он.

— Записано, но план еще не утвержден, а разговор о вашей работе уже вышел, так сказать, на широкую аудиторию. И я не знаю, хорошо это или плохо. Знаю только, что нужно запастись аргументами в пользу вашей работы.— Игорь Владимирович остановился против кресла, в котором сидел Григорий, протянул ему газету.— Можешь прочитать, но верни сегодня же.

— Уже читал,— не отводя глаз, сказал Григорий.

— Когда? — Игорь Владимирович не смог скрыть своего удивления.

— Ну, в общем, давно, когда статья писалась.— Григорий, видимо, разозлился на себя за неопределенность ответа, в которой как будто содержался винова-

тый оттенок, и закончил уже резко: — Считаю, что статья правильная. Доступно объясняет неспециалистам, чем мы занимались и насколько необходима эта работа.

— Да...— неопределенно протянул Игорь Владимирович и опустил руку с газетой. Он стоял и смотрел на этот хорошо знакомый упрямый бодливый наклон головы Григория, на глуповатый нос бульбой, на жестко поджатые прямые губы, придававшие лицу выражение уверенной настойчивости, и в который уже раз Игорь Владимирович ощутил внезапное, чуть сковывающее удивление, будто совсем не знал этого хорошо знакомого человека.— Да, конечно. Но не будем обсуждать здесь статью, тем более что она адресована не нам. Важнее подготовиться к ее последствиям,— после небольшой паузы спокойно ответил он Григорию и спросил, обращаясь к художнику: — Так как, Жорес Сергеевич, считаете ли вы, что срочность обоснованна?

— Да, пожалуй,— ответил Синичкин.

— Прекрасно, тогда приступайте к работе. Я предупрежу, чтобы все материалы вам давали без задержек. — Игорь Владимирович прошел вдоль стеклянной стены и сел за письменный стол, давая понять, что разговор закончен.

«Считаю, что статья правильная»,— повторил он про себя слова Григория и ощутил смешанное с грустью восхищение; у него, Владимирова, никогда не было ни этой смелости, ни настойчивости. Он за всю жизнь так и не сказал никому: «Считаю, что это правильно». Он всегда выжидал, пока это скажут другие, и эти другие говорили и добивались своего, а он в ожидании благоприятных обстоятельств тешил себя мнимыми победами, обеспечивающими душевный комфорт.

Может быть, только совсем недавно Игорь Владимирович понял, что именно ожидание каких-то свершений и было ведущей чертой его личности, и теперь казалось, что и все доброжелатели — а недругов у него не

бывало никогда — только и ждали, что он что-то совершит, сделает, подвинет. Так и жил он, словно осененный венцом блестящих надежд и ожиданий. Но вот минули годы, и жизнь подходит к концу, и венец ожиданий и свершений проржавел и съехал набок, и ни он сам, ни другие, кажется, уже не ждут ничего...

Почему, почему же так сложилась его жизнь, разве был он лентяем и трусом? Нет — ни тем, ни другим, и дураком, пожалуй, он не был... Тогда почему? И тут Игорь Владимирович, может быть, впервые понял о себе правду, и она огорчила его, потому что была совсем не величественной, до обидного обыденной: он всегда слишком остро чувствовал вкус дарованного мгновения, всегда он был предан ему и не мог ничего подвинуть, потому что не был способен на подвижничество и не был способен на самоограничение, без которого невозможно достигнуть цели. В нем, как во всяком человеке, если верить психологам, была заложена бездна способностей, но, может быть, он слишком дорожил своими способностями, чтобы пренебречь одними во имя развития других. Так самовлюбленная красавица, продорожив собой, остается старой девой. Всякая специализация требует ограничения заложенных в человеке возможностей, всякое приспособление к реальности — самопринуждение. Человек вправе выбирать, какие задатки развивать, каким дать заглохнуть, но выбор этот неизбежен. Владимиров ушел от него, он предпочел приспосабливаться лишь к собственному «я», он тешил себя иллюзией разных возможностей, но — сейчас он это отчетливо понял — ему редко удавалось делать то, что хотелось.

Игорь Владимирович встал и снова зашагал по кабинету, злясь на себя за эти никчемные мысли. Нет, какой-то частью души он не чувствовал себя старым бесплодным деревом — он давал тень, в которой росли другие. И разве эти парни, которые только что вышли из кабинета, эти парни, которые не могли скрыть

отчуждения, не ему ли они обязаны своей цельностью?..

...Давая ощущение прочности и покоя, ровно гудели в крейсерском режиме мощные реактивные двигатели, плыли медленно за стеклом иллюминатора поредевшие хлопья облаков, утомляющие глаз непомерной белизной. Игорь Владимирович вызывал из памяти события последних дней, пытался понять их дальний отвлеченный смысл и мучительно сдерживал себя от соблазна хотя бы мысленно выстроить свою жизнь в цепь заранее предустановленных целей, как бы оглянуться на прожитое наивным, но целительным телеологическим взглядом, чтобы сегодняшний день предстал результатом всех усилий, достойным и удовлетворяющим. Но он не мог этого сделать, ибо хорошо знал, что с годами человек все лучше овладевает успокоительным искусством самооправданий. Игорь Владимирович был слишком трезвым человеком, чтобы увлечься этим искусством. И он вспоминал...

После статьи в «Литературной газете» время, казалось, изменило скорость. Игорь Владимирович почти физически ощущал его убыль, и если раньше он старался притормозить, замедлить работу Григория, то теперь не проходило дня, чтобы он не справился, как идет подготовка к совету и работа над моделями. Иногда, но не слишком часто, чтобы не привлекать излишнего внимания, он спускался в зал, где работали художники-конструкторы, расхаживал между столами, спрашивал, как идет тот или иной проект, потом, как бы невзначай, заходил к лепщикам. Здесь было жарко от инфракрасных ламп, пахло пластилином и затворенным гипсом. Маленький Синичкин суетился вокруг лепщиков, копошившихся у деревянных каркасов, лишь отдаленно напоминавших будущие модели. Игорь Владимирович смотрел на художника. В длинном клеенчатом фартуке, с подвязанными шнурком волосами Синичкин был по-

хож на гнома. Игорь Владимирович замечал, как движения лепщиков под его взглядом становятся торопливее, и с неохотой уходил, коротко кивнув художнику.

Игорь Владимирович чувствовал, что за стенами института — где-то в главках министерства — уже происходят какие-то события, ведутся разговоры, имеющие отношение к автомобилю Григория. Собственно, этого он и добивался, подсылая осенью ту черненькую корреспондентку к Григорию, но сейчас он вдруг ощутил, что времени не хватает, может не хватить для того, чтобы подготовиться к разговору в министерстве. А в том, что этот разговор состоится, Игорь Владимирович не сомневался. И только этот разговор, вернее — исход его заботил сейчас. Игорь Владимирович даже как-то сравнительно спокойно перенес резкую перемену в отношениях с женой.

С того вечера, когда Алла вдруг попросила оставить ее на вечерней набережной, они жили как чужие люди, которых только случай свел под одним кровом. В первые дни Игорь Владимирович неназойливой предупредительностью, тактичной ровностью еще пытался преодолеть неожиданный холод отчуждения или хотя бы понять причину этого, но Алла ожесточенно и упорно отмалчивалась, говорила только о бытовых заботах, допоздна просиживала с книжкой в другой комнате, часто ложилась спать там же, на узком диване, и постепенно отделилась совсем, так что общался Игорь Владимирович с женой только за завтраком, ужином да по пути на работу и домой. В первый месяц это мучительно удручало, хотя он не сделал ни одной попытки затеять прямой разговор.

За свою жизнь Игорь Владимирович понял, что «откровенные разговоры» не спасают, а лишь усугубляют положение, и такие разговоры считал уделом слабых, истеричных натур, которые свое бессилие изменить обстоятельства пытаются компенсировать нервной разряд-

кой. Нет, Игорь Владимирович не задал жене ни одного вопроса, он вообще сделал вид, что ничего не случилось, но внимательно приглядывался и к Алле, и к Григорию. Он ведь знал их давнее взаимное влечение, знал, казалось, о них все и, если быть откровенным, даже в первые годы супружества побаивался, что молодые люди не смогут обойтись друг без друга...

Нет, «побаивался» — не то слово, иначе Игорь Владимирович не женился бы на Аллочке Синцовой: не побаивался он, а просто не исключал неприятной возможности, что когда-нибудь разница в возрасте между ним и Аллой скажется. Да, он не исключал такой возможности. Не значило ли это, что он давно примирился с тем, что наступило теперь. Временами Игоря Владимировича занимала не свойственная ему отвлеченная мысль: не есть ли наши опасения о будущем уже приятием этого будущего? Не потому ли он так спокойно принял отчуждение жены, что заранее согласился с этим? Ответов на эти вопросы, конечно, не было, но после статьи в «Литературной газете» другие дела и события, вернее, ожидание событий и подготовка к ним так захватили Игоря Владимировича, что он смирился с замкнутостью и охлаждением к нему жены. То, что не Григорий — причина их разлада с Аллой, Игорь Владимирович понял очень скоро. И это понимание больше встревожило, чем успокоило, потому что теперь понять причину отчуждения жены было невозможно. Это угнетало Игоря Владимировича, временами вызывало приступы горечи, но, как человек, старающийся не лукавить перед самим собой, он ни в чем не обвинял Аллу. Он считал, что чувство жены к нему просто обветшало, изжило себя. Все-таки пятьдесят два — это не молодость, и, наверное, он сам уже не замечает изменений в себе. Он ведь никогда не отличался пылкостью чувств, а постепенно, с годами стал и вовсе сухарем.

Он и в Алле замечал изменения: годы совместной

с ним жизнь научили ее сдержанности, сделали холодноватой, рассудочной женщиной,— так казалось Игорю Владимировичу. И еще он понимал, что хотя между ними такая разница в возрасте (девятнадцать лет,— от этого никуда не денешься), но Алла тоже входит в новую фазу жизни. Женщину, особенно красивую, ощущающую свою привлекательность, всегда страшит даже еще отдаленная старость, и тем горше и безотраднее предчувствие ее, чем меньше изведано в жизни. А Игорь Владимирович понимал, что он дал жене не так уж много счастья. Алла не изведала ни материнства, ни тех формирующих и укрепляющих душу забот и трудностей, которые всегда встают перед молодыми людьми, начинающими совместную жизнь, и хоть часто эти трудности и заботы огорчают в момент непосредственного переживания, но потом, через годы вдруг всплывают в памяти — и осознаются как радость, и согревают душу, и дают светлую мирную силу жить дальше; ничего этого не изведала Алла, потому что он был опытным человеком, прикрывшим ее от всех неурядиц, от всех ветров. Раньше Игорь Владимирович думал, что это хорошо, но теперь, смутно еще и боязливо, догадывался, что не было у Аллы подлинной жизни, в которой всякому человеку положена своя мера радостей, своя мера тоски и огорчений, своя мера поражений и любви. Был комфорт, была прочность, но было и незаметное потускнение души — неощутимое, медленное и раннее скольжение к остылости чувств.

Да, это он, Игорь Владимирович, дал Аллочке Синцовой удобно обставленное уютное существование, думая, что это и есть хорошая жизнь, потому что ему самому в молодости всегда не хватало уюта и тепла... Теперь, уже заступив за пятидесятилетнюю черту, Игорь Владимирович понимал, что лишил ее возможности делать ошибки, свои собственные ошибки, которые дороже дареного счастья; лишил ее возможности бороться,

наживать врагов и приобретать друзей. Она всегда смотрела на жизнь его глазами и, наверное, не скоро поняла или почувствовала эту неподлинность, суррогатность своего бытия. Можно вырастить дерево в искусственном воздухе, на искусственном свету, но человек рано или поздно ощутит искусственность своей жизни, и если рано, то сломает искусственность, а если поздно?.. Если человек слишком поздно поймет это, то не сломается ли он сам?..

...Гудели мощные реактивные двигатели, но уже привыкшему слуху не за что было зацепиться в этом ровном, однообразном гудении, и сонно начинали путаться мысли, растягивая рот в истомном и сладком зевке. Уже спал молодой небритый сосед Игоря Владимировича. Щетинистый крепкий подбородок торчал вперед, на сложенных в трубочку губах вскипали пузырьки слюны. Игорь Владимирович хотел бы уснуть, но дремота лишь на миг отуманивала мысли и уходила, оставляя невеселые раздумья. Лететь нужно было еще полчаса. Еще полчаса размышлений, полчаса впервые появившейся жалости к себе, полчаса ощущения вины перед Аллой...

И все-таки надежда не оставляла его. Те решительные перемены в жизни, которые принесли последние дни, оставляли надежду, что судьба еще перевернется по-другому. Игорь Владимирович душевно уже приготовился к потере Аллы. Да, он готов был принять и одиночество. Но об этом он пока старался не думать; с методичной добросовестностью ученого он вспоминал события в их последовательности, восстанавливал в памяти разговоры с людьми и свои мысли. Он словно проверял решение сложной задачи, чтобы убедиться в верности полученного результата. Монотонно гудели двигатели, плыли за стеклом иллюминатора облака, дремали пассажиры, сморенные однообразным бездельем. Игорь Владимирович вспоминал...

Он торопил Григория, чтобы тот быстрее подготовился к обсуждению на научно-техническом совете, и все время ощущал какое-то внутреннее сопротивление своего ученика. Он сначала надеялся, что Григорий будет советоваться с ним и даже покажет текст доклада о проекте, но проходили дни, а Григорий не заглядывал в директорский кабинет и на вопросы по телефону отвечал короткими угрюмыми междометиями. Когда до совета оставалось всего несколько дней, Игорь Владимирович все-таки вызвал его к себе. Они, учитель и ученик, уже давно не беседовали наедине — что-то, видимо, изменилось в их отношениях бесповоротно, потому что даже Игорь Владимирович, с любым собеседником чувствовавший себя непринужденно, ощутил неловкость, когда Григорий сел в кресло и настороженно взглянул исподлобья, а его пухлые бесформенные губы подобрались в прямую черту, отчего лицо сразу стало строгим и жестким.

— Устал? — спросил Игорь Владимирович, пытаясь найти верный тон разговора.

— Нет,— невнятно, нехотя ответил Григорий и нагнул голову еще ниже.

— Когда платформу соберете? — Игорь Владимирович встал, вышел из-за стола, сел в кресло напротив Григория.

— У меня все готово. Сулин двигатель никак не наладит,— Григорий потер ладонь о ладонь и сцепил пальцы.

Игорь Владимирович заметил на его руках свежие ссадины и темные пятна от легких ожогов, понял, что Григорий, как в прежние времена, сам вместе со слесарями работал на сборке платформы, вздохнул и сказал:

— Может быть, у него чего-то не хватает и нужно достать на стороне, так пусть скажет.

— Нет, просто еще нет стабильности. То цепь растянется, то звездочка полетит, коллектор оказался со

сквозными раковинами, пришлось заваривать, потом два дня бормашиной шлифовали каналы. Кустарщина — всегда так. Наладится, —уже охотнее объяснил Григорий.

— Может быть, пока какой-нибудь подходящий двигатель-двухтактник поставить? Быстрее ходовую часть отработаешь,— осторожно посоветовал Игорь Владимирович.

— Не имеет смысла. Лучше уж все в комплексе. Время терпит.— Григорий скупо улыбнулся.

— Ну хорошо, с этим действительно время терпит. А вот к совету ты подготовился? Меньше недели осталось,— наконец подошел к тому, что его интересовало, Игорь Владимирович.

— Да что готовиться. Я об этой машине и спросонья могу рассказывать. Был бы толк от этого,— хмуро ответил Григорий.

— Ну нет, так не годится. Нужно сделать последовательный рассказ о будущем автомобиле, с обоснованием компоновочного решения; коротко, доказательно и не забыть о социальной и социологической стороне проекта, а главное — без вызова, без выпадов против других конструктивных решений, пусть даже безнадежно устаревших. И желательно не акцентировать внимание на том, в каком состоянии находится проект: пусть думают, что пока это лишь наметки или уже завершенная работа, но от тебя такая информация исходить не должна. Все это понятно? — Игорь Владимирович чуть наклонился вперед и, желая смягчить некоторую жесткость последнего вопроса, улыбнулся.

— Понятно,— глядя исподлобья, коротко сказал Григорий, потом вздернул голову и добавил громче: — Только непонятно, зачем вообще нужен этот научно-технический совет. Тема записана...

— Да погоди ты со своей темой,— прервал его Игорь Владимирович, переходя на обычный дружеский

тон.— Кто статью инспирировал в газете? Я? Так вот, положение изменилось. Ваш проект могут с помпой открыть, дать средства, а могут с треском закрыть, именно с треском, потому что дело вышло за пределы компетентных ведомственных решений — статья-то апеллирует к широкой публике. Так что закрывать будут с треском, не сомневайся, чтобы дать этой широкой публике понять, что все разговоры о чудо-автомобиле — мыльный пузырь. А тогда тебе еще сто лет не видать самостоятельной работы. И я хочу иметь протокол обсуждения проекта на научно-техническом совете.— Игорь Владимирович вытянул руку ладонью вперед, остановив Григория, видимо, собиравшегося возразить.— Меня вполне устроит, даже если в протоколе не будет слишком хвалебных слов, а лишь критические, но деловые замечания, чтобы было ясно, что речь идет о серьезной работе, а не о перпетуум-мобиле. Будет чем аргументировать на коллегии министерства, когда речь зайдет о твоем автомобильчике. Только в этом случае статья сыграет положительную роль. А что в министерстве будет разговор, можешь не сомневаться. Или я вообще ничего не понимаю во всей этой кухне. Словом, без дипломатии мы ничего не добьемся.— Игорь Владимирович откинулся на спинку кресла и вздохнул. Ему казалось, что слова его прозвучали убедительно.

Григорий вытащил из смятой пачки сигарету, прикурил от зажигалки, которая зажглась без щелчка синеватым прозрачным пламенем.

— Покажи-ка.— Игорь Владимирович протянул руку, и Григорий положил ему в ладонь эту приятно тяжелую и теплую вещицу.

Игорь Владимирович внимательно осмотрел небольшую прямоугольную никелевую призму, несколько раз надавил на чуть выступающую кнопочку — из бокового отверстия бесшумно показывалось синеватое прозрачное пламя. Для Григория, вечно совавшего горелые спички

обратно в коробок, эта зажигалка была слишком изящна. Он вообще придавал мало значения вещам и, казалось Игорю Владимировичу, не умел ценить их красоту.

— Это что, газ?

— Да,— коротко и опять как бы нехотя подтвердил Григорий.

— А почему щелчка не слышно, как работает кремень?

— Тут не кремень. Запальную искру дают пьезокристалл и транзистор.— Григорий взял зажигалку из рук Игоря Владимировича, подержал, словно взвешивая на ладони, и спрятал в карман.

— Чье это производство?

— Кажется, шведская,— поморщившись, ответил Григорий. Вопросы эти, видимо, раздражали его. Но Игорь Владимирович не смог удержаться еще от одного — почему-то появление этой зажигалки у Григория удивило и заинтересовало его.

— Где приобрел такую?— Он с шутливой улыбкой взглянул на своего ученика и сделал удивленные глаза, чтобы хоть как-то ослабить назойливость вопроса.

— Подарили.— Григорий стал еще угрюмее, и голос прозвучал глухо и зло. Он положил сигарету в пепельницу.

Игорь Владимирович только теперь заметил, что на Григории новый, хороший и, наверное, дорогой костюм. Как-то особенно плотно приникали к груди добротно выработанные лацканы с четкими уголками, и хотя костюм был обычного для Григория темно-серого тона, но, не в пример прежним, изящнее. Голубоватая рубашка с модным закругленным воротничком и, что еще удивительнее,— галстук. Не помнил Игорь Владимирович, чтобы когда-нибудь Григорий повязывал галстук, а тут сразу не какой-то там пегий клинышек, изготовленный швейной артелью, а заграничный, синевато-стальной, в рубчик, с едва заметной красной искоркой, безукориз-

неяно завязанный галстук. Григорий был сегодня одет с таким безупречным вкусом, что это даже не бросалось в глаза. Игорь Владимирович был потрясен. Он знал, как трудно постигается искусство хорошо одеваться, его самого учили этому женщины, иначе он, детдомовский воспитанник, не умел бы ничего. И сейчас Игорь Владимирович понял, что так одеть его ученика могла только женщина, женщина с хорошим вкусом. И смешанная с грустью ревность шевельнулась в нем,— ревность к молодости, к будущим победам и увлечениям Григория. Игорю Владимировичу хотелось еще о чем-то спросить, но момент вопросов миновал, и он сказал уже деловым тоном:

— Так ты усвоил, каким должен быть доклад на совете?

— Усвоил. Только я так не хочу.— Григорий прямо взглянул на Игоря Владимировича.— Пора называть вещи своими именами, так, как они заслуживают, иначе ничего никогда не получится.— Он чуть наклонился вперед, нагнул голову, и поза его в кресле стала такой, будто он сидит за рулем гоночного автомобиля. Эта поза холодного упорства всегда раздражала Игоря Владимировича, но и внушала странное уважение, как нечто недоступное ему самому.

— А работу свою живьем ты хочешь увидеть или предпочитаешь остаться с чертежами, как престарелая гимназистка со своим альбомчиком?— уже не в силах сдержать раздражение, спросил Игорь Владимирович.

— Дело не в одной этой работе. Что она, последняя, что ли?— голос Григория был глухой и злой.

— Именно в этом дело,— уже спокойно ответил Игорь Владимирович,— именно в том, что не последняя. Так будь последовательным, добейся права на следующую — лиха беда начало.

— А почему начало должно быть бедой? Почему я, как дикарь, чтобы обмануть злых духов, должен, идя

на охоту, говорить, что иду по дрова? Какая здесь последовательность, какая логика?— Григорий выпрямился в кресле, губы сошлись прямой и жесткой чертой, и резче выступили скулы на худом лице.

— Логика здесь в том, что люди субъективны, а твои слова — еще одно тому доказательство. И всегда всякому, кто предлагал что-нибудь новое, приходилось преодолевать эту субъективность,— спокойно возразил Игорь Владимирович. Он чувствовал, что если сейчас принять тон Григория, то весь разговор перейдет в перепалку.

— Когда говорят о конкретных вещах, не должно быть субъективности. Не субъективность это, а идиотский маразм. Когда люди думают, что владеют истиной в последней инстанции,— это всегда маразм, и он страшнее любого невежества: невежду можно обучить — маразматик ничему учиться не хочет, он истерически настроен на самосохранение, он хочет только одного — сидеть, дремать и пускать маразматические слюни.— Григорий снова взял сигарету. Игорь Владимирович заметил, что рука у него дрожит.

— В этом есть, конечно, доля правды, но только доля. Ты пойми, Гриша (давно не называл он так своего ученика), тебе сейчас кажется, что ты появился сам по себе, на голом месте,— это пройдет. На самом деле нет голого места, и никто не появляется сам по себе. Все обязаны всем. И те, кого ты называешь маразматиками, сделали для твоего появления больше, чем ты думаешь. Все обязаны всем, кто был до этого. Просто это еще не осознается. Но существует инерция, она отнюдь не только физическое понятие. Можно ждать, пока ее действие прекратится, иссякнет само по себе, можно погасить инерцию приложением новой силы. Но инерция эта не физическая, а человеческая, и гасить ее надо разумной силой. Ты сам это поймешь, я надеюсь, со временем.— Игорь Владимирович вдруг почувство-

вал острую печаль, хотел еще что-то добавить, но не сказал.

— Ну, давайте заниматься частным альтруизмом, а дело пусть стоит. Это удобно,— спокойно и даже как-то устало ответил Григорий и наконец прикурил сигарету, которую вертел в пальцах.— И вообще мне надоело все. С меня хватит дипломатии и самодеятельности. Утвердят тему — буду работать, не утвердят — не надо. Что, на этом свет клином сошелся, что ли? Я жениться собрался, и нужно зарабатывать... Меня на наш факультет почасовиком приглашают теорию читать.— Он неожиданно умолк, глубоко затянулся.

— Что?— спросил Игорь Владимирович, не вполне еще понимая смысл сказанного,— только печаль стала еще острее, почти нестерпимой.

— Честно: устал, и жить охота по-человечески,— с какой-то даже вкусной, смакующей интонацией произнес Григорий.

Игорь Владимирович поднялся с кресла, подошел к письменному столу, оперся ладонями о столешницу и посмотрел на Григория — дорогой костюм, модная рубашка и безукоризненный галстук, чуть скуластое свежее лицо молодого, уверенного в себе человека: светлые упрямые глаза, жадно глядящие на все вокруг. Кого-то напоминал этот нынешний Григорий, кого-то очень знакомого и близкого — так, что сразу и не догадаешься. Игорь Владимирович напряженно всматривался ему в лицо. И вдруг его осенило: это же он сам! Он, Игорь Владимирович Владимиров, детдомовский мальчик, впервые надевший хороший костюм и научившийся завязывать галстук, мальчик, опьяненный вниманием красивой женщины, открывший великую и нехитрую истину, что жизнь—приятное занятие, возжаждавший комфорта и покоя.

Игорь Владимирович пристально смотрел на Григория и узнавал себя.

Григорий, сначала притихший и сробевший под его взглядом, пошевелился, притушил в пепельнице сигарету и, с жалостью посмотрев на Игоря Владимировича, сочувственно улыбнулся.

— Вот что, не валяй дурака. Иди и работай,— сказал Игорь Владимирович, с усилием отгоняя от себя наваждение.

— Мне надоело быть блаженным чудаком, который собирается потрясти мир. Мир обойдется без меня. Я устал от всего этого и больше ничего делать не намерен. Будет — так будет, не будет — еще лучше. Я убил на эти игры достаточно времени.— Григорий встал. От взгляда Игоря Владимировича не укрылось, каким бережным движением он оправил пиджак.

«Ну нет»,— подумал Игорь Владимирович, и холодная жесткая ярость вдруг наполнила его, напружинив все тело так, что на миг потемнело в глазах. И в этот крошечный миг мысленно он увидел Григория через двадцать лет — таким же неудовлетворенным и обходительным, каким стал он, Игорь Владимирович, таким же лощеным, умеющим ценить вещи и женщин; жалким, блистательным и несчастным.

— Ну вот что,— начал он, пытаясь сдержать голос, но это не удалось,— чтобы завтра твоя пояснительная записка к аванпроекту к обеду лежала у меня на столе. И чтобы я больше не слышал этих разговоров о заработке, я не дам тебе скурвиться на бабах и тряпках! Ты понял?!— Игорь Владимирович стукнул кулаком по столу, ушиб руку, но боли не почувствовал.— Понял? А если какая-то дура толкает тебя на это, пошли ее к такой-то матери! Или сам выкатывайся туда же. Я не для того десять лет терпел твой мерзкий характер, чтобы ты теперь стал ничтожеством! Понял?!— Ярость душила Игоря Владимировича, пот ел глаза. — Во-о-он!— заорал он и бухнулся в кресло за столом, задыхаясь и ничего не видя.

Когда он отдышался, Григория в кабинете уже не было. Игорь Владимирович чувствовал слабость во всем теле, ныла ушибленная рука. Он облокотился о край стола, тяжело переводя дух.

«Ему тяжело, тяжелее, чем мне. У меня не было такой преданности делу, но я считал, что он покрепче,— думал он.— Нет, рановато еще все доверять ему. Сломается, как карандаш. Черта с два, не бронтозавры вас заедят, те, что в совете, не маразматики — сами вы еще слабаки... А почему у меня, собственно, такой совет? Разве нет власти и возможности все изменить? Хватит, мне тоже надоела дипломатия. Распустил все и вся. Сам — неизвестно кто, жена — неизвестно что. Хватит. Пусть только кто-нибудь попробует пикнуть на совете! Этого автомобиля и этого парня я не уступлю никому».— Он нажал кнопку селектора.

— Ксения Ивановна, машину! Я сегодня уже не вернусь, ключи от автомобиля я оставляю на столе, передайте, пожалуйста, Алле Кирилловне.

Игорь Владимирович поднялся, поправил ладонью волосы, поморщился от боли в руке и вышел...

...Дремотно, привычно гудели реактивные двигатели. Повлажневший ворот рубашки прилип к шее. Игорь Владимирович ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу. Ему до боли хотелось выстроить события жизни в ровный и связный ряд свершений, ведущих к предустановленной цели, к сегодняшнему его дню. Неважно, пусть этот день не велик по своим достижениям, пусть ничтожно значение его в потоке общей жизни, но как хотелось, чтобы день этот был осознанно достигнутой вехой. Его мозг, привыкший к строгим расчетам и точным допущениям, мозг инженера-конструктора и ученого, отказывался идти на самообман. Лететь оставалось еще четверть часа. Еще четверть часа поисков смысла и воспоминаний...

...Научно-технический совет прошел гладко. Игорь Владимирович за те несколько дней, что оставались до заседания, успел довести свое мнение о проекте до сведения многих членов совета, а мнение директора кое-что значило. Вопрос этот был поставлен последним, как не особенно важный. Григорий выступал убедительно, немногословно и спокойно, придерживаясь конспекта, просмотренного накануне Игорем Владимировичем. Особых споров не было, все восприняли обсуждение как подготовку ответа на газетную статью, и в протоколе было записано несколько обтекаемых фраз, которые вполне устроили Игоря Владимировича. После совета он почувствовал спокойную уверенность в том, что сумеет отстоять тему в министерстве, и стал ждать. События не замедлили. Через несколько дней в предобеденное время в динамике раздался тонкий от волнения голос Ксении Ивановны:

— Игорь Владимирович, Москва!

— Хорошо,— спокойно ответил он и почувствовал облегчение.

Интонации Аванесова были, по обыкновению, смешливы, неофициальны, в трубке не было обычных шорохов, каждое слово слышалось отчетливо и чисто.

— Слушай, Игорь, дорогой, как живется-работается? Я уже забыл, как ты выглядишь.

— Все ничего, Карен, вашими министерскими молитвами подпираемся, как соломенными шестами,— ответил Игорь Владимирович, принимая шутливый тон Аванесова.

— Это хорошо, начальство только для того и существует, чтобы молиться за вас, грешных.

— А ты, говорят, в католичество перешел, в Италию к папе римскому ездил?

— Было, дорогой, было дело. Слушай, тут для тебя одна работка есть. Интересная. Как старому другу, по блату устраиваю.

— Да ну? Что ж это за работка? Если жену у кого-то надо отбить, то я пас — своей сыт по горло.

Аванесов расхохотался:

— Нет, Игорь, не жену, но кое-что отбивать придется. Это долгий разговор. Через три дня коллегия, прилетай-ка, посидим, поговорим, коньячку выпьем.

— Ну что ж, я не прочь,— ответил Игорь Владимирович, хорошо понимая, что это официальный вызов.— Что будет на коллегии?

— Всякий шурум-бурум, дорогой. Да,— притворно спохватился Аванесов,— слушай, что у тебя там за чудесные автомобили подпольно проектируют, дорогой? Мы здесь ничего не знаем, не слышим, только в газетах читаем.

— А-а,— небрежно откликнулся Игорь Владимирович,— просто накладка получилась, недоглядел.

— Ай-я-яй, ты — и недоглядел, дорогой! Что-то совсем не похоже.

— Да понимаешь, пришла журналистка, молодая, красивая. Ну, ребята и расхвастались ей, чуть преувеличили. А на самом деле пока еще и конь не валялся. Но тема в плане. Я, когда привозил план, говорил в твоем департаменте, только тебя самого не было.

— Да, да, так интересно получается. А с меня замминистра тут голову снимает. Что, говорит, за работа? А я что могу сказать?

— Ну, пока-то голова на месте?

— Пока да. Еле упросил оставить, до твоего приезда. Так что спасай, теперь на тебя надежда.

— Что ж, я готов. Мы эту тему после статьи еще раз на совете обсудили — заключение благоприятное.

— Вот и прекрасно. Доложишь на коллегии, будет там вопросик и о твоем институте. Значит, седьмого утром. До свиданья, дорогой. Привет Аллочке.

Положив трубку, Игорь Владимирович с минуту сидел, задумчиво улыбаясь. Он понимал, что до благопо-

лучного завершения дела еще далеко, но все-таки было приятно, что пока события развивались именно так, как ему хотелось. Однако еще предстоял непростой разговор в министерстве.

Утром перед коллегией Аванесов был занят, так что Игорю Владимировичу не удалось предварительно поговорить с ним,— само по себе это не имело значения; в поддержке Аванесова сомневаться почти не приходилось, но Игорь Владимирович привык перед серьезными совещаниями запасаться как можно большим количеством сведений, а как раз сейчас информации не хватало. Игорь Владимирович лишь приблизительно предполагал, что́ скажут участники коллегии. Многие были старыми знакомыми: с одними довелось вместе учиться, с другими — работать; двигателист был когда-то студентом Игоря Владимировича, у директора автозавода он был оппонентом на кандидатской...

Люди, сидевшие за длинным столом, шуршали бумагами, еще раз просматривая их перед заседанием, доставали авторучки. В высокие окна просторного зала входил хмуроватый зимний свет, виделось бледное молочное небо, и глухо шумел транспорт по напряженной столичной магистрали.

— Начнем, пожалуй,— сказал замминистра. Сегодня он проводил коллегию.

Сидящие за длинным столом придвинулись ближе, перестали шелестеть бумагами. Игорь Владимирович откинулся на спинку мягкого стула. Вопросы, обсуждавшиеся первыми, его не касались, и он мог позволить себе немного расслабиться.

Он думал о том напряжении, в котором прожил последние дни, о непроходившем раздражительном и резком настроении, появившемся тоже в эти дни, и уже смутно понимал, догадывался, что это не просто времен-

ное настроение... Что-то менялось в нем; он не знал, к лучшему или худшему вело это настроение, но ощущал теперь в себе какую-то целеустремленную ясность и решительность, и в этой решительности было и какое-то преимущество перед порывом молодости. Игорь Владимирович чувствовал, что решительность эта не иссякнет теперь до самого конца.

Заговорили об институте.

Игорь Владимирович коротко и четко ответил на вопросы, доложил о графиках разрабатывавшихся проектов. Он помнил почти все наизусть и старался, чтобы ответы его были исчерпывающими. Правда, при этом он считал, что все это сейчас не имеет значения, и ждал, когда речь зайдет об автомобиле Григория. И этот момент настал.

— Да, Игорь Владимирович,— сказал замминистра, беря со стола машинописный листок и, как все дальнозоркие, отводя руку с листком подальше,— что это там у вас газетной рекламой занимаются? Объясните, пожалуйста, о какой работе идет речь и что это за автомобиль.

— Собственно, об автомобиле пока говорить рано,— Игорь Владимирович выдержал паузу.— А в том, что не совсем точные сведения попали в печать, пожалуй, виноват я. Недосмотрел, вернее, не предвидел такого оборота.

— Позвольте. Выходит, эти ваши молодые конструкторы просто дезинформировали газету, а через нее и людей?

— Не совсем так,— ответил Игорь Владимирович, раскрывая папку.— Но, чтобы объяснить все, мне придется дать немного предыстории. Все вместе займет пять минут.

— Ну, пожалуйста,— согласился замминистра.

Это и был тот момент, которого Игорь Владимирович ждал.

— Еще при организации института у нас сложилась группа молодых инженеров, которых объединяла общая идея создания миниавтомобиля для самых широких слоев потребителей. Группа эта сложилась неформально: они вместе учились в вузе, строили гоночные автомобили, которые не раз показывали отличные результаты. Следовательно, и некоторый опыт конструирования тоже был. Так получилось, что эти инженеры попали в испытательный отдел, занимались испытанием различных аналогов, в том числе и мини.— Игорь Владимирович старался говорить спокойно и все время краем глаза видел хитрую, заговорщицкую улыбку Аванесова.— Естественно, что данные испытаний как-то осмыслялись. Впоследствии они легли в основу исследовательских работ в области эволюции особо малого автомобиля, по этим работам были защищены кандидатские диссертации, взаимно дополняющие друг друга и сформировавшие методику перспективного конструирования автомобилей этого класса.— Игорь Владимирович сделал секундную паузу, увидел, что его слушают внимательно, и, чтобы удержать это внимание, переменил тон: — Ну а уж если создана методика, то следующим шагом будет техническое задание. И молодые инженеры разработали такое задание с максимально возможной ориентацией на будущее.

— На сколько лет они рассчитывают? — спросил Аванесов. Голос Карена был сух, акцента не слышалось совсем.

— Если автомобиль выпустить в ближайшем пятилетии, то он будет удовлетворять всем требованиям, техническим и потребительским, по меньшей мере, десять — двенадцать лет,— спокойно ответил Игорь Владимирович.

— А как это проверить, дорогой Игорь Владимирович? — Теперь в речи Карена снова явно слышался легкий кавказский акцент и мягче стала интонация.

— В этом и суть исследовательской работы группы: сформулированы достаточно объективные критерии, позволяющие судить о совершенствовании автомобиля в будущем на довольно продолжительный срок, если, разумеется, сам автомобиль в связи с какими-то революционными открытиями не изменится принципиально. А кроме того,— Игорь Владимирович взял листок из папки,— есть свидетельство, так сказать, незаинтересованной организации. Вот официальный ответ Института конкретных социологических исследований на мой запрос. Характеристики особо малого автомобиля, составленные на основании анкетного опроса потребителей, превосходят на двадцать процентов данные самых лучших моделей прошлого года — «Рено», «Остин», «Моррис», не говоря уже о «Фольксвагене», который как ни держался, а все-таки устарел. Так вот, данные технического задания, составленного группой, превосходят потребительские требования, сформулированные социологами, тоже на двадцать процентов.— Игорь Владимирович снова сделал паузу, на этот раз внушительную, чтобы у слушателей было время осмыслить его слова, потом добавил тихим голосом: — К сожалению, о том, что такое социологическое исследование проводилось в прошлом году, я узнал только из этой статьи «Литературной газеты». А было бы совсем невредно, если бы социологи информировали заинтересованные ведомства о результатах своих работ.

— Да, конечно, вы правы.— Замминистра посмотрел на одного из своих помощников, тот кивнул и сделал пометку в своем блокноте.— Так в каком состоянии работа сейчас?

— Сделано много, но до завершения проекта еще далеко. Найдена удачная компоновочная схема, отработана форма кузова, вчерне готовы агрегаты и подвеска,— твердо ответил Игорь Владимирович и почувствовал, что выдохся.

— Ну, так значит, в статье есть доля правды? — спросил Аванесов.— Как же тебе, дорогой, удалось держать целую проектную группу без финансирования? Неужели повесил средства на плановые работы?

— Нет. Работа велась, в основном, на общественных началах. Все эти люди не просто преданы своей идее — они энтузиасты. А кроме того — я уже информировал об этом главк несколько месяцев назад,— у нас появилась наполовину хоздоговорная, наполовину шефская работа по проектированию автомобиля для детского автодрома Дворца пионеров. Вот в пределах средств, отпущенных на этот автомобиль, проводились кое-какие работы, в частности моделирование.— Игорь Владимирович достал из папки большие фотографии моделей, чуть наклонившись вперед, передал их заместителю министра.— Этот автомобиль полностью подходит для детского автодрома, нуждаясь лишь в незначительном конвертировании и снижении характеристик.

— Да, да, Центральная станция юных техников при поддержке ЦК комсомола ходатайствует о выпуске довольно большой серии этих автомобилей, если все получится удачно,— сказал замминистра, рассматривая фотографии, и добавил задумчиво: — Только на каком заводе это сделать? — Он привстал и передал фотографии директору автозавода.

Несколько минут стояла тишина. Члены коллегии рассматривали фотографии. Потом директор завода, прищурившись и напустив простоватую улыбку на широкое крестьянское лицо, сказал:

— Чем почтовые ящики штамповать по ширпотребу, лучше такой автомобильчик выпускать. Все-таки дело-то свое, кровное. А грузовичку этому на селе цены нет. Мне б только комплектующие изделия в достатке,— мечтательно закончил он.

— Ну как, товарищи, впечатление от фотографий? — спросил замминистра.

Игорь Владимирович почувствовал, что устали мышцы шеи, и откинулся на спинку стула. О фотографиях моделей отзывались по-доброму, но сдержанно,— здесь все были опытными специалистами и привыкли не спешить с восторженными оценками.

— Ваше мнение, Карен Аведович? — спросил замминистра, когда фотографии обошли круг и снова вернулись к нему.

— Считаю, что работу надо разворачивать,— негромко, но уверенно ответил Аванесов, улыбнулся директору завода и добавил шутливо: — Тем более, что изготовитель сам просится и уже первый оптовый заказчик есть.— Он согнал улыбку с лица и закончил: — Нужда в такой машине уже ощущается и дальше станет только острей.

— Такой автомобильчик, по идее, должен и зарубежного покупателя привлечь: топливо на мировом рынке дорожает,— сказал двигателист.

Дальнейший ход обсуждения Игорь Владимирович не запомнил: у него вдруг заныл желудок и пересохло во рту. Все его силы ушли на то, чтобы не выказать боли, досидеть заседание до конца и ответить на вопросы. И только когда люди стали подниматься, он понял, что коллегия закончилась и что он наконец добился своего. Он встал, поймал на себе взгляд заместителя министра, уже вышедшего из-за стола, и подошел к нему.

— Ну, поздравляю, убедили всех,— сказал замминистра.— Только уж, пожалуйста, график проектирования составьте пожестче. Уж если делать такую машину, то — быстро. И готовьте представление для «типажа», будем добиваться включения.— Он пожал Игорю Владимировичу руку и, не отпуская, добавил, понизив голос: — Еще для вас есть работа на выезд — очень важная, правительственное задание. Подробности расскажет Карен Аведович.

Игорь Владимирович, стараясь не выказать недомогания, наклонил голову, попрощался и вышел из совещательного зала вслед за Аванесовым.

Когда миновали приемную, Аванесов приостановился, с лукавой усмешкой поглядел на Игоря Владимировича и спросил:

— Ну, доволен?

— Доволен, Карен, но устал,— ответил Игорь Владимирович без улыбки.

— Ты что-то потемнел, дорогой, что, плохо себя чувствуешь? — Аванесов взял Игоря Владимировича под руку, медленно повел по коридору к своему кабинету.

— Чего-то брюхо заныло,— признался Игорь Владимирович. Он не стеснялся сказать об этом старому другу.

— Ну?! Может, не полетишь сегодня? Переночуешь у меня. Рита нам кюфту сделает, а?— Аванесов открыл дверь кабинета, выходящую в коридор, жестом пригласил пройти впереди.

— Нет, спасибо, Карен. В другой раз. Мне еще дома кое-что срочно уладить надо. Давай — о деле.— Игорь Владимирович устало опустился в кресло возле журнального столика, налил себе воды из стеклянного, оплетенного металлической сеткой сифона. Вода была сильно нагазированной и холодной, он пил с удовольствием.

— Может, рюмочку коньяку?— осторожно, тихим голосом спросил Аванесов.

— Ну,— отмахнулся Игорь Владимирович.— Давай выкладывай, что там. Уж больно значительно замминистра говорил о задании. А потом расскажешь о себе, поделишься впечатлениями об Италии. Кажется, так теперь принято выражаться?

— Да, вот как раз об этом и речь.— Аванесов сел на стул возле большого окна, рассеянно поглядел на улицу. Игорь Владимирович заметил, как он постарел:

над ремешком брюк нависал солидный живот, меньше стали виться поседевшие волосы, смуглая кожа лица отсвечивала желтизной.

— Понимаешь, — после паузы сказал Аванесов,— договорились с итальянцами.— Он коротко вопросительно взглянул на Игоря Владимировича.

— Ну и отлично. По-моему, сейчас это единственный выход. Машины нужны, и чем скорее, тем лучше,— ответил Игорь Владимирович. Боль в желудке затихала, он налил себе еще стакан газировки.— Только важно, чтобы модель была по возможности перспективной, а завод — фундаментальным, мобильным, способным к саморазвитию.

— Вот об этом и речь.— Аванесов замолчал и снова долгим взглядом посмотрел на него.

Игорь Владимирович насторожился, внутренне собрался, он почувствовал, что задание, о котором сказал ему замминистра, имеет отношение к договору с итальянскими фирмами.

— Решение съезда партии, сам понимаешь. И на министерство давят каждый день, требуя оперативности.— Аванесов помолчал.— Но быстрота — хорошо, а ведь за добротность производства и самой модели спросят тоже с нас... Так что вот, Игорь, ты назначен председателем экспертной комиссии. Нужно проверить весь проект и с технологической, и с конструкторской стороны. Отказываться не имеет смысла,— быстро добавил Аванесов, заметив, что Игорь Владимирович наклонился вперед,— все равно не примут твой отказ, разве что по болезни. Специалистов даем тебе самых лучших: Левезов поедет, Зоидзе, технологи зиловские — всего сорок человек. Для Аллы тоже есть место.— Аванесов улыбнулся хитро.— Правда, три зимних месяца на Волге — тоже интересно, хотя, конечно, условия не столичные. Сам бы поехал, да уж не доверяют, квалификацию потерял на этой чиновничьей работе.

Игорь Владимирович поставил стакан на столик, вздохнул.

— Брось, Карен, не хитри. Почему именно я? Почему не тот же Левезов? На мне же институт.— Игорю Владимировичу действительно не хотелось входить в эту долгую, ответственную и, пожалуй, неинтересную работу.

— Ну, дорогой, а кто лучше тебя разбирается в малых автомобилях, кто лучше знает историю этого дела? Ты, наверное, и сейчас помнишь всю последовательность развития моделей «Фиата».— Аванесов встал, пересел поближе.

— А-а, чепуха!— рассердился Игорь Владимирович.— Чего ты виляешь? Говори, кто меня сосватал.

— Министр предложил твою кандидатуру... Персонально! А я поддержал, потому что считаю: ты — самый подходящий специалист по знаниям и по всем другим параметрам...— Аванесов выдержал паузу, видимо, заставил себя улыбнуться и добавил свое обычное:— Дорогой...

— Интересно, какие это другие параметры?

— Ну, Игорь, ведь с иностранцами предстоит иметь дело. Тут нужен человек обходительный и настойчивый.

— Знаешь, мне как раз и надоело быть обходительным. Я из-за этого полжизни проворонил. Можете не надеяться. Вот устрою на днях разгон в институте, тогда узнаешь, какой я обходительный. Серьезно, Карен, устал я от дипломатии,— с нажимом сказал Игорь Владимирович, заметив лукаво-недоверчивый взгляд Аванесова.— А еще понял, что вредно это, объективно вредно для дела. Погоди, скоро знать не будете, куда от наветов на меня деваться, секретаря специального наймете, чтобы анонимки читал.

— Не беспокойся, дорогой, этого и так хватает,— улыбнулся Аванесов.— Просто тебя не беспокоили, доверяли.

— Ну а теперь будет поболѣше,— тихим голосом сказал Игорь Владимирович; где-то в глубине души он все-таки надеялся, что уж на него-то не пишут жалоб и кляуз, признание Аванесова огорчило его.

— Ну, тогда и будем присылать комиссии, разбирать, объявлять тебе выговоры. А пока закругляй дела в институте; три месяца Сергеев вытянет один: начало года, все на мази. Месяц тебе на срочные дела — и где-то двадцать пятого января ты должен уже быть здесь, познакомиться с группой. Дадим тебе исходные, на инструкции тоже бумаги не пожалеем, оформим документы — и счастливого пути. Вот так, дорогой. Приказ по министерству будет завтра. — Аванесов хлопнул Игоря Владимировича по колену. — Не хмурься, Игорь, больше послать некого. Поработать придется хорошо, но представляешь, масштабы-то, миллион единиц в год!

— Понимаешь, Карен, я действительно здорово изменился, и мне совсем не по нутру эта представительская кампания. Автомобильчик хочется довести до конвейера,— серьезно, не принимая веселого тона последних слов Аванесова, ответил Игорь Владимирович.

— Ошибаешься, Игорь, предстоит трудная работа, ответственность тоже большая. Сам убедишься.— Аванесов встал, пошел к письменному столу, достал из ящика фотографию и, смущенно усмехаясь, подошел к Игорю Владимировичу.— Я вот дедом стал — и то ничего, держусь.

На фотографии черненький кудрявый мальчик полутора лет улыбался радостно и беззаботно, как умеют это только маленькие дети. Игорь Владимирович вернул фотографию, сказал:

— Весь в тебя, и хитрецом, наверное, будет таким же, как дед. Да, Карен, вот и внуки пошли... Быстро все идет как-то, я оглянуться не успел, а игра уже сделана.

— Ну, тебе-то прибедняться. Я и то собираюсь поскрипеть десяток-другой, а ты еще дел наворочаешь. — Аванесов взмахнул фотографией.— Рано нам на печку заваливаться.

— То-то и оно, что рано. Я как раз в последнее время думал об этом, так как-то обстоятельства сложились, что поневоле думал. И вот, брось я сейчас всю эту команду свою на произвол судьбы — пусть барахтаются,— так им еще годы придется дозревать, а то и вообще руки опустят, закопаются в семью, в комфорт, начнут заработки пожирнее искать. Сам через это прошел — знаю. — Игорь Владимирович облокотился на колени, подпер лицо ладонями и, глядя на блестящий паркет кабинета, задумчиво добавил:— У меня еще, одним словом, долги не выплачены.

— Тебе-то, Игорь, грех жаловаться. Вон каких ребят воспитал, они еще всех Порше и Джакозов за пояс заткнут; по твоим книгам люди учатся. А что сделал я? Каждому хочется на старости лет показать: вот это я сделал, лично я. А нет ничего такого личного... Но если отбросить это, как бы сказать, мелкое конструкторское самолюбие, то ведь, смотри, мы автомобильная держава уже, и легковые будем делать — еще другие позавидуют. Вот так, дорогой, рано нос вешать,— переходя на свой обычный шутливый тон, громко сказал Аванесов, помолчал и тихо, вкрадчиво закончил:— И вообще, может быть, молодые женщины и сумасшедшие идеи уже не для нас, но мы, дорогой, еще не так стары, чтобы не влюбляться и в то, и в другое. Как, Игорь, а?

Игорь Владимирович поднял голову и улыбнулся старому приятелю...

...Пятьдесят минут, чтобы покрыть расстояние от Москвы до Ленинграда...

(«Просим всех пристегнуть ремни, не курить». На

кукольном лице стюардессы уже появились тени ее земных забот и слегка притушили штатную улыбку.)

Пятьдесят минут вынужденной бездеятельности истекали, ничего не изменив ни в жизни Игоря Владимировича, ни в его мыслях. Но жизнь эта продолжалась, требовала поступков, решений, дел.

В аэропорту ждала институтская машина, и он сразу поехал на работу.

Войдя в приемную и поздоровавшись с Ксенией Ивановной, он попросил вызвать Яковлева.

Григорий пришел свежий, в отглаженных брюках и мохнатом рябом черно-сером свитере, который обрисовывал его округлые широкие плечи. Игорь Владимирович даже поморщился от этой франтоватости, сухо поздоровался, предложил сесть и тоном, не терпящим возражений, сказал:

— Проект открыли. Составь список группы, потом утрясешь его с Сергеевым. Подумай, кого привлекать, так, чтобы люди работали с охотой, а потом берись за график проектирования, но не зарывайся. Сроки должны быть реальными, согласованными с лабораториями, но не длинными. Уложишься в год — прекрасно.— Игорь Владимирович строго посмотрел на Григория, увидел волнение на его лице и отвернулся, чтобы скрыть грустную улыбку. Сейчас он завидовал своему ученику.

Когда Григорий вышел, Игорь Владимирович подошел к стеклянной стене, постоял, глядя на заснеженный институтский двор и думая о том, что все повторяется: вот и о Григории написали в газете, дают ему средства, возможность работать... «Доведет ли он это до конца? Доведет,— решил Игорь Владимирович.— Сейчас не сорок первый, да и я не отступлюсь...» Потом он спохватился, что на сегодня у него есть еще одно дело, пожалуй, не менее важное. Он поправил волосы ладонью и пошел в испытательный отдел.

Алла была в своем кабинете наверху.

— Ты когда приехал?— спросила она со слабой улыбкой.

— Только что прилетел,— ответил Игорь Владимирович и сел у стола, напротив жены. Заметил, что у нее усталые глаза, надо лбом в отливающих темной медью волосах проблеснула сединка. Игорь Владимирович вздохнул и ровным голосом сказал:

— Посылают в командировку на три с лишним месяца, есть возможность поехать и тебе, если...— пауза его была почти незаметна,— конечно, ты в состоянии. Работы там будет много.

— Почему ты думаешь, что я не в состоянии?

— Ты, по-моему, устала, а тут будешь одна, может быть, отдохнешь.— Игорь Владимирович отвел глаза.

— Нет, Игорь, три месяца — это слишком долго,— твердо ответила Алла.

— Да, конечно,— согласился Игорь Владимирович.— Оставайся.

— Ты не понял,— сказала она.— Три месяца — долго, и я — с тобой. Когда нужно ехать?

— В конце января. Ну, дома все обсудим,— он невольно улыбнулся.— На сегодня дел много.

Алла посмотрела с улыбкой, шутливо спросила:

— Что, небось хотелось три месяца холостым пожить? Вот рожу тебе двойню, чтоб и в голову такого не приходило... Иди.

— Ну, сразу двойню,— в тон жене ответил Игорь Владимирович.

— А чего мелочиться...

Спускаясь по металлической лестнице из кабинета жены, Игорь Владимирович все еще улыбался после ее неожиданных слов. Потом снова неотложные дела навалились на него, и он забыл об этом разговоре.

СТРЕМЛЕНИЕ ПОСТИЧЬ

В юности Валерий Мусаханов вряд ли собирался стать писателем и, наверное, не задумывался о призвании — так уж сложилась судьба многих его сверстников, чье детство до времени закончилось в блокадном Ленинграде.

В сорок пятом победном году Мусаханову исполнилось тринадцать лет. Мальчишки военного времени уже не смогли вернуться в детство. Послевоенные годы были неустроенными, и особенно страдали от недоедания и разрухи подростки, выжившие в блокаду. Без твердой направляющей отцовской руки многие отбились от дома. В глухих повседневных заботах о хлебе и тепле терялось присущее юности и благотворное для будущей жизни человека созерцательное общение с миром,— из душевной жизни поколения, не успевшего пройти свое детство, выпал период мечтаний, поиска и выбора.

В жизни главное — это жизнь. Детям без детства надо было устраивать свою жизнь. И они шли в ремесленные училища, школы юнг, в мастерские и на заводы. (В институты многие поступят потом — уже зрелыми людьми.) Не всегда и не у всех судьба складывалась благополучно — некоторым пришлось пройти через исправительные колонии, вдоволь поработать на дальних северных стройках, бытовать в барачных, на живую нитку сколоченных общежитиях. С ранних лет жизнь испытывала это поколение делом, и оно делом испытывало жизнь.

Так было и с Мусахановым. Он работал слесарем и токарем на ленинградских заводах, строил бумкомбинат в Карелии, валил лес на Печоре, водил грузовик по северным трактам; и только в шестидесятом году вернулся в Ленинград.

Как раз в то десятилетие в литературу стали приходить моряки и врачи, строители и геологи,— люди, уже накопившие жизненные впечатления, поработавшие и преодолевшие немало дорог. Это было формой подведения «предварительных итогов», формой душевного пробуждения.

В шестидесятые годы, когда Мусаханов опубликовал свою первую повесть, все, казалось, сдвинулось, стронулось с места. Осваивались целинные земли, разворачивались гигантские, отдаленные от центров стройки, и молодежь стремилась проверить себя в деле. «Время выдвигает свое слово. И слово это — поступок»,— написал

в своей ранней повести Андрей Битов. И это звучало как призыв понять свое предназначение, осмыслить жизненные перемены.

Трудовой и жизненный опыт Мусаханова давал начинающему писателю возможность следовать этому призыву.

В написанных с тех пор повестях отчетливо можно увидеть приверженность автора теме становления человека через труд, через преодоление судьбы. Тема эта расширялась, включая новый жизненный материал и разные человеческие характеры.

«Я рассматриваю каждый миг, каждый крохотный кусочек времени под лупой памяти, надеясь, что это поможет мне понять что-то в сегодняшних днях, потому что некоторые черты моего характера зародились тогда», — говорит герой повести-монолога «Мосты». Он только что защитил свой первый проект. По этому проекту будет построен мост — обычный, не исключительный, каких тысячи. Для героя же это — победа: он наконец стал тем, кем хотел, потому что «всю жизнь мечтал строить мосты». Путь к осуществлению мечты был извилист и труден. В радости победы есть привкус неудовлетворенности: «Но все же была горчинка в душе, вроде бы вопрос иронический: „Ну и что же дальше?“». Этот иронический вопрос часто задают себе герои Мусаханова в поворотные моменты судьбы. Герои его вообще ироничны, правда, ирония их незаметна, потому что обращена внутрь, она — средство облегчить горечь трудного признания в своих ошибках; эта ирония не выступает как утверждение душевного превосходства.

Герой повести «Мосты» пытается понять, отчего же «горчинка в душе». Проект защищен, достигнута давно намеченная жизненная цель. Но неудовлетворенность рождена не только тем, что путь к цели был не слишком прям и удачлив, а и тем, что герой не до конца выдержал экзамен на человеческую состоятельность перед самим собой. Не хватило дерзости предложить другой, нетрадиционный проект, наброски которого так и остались в черновых чертежах и расчетах. Стремление к гарантированной, стопроцентной проходимости проекта погасило творческий порыв. И хотя, по объективным обстоятельствам, тот проект не мог быть принят, человек допытывается у себя — где, когда он впервые проявил слабость, что угнездилась в душе и приучила идти по удобным дорогам. Так возникает лирический рассказ — воспоминание о первой любви.

Многим думающим людям в юности свойственно ощущение недостроенности своего «я». Эту естественную незавершенность личности герой повести «Мосты» принял за непреодолимую посредственность, потому что рос в очень простой и не слишком обеспеченной семье и в собственных глазах не выдерживал сравнения с многими школьными товарищами. И вот неожиданная любовь уравнивает героя со сверстниками, даже с самыми талантливыми и благополучными. В любви раскрывается душа, и герой со всей доверчивостью

и нежностью, на которую только способен мучающийся одиночеством юноша, привязался к умной, быстро взрослеющей девушке. И тем неистовее, непереносимее потрясение от неразделенного чувства...

У героя повести не хватило силы понять, что его любовная неудача — лишь этап жизненного пути, и за это пришлось расплачиваться полной мерой... Работа совести, осмысление прожитого помогает найти силу жить, не поступаясь нравственными императивами, которые всегда остаются с человеком,— то ли как маяки, указывающие путь, то ли как угрызения совести за отступничество от самого себя.

«Мосты» — одна из ранних вещей. Есть в ней некоторая непоследовательность, сюжетные слабости. Но в повести четко заявлены авторские пристрастия к определенным человеческим характерам и нравственным проблемам.

Героев всех трех повестей Мусаханова объединяет то, что они «родом из детства», голодного, блокадного детства, так обострявшего впечатлительность и пробуждавшего особенную сострадательную любовь к людям.

Героя повести «Прощай, Дербент» Валентина Борисова снедает постоянная внутренняя борьба со своим необузданным воображением, заставляя его проживать как бы несколько жизней, снедает неуверенность в себе, которая оборачивается угрюмой замкнутостью. Борисову не везет. Ему не удалась спортивная судьба, не сложилась карьера журналиста, плохо идет научная работа. Нигде Борисов не может найти себя. Привязался к нему древний византийский воин и поэт Анастасий Спонтэсцил, который является во сне и наяву, не дает покоя обманчивой цельностью своих устремлений. Герой повести постоянно перевоплощается в этого воина, живет его поступками и надеждами, мучительно отдалясь от близких, не умея понять, что с ним происходит. И только позже, встретившись с необычной женщиной, которая приоткрыла Борисову дверь в его собственный, затворенный до сей поры духовный мир, он наконец приходит к осознанному и свободному выбору своего пути, обретает самого себя. Борисов — человек несомненно сильный и волевой, он не боится снова, уже в который раз, начинать всю свою жизнь сначала.

Объективное время повести — один день, точнее вечер, проведенный в гостях у друга. Воспоминаниями вмещается в этот вечер вся жизнь Борисова, и даже более,— то, чего никогда не было в ней. Параллельно развивающиеся в повести темы — тема воспоминаний, тема современности и, наконец, тема жизненного успеха, воплощенная второстепенными героями,— создают насыщенную атмосферу духовного поиска Борисова.

Как поступить: благоразумно промолчать, уповая на постепен-

ное вызревание благоприятных обстоятельств, или «идти в борьбу, рискованно взвинчивая время, как когда-то поступал гонщик Гриша Яковлев, бросая машину на последнем круге в отчаянный вираж, который, казалось, выполнялся не только и не столько мастерством, сколько силой души»? Такая дилемма стоит перед конструктором Яковлевым в момент, когда от принятия решения зависит, осуществится ли мечта, не пропадут ли плоды его многолетней работы и труд многих людей, в том числе и труд всей жизни учителя, директора научно-исследовательского и проектного института, профессора Владимирова.

Различный подход к разрешению сложившейся ситуации во многом определяется характерами главных героев повести «Испытания».

Автоконструктор, создавая новую модель, вынужден идти на те или иные технические компромиссы, жертвуя, например, скоростью во имя устойчивости автомобиля, и это закономерно.

А вот как быть с компромиссами нравственными, с которыми приходится сталкиваться героям?

Мусаханов стремится понять каждого из своих героев, понять вместе с их противоречиями, заблуждениями и ошибками. Он далек от мысли вывести однозначную мораль. Автор приглашает читателя поразмышлять о человеческой силе и слабости, о естественном стремлении человека к успеху и горечи поражения. Показывая шаг за шагом жизнь профессора Владимирова, автор прослеживает, как привычка к соглашательству убивает в этом блистательном человеке талант конструктора, превращая его в изворотливого администратора. Компромиссы... С инстанциями, от которых зависит решение производственных вопросов, с женой Аллой, которая моложе Владимирова на добрых два десятка лет, но главное — компромиссы с самим собой. И все-таки масштаб личности героя велик, Владимиров находит в себе душевные ресурсы для сильных поступков. Именно под руководством Владимирова, благодаря его человеческому влиянию вырастает в серьезного конструктора и мыслящую личность Григорий Яковлев.

Повесть «Испытания» рассказывает о труде и нравственных исканиях современной технической интеллигенции. Не технологический процесс интересует автора, а «история души человеческой».

Проза Валерия Мусаханова отличается размышлениями о целях и смысле человеческой активности, о том, что осуществление личности возможно только в стремлении к нравственному идеалу. Талант Мусаханова набирает силу, и художественную и силу мысли, в нем есть бесстрашное стремление подойти к главным и извечным проблемам бытия, проблемам души и смысла существования человека на этой земле.

Д. Гранин

Содержание

Мосты
3

Прощай, Дербент
45

Испытания
171

Д. Гранин
Стремление постичь
460

Валерий Яковлевич
МУСАХАНОВ

МОСТЫ
ПРОЩАЙ, ДЕРБЕНТ
ИСПЫТАНИЯ

Редактор Б. Г. Друян
Оформление художника О. И. Маслакова
Рисунки художника В. П. Базунова
Технический редактор А. И. Сергеева
Корректор Т. В. Мельникова

ИБ № 1698

Сдано в набор 17.11.80. Подписано к печати 24.03.81. М-13936. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарн. литерат. Печать высокая. Усл. печ. л. 20,3+вкл. Уч.-изд. л. 21,32+0,03=21,35. Тираж 100 000 экз. Заказ № 764. Цена 1 р. 60 к.
Ордена Трудового Красного Знамени Лениздат, 191023, Ленинград, Фонтанка, 59. Ордена Трудового Красного Знамени типография им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57